ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВЕННО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

№ 1
ЯНВАРЬ

Издание газеты „ПРАВДА"
МОСКВА 1930

1-Я ВСЕСОЮЗНАЯ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

Институт философии Коммунистической академии совместно с Обществом воинствующих материалистов-диалектиков созывает 1-го июня 1930 г. 1-ю всесоюзную марксистско-ленинскую философскую конференцию. Конференция является вообще 1-й в истории марксизма и 1-й в истории русской философии. Подведя итог развитию марксистской философской мысли в СССР, конференция должна обсудить актуальнейшие проблемы, стоящие перед марксизмом в области теории. Конференция должна дать руководящие указания для дальнейшей работы и обсудить основные проблемы в материалистической диалектике, исторического материализма (в условиях реконструктивного периода), проблему метода и основные дискуссионные вопросы конкретных наук, дать критику основных идеалистических и метафизических направлений современной философии и социологии и, наконец, наметить задачи марксизма в области антирелигиозной пропаганды и изучения истории атеизма. Работа конференции будет происходить на пленуме конференции и в секциях.

На пленуме будут заслушаны следущие доклады:

1. Вступительное слово о задачах философии в СССР — тов. Деборин.
2. Ленин и теория диалектики — тов. Деборин.
3. Кризис современной физики и диалектический материализм — тов. Гессен.
4. Проблемы исторического материализма в условиях реконструктивного периода — тов. Карев.
5. Проблема марксистской истории философии — тов. Луппол.
6. Критика философии современного ревизионизма — тов. Стэн и Юринец.
7. Задача пропаганды этеизма в переходный период—тов. Ярославский.

Секций будет выделено пять: 1) секция диалектического материализма; 2) исторического материализма; 3) истории философии; 4) истории атеизма и антирелигиозной пропаганды; 5) методики.

В секциях будут поставлены следующие доклады:

1. Секция диалектического материализма.

1. Закон единства противоположностей, как основной закон диалектики — тов. Подволоцкий. 2. Логика и теория познания—тт. Гоникман, Дмитриев, Митин. 3. Идеалистические направления в современной физике—тов. Максимов. 4. Проблема формообразования в современной биологии—тов. Левит. 5. Проблема пространства и времени — тт. Семковский и Юринец. 6. Диалектический материализм и психология—тт. Сапир, Франкфурт и представитель Ленинграда.

2. Секция исторического материализма.

1. Проблема соотношения производительных сил и производственных отношений—тт. Тымянский и Горохов. 2. Классы и классовая борьба в переходный период—тов. Попов, К. А. 3. Проблема культуры и культурной революции—тт. Карев и Гирчак. 4. Проблема исторического закона—тт. Удальцов, А. Д. и Тележников. 5. Современный ревизионизм в области исторического материализма—тт. Разумовский и Фурщик. 6. Ленин в борьбе с механистами в теории исторического материализма—тов. Кривцов.

3. Секция истории философии.

1. Спиноза—тов. Луппол. 2. Гуссерль—тов. Асмус. 3. Разложение неокантианства и современное неогегельянство на Западе—тт. Баммель и Демчук. 4. Критика современного идеализма в СССР. 5. Современный неореализм—тт. Чекис и Квитко. 6. Проблема изучения истории философии на Украине—представитель Украины.

4. Секция истории атеизма и антирелигиозной пропаганды.

1. Проблема происхождения религии—тт. Лукачевский и Рожицын. 2. Социальные корни религии в переходный период—тт. Сарабьянов и Губанов. 3. Религия и социал-демократия—тов. Ральцевич. 4. Проблема «Трех обманщиков» в истории атеизма—тов. Луппол.

5. Секция методики.

1. Место марксизма-ленинизма в системе народного образования СССР—тов. Кривцов. 2. Вузы и кафедры марксизма-ленинизма—тов. Гессен. 3. О программе диалектического материализма в ком. вузах и соц.-экон. вузах—тт. Ра-

(см. след. стр. обложки).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

171923

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

ЯНВАРЬ № 1 1930

СОДЕРЖАНИЕ.

И Луппол.—Ленин и партийность философии. (К шестой годовщине смерти В. И. Ленина). (1). П. Вышинский и Я. Левин.—Еще раз о механистах и о новой путанице тов. Сарабьянова (13). К. Шмюкле.—К критике немецкого историзма. Мейнеке и «raison d'etat» (50). А. Сагацкий.—Труд в теории стоимости (70). Гр. Деборин и М. Чернин.—О двойственной природе одного полемического трюка (102). Н. Петров—«Простое воспроизводство» как диалектическая категория (127). С. Щукин. — Две критики (Плеханов — Переверзев) (136). А. Максимов.—М. Планк и его борьба с физическим идеализмом (165). Шредингер и М. Планк.—О причинности (173). КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: В. Сергеев.—Франц Оппенгеймер. Система социологии (178) И. Вашакмадзе.—М. Гоггиберидзе. Развитие проблем материализма и диалектики до Маркса (189). Ал. Казарин.—Александр Кон. Курс политической экономии, ч. 1, изд. 3, исправленное (195). Е. Каганович.—Prof. Dr. Herman Levy Nationalökonomie und Wirklichkeit Versuch einer Socialpsychologischen Begründung der Wirtschaftslehre. Jene. (204).

Ленин и партийность философии.

(К шестой годовщине смерти В. И. Ленина).

И. Луппол.

«Маркс и Энгельс, — писал В. И. Ленин, — от начала и до конца были партийными в философии, умели открывать отступления от материализма и поблажки идеализму и фидеизму во всех и всяческих «новейших направлениях». И никто иной, как именно Ленин, развил и обогатил это учение марксизма о партийности философии. Ленин доказал и своим «Материализмом и эмпириокритицизмом» показал, что философская борьба есть та же классовая борьба, лишь проводимая в специфических формах.

Конечно, партийность в философии не следует понимать так, что каждая политическая партия имеет свою философию и эта философия данной политической партии истинна. Такая точка зрения была бы релятивизмом. Об'ективная истина одна, и эта истина философски воплощается в диалектическом материализме. Но подобно тому как коммунизм, который явился плодом развития современного классового общества, имеет носителем своим пролетариат, так и диалектический материализм является философией, общей теорией пролетариата.

В этом отношении можно сказать, что, борясь за диалектический материализм, пролетариат борется не за некую, хотя бы и истинную, но оторванную от жизни философию, но вместе с тем и за теорию коммунизма, теория же, как известно, неразрывно связана с практикой. Так увязывается

HOOVER LIBRARY

не только теоретическая борьба пролетариата с его практической борьбой за коммунистический строй, но и теоретическая борьба буржуазии против диалектического материализма с ее же практической борьбой против коммунистических движений пролетариата, в частности против социалистического строительства и пролетарской диктатуры СССР.

Мелкобуржуазные ламентации по адресу СССР у европейских филистеров также не могут не отражаться в их высказываниях теоретического характера, направленных против диалектического материализма. За истекшие со дня смерти Ленина шесть лет мы наблюдали и наблюдаем на Западе в общем довольно махровый спектр разнообразных высказываний против диалектико-материалистической теории пролетариата. В связи с изданием «Материализма и эмпириокритицизма» на немецком, французском и английском (в Англии и Америке) языках не мудрено, что эти высказывания группируются вокруг В. И. Ленина персонально.

Западно-европейская критика «Материализма и эмпириокритицизма» представляет собою чрезвычайно яркую и не допускающую кривотолков картину философской партийности. Особо доказательным характером обладает она еще и потому, что предметом критики, так сказать, об'ектом оценки является Ленин, т.-е. тот, кто, как сказано, больше других подчеркивал партийность философии.

Имея некоторые знания, навыки и сноровку и беря в руки журнал того или иного политического направления, можно уже заранее сказать, какого рода встретишь критику Ленина. Ленин представляет собою в философии настолько яркую партийную фигуру, что на нем в особенности четко сказывается партийность как философская, так и общеполитическая его критиков.

Само собой разумеется, что философских оценок Ленина столько, сколько можно себе представить оттенков философских партий. Ставя себе целью в пределах журнальной статьи лишь проиллюстрировать выставленные выше положения, мы ограничимся наиболее характерными примерами.

Общий фон всей иностранной критики составляет выражение полной неожиданности появления философского труда В. И. Ленина. Они, видите ли, не ожидали, что этот «узкий и фанатический политик» Ленин был способен написать философскую работу. Эта неожиданность характеризует не только буржуазную прессу, но и значительно более близкую нам. Так, французская «L'Information Sociale» пишет: «Ленин философ — таков неожиданный аспект, под которым открывается нам в этом новом произведении («Материализм и эмпириокритицизм». *И. Л.*) тот, которого привыкли рассматривать единственно как «профессионального революционера» и социального реорганизатора» [1]).

Буржуазного немецкого ученого Ф. Гаазе не может не поразить эрудиция Ленина. Этого он, конечно, от Ленина тоже не ожидал: «Он (Ленин) обнаруживает невероятную начитанность, о чем свидетельствует указатель цитируемых Лениным книг и журналов» [2]).

[1]) «L'Information Sociale», nov. 1928.

[2]) «Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven», 1928, Neue Folge, Band IV, Heft III, S. 451.

Ленинское учение о партийности в философии, равно как и его партийно-философская точка зрения, само собой разумеется, бросается в глаза всем рецензентам книги—как критикам, так и иностранным коммунистам. Тот же Ф. Гаазе пишет: «Книга Ленина есть выдающийся очерк по партийной истории русского марксизма, философские основоположения которого в ней обоснованы» [1]). Социал-демократ Зигфрид Марк выражается более определенно: «Ленин, как политический мыслитель и как теоретик познания, всегда стратег. Он ведет войну на каждой странице своего произведения... В борьбе против религиозной веры для него и теория познания есть частица классовой борьбы. Идеализм философский — классовый враг, философия буржуазии; эмпириокритицизм представляется ему как философский меньшевизм, который идет к этому врагу на помощь» [2]). Автор статьи в органе рабочей (коммунистической) партии Америки «The Communist» прямо заявляет, что книга Ленина—мощное оружие в пролетарской классовой борьбе. «В этом смысле,—пишет он,—книга Ленина есть политическая полемика не менее, чем его книга «Ренегат Каутский» [3]).

Разница между автором коммунистом и тем же социал-демократом З. Марком в том, что первый принимает точку зрения Ленина на партийность философии и прекрасно понимает, что философия не может быть беспартийной, второй же понимает взгляд Ленина, но не принимает его и остается в болоте идеалистической традиции о беспартийности «об'ективной» философии. Тем более смешную фигуру представляет он, равно как и буржуазные критики, поскольку все они, сами того не сознавая, фактически воочию обнаруживают свою собственную философскую партийность.

Давно известно, что буржуазные цеховые катедер-философы высокомерно отказывают диалектическому материализму вообще в философском содержании. Для них философия исчерпывается идеалистической философией. Между тем это и есть их партийно-философская точка зрения, как это уже давно было доказано Лениным. С другой стороны, как идеалисты, они стоят на точке зрения некоей провиденциальной национальности формы и содержания философии. Наши мистически настроенные последователи В. Соловьева еще более вбили им в голову, что русская философия есть от века и до века религиозно-духовное мировоззрение лишь с теми или иными суб'ективными отклонениями (что, кстати сказать, также является своеобразной партийной точкой зрения). Эта ставшая уже традиционной для немецких профессоров концепция сказывается и в пренебрежительно чванливом отзыве Ф. Гаазе. «Кто знает, — пишет он о Ленине, — русскую философию, тот знает, что дело идет не о философских исследованиях в западно-европейском (читай: буржуазном. *И. Л.*) смысле: для русского философия есть в высшей степени личное исповедание, вопрос мировоззрения. У Ленина в особенности интересно видеть, как два мировоззрения борются друг с другом. Материал, с которым имеет дело Ленин, происходит из западно-европейской

[1]) Ibid., S. 452.

[2]) «Der Kampf», Oktober 1928, S. 487.

[3]) «The Communist», April 1928, № 4, p. 255.

философии, методика же и форма, напротив, специфически русские. Для Ленина дело идет о том, чтобы дать философское обоснование русскому марксизму и показать, что западно-европейская философия находится на службе капитализма» [1]).

В этой «критике» нагорожено столько идеалистической гелертерской чепухи, что необходимо разобраться. Суть заключается в том, что автор, как и подобает буржуазному ученому, классовую точку зрения подменяет национальной. Однако отсюда должно следовать, что к «западно-европейскому» материалу приходится отнести не только Маха и Авенариуса, с которыми «имеет дело» Ленин, но и Маркса и Энгельса, с которыми он тоже «имеет дело». Между тем и школьнику, изучающему азбуку философии, должно быть ясно, что философские теории Маха и Авенариуса, с одной стороны, и Маркса и Энгельса, с другой стороны, умещаясь, по Ф. Гаазе, в рамках одной и той же «национальной» философии, разнятся между собой уже по своим фундаментальнейшим основным принципам. Или, быть может, Ф. Гаазе причислит Маркса и Энгельса к представителям русской философии?

Если так обстоит дело со стороны материала, то со стороны «методики и формы» дело складывается для Ф. Гаазе не лучше. «Специфически русские» методика и форма Ленина невольно заставляют вспомнить методику и форму «Анти-Дюринга», а также и стиль ранних философско-полемических работ Маркса и Энгельса. Значит, опять либо приходится причислить Ленина к «европейцам», что разрушает концепцию Ф. Гаазе, либо основоположников марксизма отныне почитать русскими, на что, очевидно, не решится и сам Гаазе.

С другой стороны, если Маркс и Мах — европейцы, а Ленин и Богданов русские, то между первыми и вторыми именами этих дилемм есть различие, и при том полярное!

Вопрос, поднятый Ф. Гаазе, заслуживает внимания, но решение его следует искать не в плоскости пустых рассуждений о европейском материале и русской форме, а в плоскости классовой постановки этого вопроса. В этом случае Ленин, как по материалу, так и по форме, окажется вместе с Марксом, а Богданов,—вместе с Махом. Вместе с тем выявится и классово-партийное лицо философских теорий всех этих мыслителей, а заодно и лицо новейшего критика Ленина. Так запутывается в противоречиях Ф. Гаазе, член весьма несостоятельной буржуазно-идеалистической философской партии, так обнаруживает он в оценке Ленина свое партийно-философское лицо.

Если современная буржуазия последовательно придерживается идеалистических систем, то мелкобуржуазная немецкая социал-демократия последние десятилетия эклектически спотыкается в блужданиях между марксизмом и буржуазной идеалистической философией, опираясь на костыли ревизионизма. Одним таким костылем является, как известно, махизм, другим — неокантианство. Это, так сказать, две фракции ревизионизма, готовые об'единиться в борьбе с диалектическим материализмом. Беря в руки социал-демократическую «Kampf», можно уже предвидеть, что критиком Ленина окажется либо махист, либо неокантианец, больше того, можно предугадать даже направление критики: марксизм, а стало быть и Ленина, будут упрекать в догматичности, в наивном реализме, в непонимании Канта или Маха. Так и есть. Цитированный уже нами З. Марк — неокантианец. Эта партийно-философская позиция предопределяет ход и содержание критики.

[1]) «Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven», 1928, № 7, Band IV, Heft III, S. 451.

В начале несколько пренебрежительный взгляд сверху вниз (это от буржуазных катедер-философов): «Если бы философское произведение Ленина появилось ныне на немецком языке анонимно, оно не произвело бы никакого эффекта. В нем увидали бы специальную ученую работу одаренного большой полемической силой, но философски неинтересного русского автора, который проявил необычайное прилежание в занятиях над ныне несколько устаревшими запросами и много острого ума в примитивно догматическом учении о познании» [1]).

«Ныне несколько устаревшие вопросы»—это по адресу ревизионистов-махистов из уст ревизиониста-неокантианца. Если бы статью писал махист, было бы наоборот. В этом, впрочем, заключалось бы все различие.

Далее следует насчитывающий уже десятки лет, несколько подновленный упрек в догматизме и некритичности: «То, что Ленин называет материализмом, хотя и близко к специфически естественно-научному материализму, но на философском языке обычно обозначается как наивный реализм. И этот мотив высказывает ленинское теоретико-познавательное произведение с фанатической монотонностью». Марк не прочь присоединиться к Ленину в смысле направления критики махизма: «когда Ленин подмечает утонченные мотивы критики познания у Маха и Авенариуса, то он прав там, где они действительно являются берклианцами и суб'ективными идеалистами». Однако, видите ли, эта критика суб'ективного идеализма с большей философской глубиной была дана уже Кантом в «Грезах духовидца» и в «Пролегоменах», а затем и неокантианцами и при том не с точки зрения ленинской теории отражений, которая является «подлинно вульгарной философией».

Итак, З. Марк тоже против махизма, но позиции махистской фракции буржуазно-идеалистической философии он критикует с позиций другой, именно неокантианской, фракции той же буржуазно-идеалистической философии. Одновременно он выступает против диалектического материализма. Это наступление ведется по обычной для неокантианских ревизионистов тактике: Ленин-де не понял Канта, ленинская метафизика наивного реализма неправильно называет Канта агностиком.

Не был ли Кант в самом деле агностиком? — задает вопрос З. Марк, и немедленно отвечает на него... отрицательно. Обоснование этого отрицательного ответа настолько вскрывает эклектическую сущность социал-демократической философии, что заслуживает быть приведенным. В своем методическом развертывании понятия вещи в себе, сообщает З. Марк, Кант не разрушал вещи в себе наивного реализма, «внешнего мира», «природы» (неизбежные кавычки при этих, казалось бы, не требующих кавычек словах

[1]) «Der Kampf», Oktober 1928, S. 484.

И. Л.). Познаваемость всего этого для Канта — альфа и омега. Вещь в себе у Канта лишь «просветленное, очищенное от заблуждений понятие». Поэтому, видите ли, «штемпелевание Канта как агностика покоится на последовательной эквивокации (одинаковое наименование различных предметов) кантовской вещи в себе и вещи в себе «здравого смысла». Кантовская вещь в себе непознаваема как метафизический предмет по ту сторону всякого опыта как раз потому, что предмет опыта и только он один познаваем» [1]). З. Марк даже сокрушается; ему «больно великого государственного человека пролетариата встречать в философии на пути философской догматики».

Итак, Кант, по З. Марку, за познаваемость вещей в себе, но против познаваемости «метафизического предмета по ту сторону всякого опыта». Кантовский «предмет опыта», утверждает Марк, познаваем, но, как известно, из этого мира опыта Кантом прежде всего из'емлются пространство и время, переносимые в мир ноуменов; далее из'емлются все реальные связи и отношения в роде причинности, взаимодействия и т. п. Что же остается для познания в этих «предметах опыта»? — Явления! Но познаваемость явлений в кантовском смысле этого слова не есть познаваемость вещей в себе. Кант выудил из материального мира все об'екты познания и был с своей точки зрения прав, об'явив вещи после таких операций непознаваемыми. В этом смысле критика Энгельса, данная им вслед за Гегелем, правильна, ибо, повторяем, после опустошения мира, произведенного Кантом, в нем ничего больше не остается для познания.

Предметом опыта остается лишь явление, поскольку вещь в себе, вещь как она существует, выдвигается за пределы опыта и об'является непознаваемым ноуменом. Другими словами, вещь непознаваема, потому что все ее содержание перенесено в другой мир, но и этот иной мир, мир ноуменов, непознаваем, потому что он является выходящим за пределы возможного опыта.

Что касается пресловутой формально-логической «эквивокации», то вольно же неокантианцу рассечь единую вещь на-двое и об'явить ее двумя вещами, не желая понимать, что явление есть явление данной вещи, сущностное явление вещи и что сущность проявляется, т.-е. представляет собою явленную сущность вещи.

Как известно, по мере продвижения хода мыслей в «Критике чистого разума» вещь в себе превращается в предельное понятие, и таким образом Кант, а с ним и все правоверные кантианцы превращаются в суб'ективных идеалистов, которых от сенсуалиста Беркли отличает лишь рационалистическая основа. Диалектический же материалист Ленин со своей теорией отражений и учением о превращении вещи в себе в вещь для нас оказывается действенным философом, наиболее возможно адэкватно познающим мир.

Для всякого ревизиониста диалектика остается книгой за семью печатями. Так и Марк не способен понять, как может материалистическая теория отражений сочетаться с диалектическим развитием понятия. З. Марк пишет: «Интереснее этого со страстью выполненного донкихотства (ленинская критика непознаваемости кантовской вещи в себе. *И. Л.*) связь ленинской теории отражений с диалектическим методом. Ведь марксистский материализм должен отличаться от чисто-естественно-научного материализма как диалектический. Диалектика же требует логического понятия, которое рассматривает познание не как покоящееся, но как процесс. Однако это диалектико-логическое понятие необходимо должно впасть в конфликт с теорией отражений, потому что диалектическое мышление предмета мирится менее всего с наивным понятием вещи, с отражением до всякого акта познания уже готового, фиксированного предмета... Отражение, поскольку это слово вообще может выражать какой-либо смысл, имеет смысл непосредственного и полного восприятия предмета познания. Отражение означает непосредственность, диалектика — логическое опосредование. Понятие постоянно обновляемого, частичного и относительного отражения полно противоречий» [1]).

Таким образом З. Марк утверждает несовместимость теорий отражений с диалектической логикой. Именно здесь мы имеем со стороны З. Марка эквивокацию. Он берет имагинативное, чувственное познание и познание рациональное, логическое и пред'являет к ним одно и то же требование. Но и эту операцию он может произвести лишь потому, что берет их в отдельности, вырывая между ними пропасть. Аналитически говоря, он прав, но прав лишь с кантианской точки зрения, которая сама не правильна. Чувственному познанию мы не можем пред'явить требования быть адэкватным познанием, но и одному рациональному познанию, оторванному от показаний чувств, нельзя пред'явить этого же требования. Истина заключается, как известно, в применении рационального метода к данным чувств, и это именно игнорируется З. Марком.

Марк не понимает, что познание есть не только анализ, но и синтез, синтетический процесс. Он закрывает глаза на все развитие философии от Канта к Гегелю и далее к диалектическому материализму. Кант поставил проблему соотношения эстетики, аналитики и диалектики, но не разрешил ее прежде всего потому, что его трансценденталиэм не позволил ему усмотреть в этих трех частях три момента единого процесса познания; вместо процессуальных стадий познания он дал три тупика, три графы некоей таблицы познания.

Теорию отражений Ленина З. Марк отождествляет со всей теорией познания диалектического материализма, но теория познания последнего есть диалектика, которая не исчерпывается теорией отражений. Не являясь целым, теория отражений составляет гносеологический исходный пункт материалистической диалектики, как теории познания в целом, и при том единственно верный исходный пункт.

З. Марк неспроста остановился на ленинской критике непознаваемости вещи в себе. Феноменализм плюс трансцендентальная логика — таково содержание философии Канта, а вместе с ним и Марка. Теория отражений и далее материалистическая диалектика, применение рационального метода к данным чувств, снова повторим,— такова теория познания Маркса и Ленина.

[1]) Ibid., S. 486.

[1]) Ibid., S. 486.

Отражение не есть готовый фиксированный предмет, но отражение от логического осмысления этого отражения можно оторвать лишь в порядке педагогически нужного, однако намеренно производимого анализа. Чувственное, рассудочное и, так сказать, разумное, диалектическое познание составляют три необходимых единых в себе момента наиболее возможно адэкватного в данных условиях познания. Именно до диалектики чувств и разума (до чего уже доходил Л. Фейербах) неспособен дойти кантианец З. Марк. Между тем это прекрасно выяснено самим же Лениным: «Представление ближе к реальности, чем мышление? — и да, и нет. Представление не может схватить движения в целом, например, не схватывает движения с быстротой 300.000 км в одну секунду, а мышление схватывает и должно схватить. Мышление, взятое из представления, тоже отражает реальность» [1]).

В приведенных словах Ленина подчеркнуто все необходимое для решения проблемы. Сводится оно к следующему: представления, т.-е. отражения отдельных предметов, необходимы, но одних представлений, одних таких отражений для познаний действительности недостаточно. Необходимо также мышление, однако взятое из представления. Такое мышление также отражает предмет. Никакого противоречия, в смысле несовместимости, в смысле разрушения самого понятия, понятие «постоянно обновляемых, частичных, относительных отражений» в себе не содержит. Правда, противоречие есть, однако, в смысле диалектическом, т.-е. противоречие, движущее познание вперед.

Беда З. Марка заключается в том, что он как кантианец-метафизик мыслит в жестких формально-логических определениях, и для него понятие отражения исключает возможность какого-либо изменения. Таким формально-идеалистическим метафизиком является Марк и в своем качестве философского критика Ленина.

Эклектизм, непонимание диалектики и сползание к буржуазно-идеалистической философии характеризует не только современную немецкую социал-демократию, но и все политические партии Второго Интернационала. Между их политической платформой и практикой, с одной стороны, и философской платформой и тактикой, с другой стороны, существует трогательная связь. Мы ограничимся лишь приведением еще одного примера, взятого с английской почвы.

Радикально-социалистически настроенные круги, группирующиеся вокруг английского рабочего колледжа «Плебс», уделили «Материализму и эмпириокритицизму» небольшую статью. При высоком уважении к личности Ленина эта статья обнаруживает полное непонимание диалектического материализма. Эклектика и пренебрежительное отношение к диалектике весьма прочно увязываются с двусмысленной политической позицией; критика по существу и тону сближается с критикой немецких социал-демократов; все это прикрывается подчас звонкой революционной фразой.

[1]) В. И. Ленин, Конспект «Науки логики» Гегеля, IX Ленинск. сборник, стр. 289.

«Что разумеет Ленин, — недоуменно спрашивают авторы статьи, — под этим скорее несчастным термином «диалектика»? Это отнюдь не легко сказать. Иногда это слово отдает непогрешимым гегельянским благоуханием, например, в фрагменте «О диалектике», где оно включает в себя теорию, происходящую от Гераклита и Гегеля, согласно которой всякое существование реально представляет собою единство противоположностей». Есть и другое значение, просто в смысле «эволюция» и «революция». «Подчас мы хотели бы знать, означает ли «диалектика», как она употребляется многими марксистами, что-либо большее, чем это благословенное слово Месопотамия?» (т.-е. земля обетованная. *И. Л.)* [1]). Нужно прямо сказать, что столь невежественные и развязные фразы редко услышишь даже от буржуазного критика. Для русского марксиста в этом слышатся давно известные, уже полузабытые перепевы идеалистической критики народников девяностых годов прошлого столетия.

У матерых немецких ревизионистов эта, с позволения сказать, критика была бы еще понятна, но молодой коллегии «Плебса», столь высоко ставящей материалиста и диалектика Иосифа Дицгена, это непростительно. В английском рабочем колледже не все благополучно.

Старая поговорка гласит: скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты. Эта поговорка применима и к руководителям «Плебса». Пренебрежение к диалектике не проходит даром: отрицая диалектику, «Плебс» ищет друзей и союзников на стороне и находит их в... фрейдизме и идеализме. Критики Ленина утверждают, что в природе есть нечто неповинующееся ей, и это нечто есть разум. Вместе с тем «всякий, кто не понимает «разум» (reason) слишком узко, но в своей концепции духа (mind) дает равное место бессознательным побуждениям, открытым для нас Фрейдом, способен создать синтез марксизма и новой психологии» [2]).

Руководители «Плебса» повторяют проторенный путь своих континентальных коллег. По условиям эпохи они пытаются соединить марксизм не с устаревшим уже неокантианством и не с достаточно истрепанным махизмом, а с «новой психологией». т.-е. с фрейдизмом. В этом вся новизна современного английского эклектического социализма. Веяния новейшей буржуазной философии прокладывают себе путь в Англии именно через фрейдизм. Но новый по форме эклектизм оказывается весьма старым по существу: быть может, сами того не желая и не подозревая, руководители «Плебса» попадают в давно знакомую диалектическому материализму партию, вернее: разношерстный партийно-философский блок, именуемый эклектизмом. Отсюда и их давно уже навязшие в зубах возражения материалисту Ленину, которого они считают «детерминистом восточного фаталистического типа» (!).

«Материя,— пишут они,— если угодно, может быть первичной, но она больше не является определяющей (but no longer rules the roost). Дух может быть «диалектическим» и вне материи; и когда однажды возник дух,

[1]) «The Plebs», May—June 1928, p. 116.
[2]) «The Plebs», ibid., p. 117.

вселенная перестала быть часовым механизмом, тикающим вслепую по предопределенной цели» [1]). Старые, насчитывающие почти двухсолетнюю давность, возражения материализму со стороны английских деистов, возражения, преодоленные уже великими французами XVIII века!

На приведенных примерах мы видим, что в дислокации философских партий по смерти Ленина не произошло сколько-нибудь существенных изменений. Отношение к диалектическому материализму со стороны буржуазно-идеалистической философии, равно как и со стороны международно-меньшевистского эклектического блока, осталось тем же. По существу, все эти возражения были уже предвидены Лениным и заранее парированы им в философских работах.

Иногда в европейской прессе, близкой к нам по общеполитическому направлению, встречаются большие ляпсусы даже у тех, кто суб'ективно хочет быть диалектическим материалистом. Мы склонны приписывать в таких случаях эти ляпсусы больше философской невинности, философскому младенческому возрасту, нежели сознательному выступлению против диалектического материализма.

Так в барбюсовском «Monde» в связи с выходом «Материализма и эмпириокритицизма» на французском языке была помещена небольшая заметка Марселя Оливье. Автор если не по формулировке, то по существу правильно определяет философскую борьбу как рефлекс, отражение классовой борьбы, но те исторические примеры, которые он приводит, свидетельствуют об изрядной еще путанице.

Правильно говоря в отношении средних веков о реализме и номинализме, в отношении XVIII века—о Беркли и французских материалистах, в отношении античной философии идеализму Платона и Аристотеля он противопоставляет материализм Фалеса, Анаксимандра и Пифагора (!), совершенно не упоминая Демокрита. Очевидно, зачисление Пифагора в материалисты следует отнести на счет неведения автора. Однако существует старое хорошее правило: не говорить о том, чего не знаешь.

Беспечность по части изучения истории марксизма приводит М. Оливье к явно ошибочным заключениям. Так он пишет: «В своей полемике Ленин лишь защищает философские концепции Маркса и Энгельса, уточненные до него Плехановым. В этом смысле ни одна из идей, содержащихся в этой книге («Материализм и эмпириокритицизм». *И. Л.*) не составляет нового оригинального достояния Ленина. Все это показывает еще раз, до какой степени не точно говорить о ленинизме, как о новой совокупности доктрин, оригинальных и прибавляющих нечто к основным положениям марксизма» [2]).

«Все это показывает еще раз, до какой степени не точно говорить» об удовлетворительном знании марксизма в тех суб'ективно революционных кругах Западной Европы, которые не прошли хорошей марксистской философской выучки. Нашему читателю не имеет смысла повторять о том новом, что внес Ленин хотя бы своей работой «Материализм и эмпириокритицизм».

[1]) Ibid., p. 117

[2]) «Monde», 1 Décembre 1928, № 26.

Не только привлечение материала, характеризующего кризисное положение современного естествознания, но и указание путей единственно возможного преодоления этого кризиса — путей диалектического материализма; постановка и разрешение ряда новых проблем: об'ективной и суб'ективной истины, истины абсолютной и относительной; критика плехановской теории иероглифов, — одного этого далеко не полного перечня довольно для того, чтобы признать, что Ленин не только защищает диалектический материализм, но и, исходя из него, развивает его дальше в связи с задачами новой эпохи. Мы не говорим уже о входящем в XIII том иностранных изданий фрагменте «К вопросу о диалектике». М. Оливье, видимо, оказался просто не в состоянии понять и осилить его.

Но в данном случае для нас имеет значение не М. Оливье персонально. Он лишь свидетельствует о том, что в близких к коммунистическим партиям кругах Европы предстоит еще большая работа по изучению и освоению как истории материализма, так и методологических основ материалистической диалектики. Иначе эти товарищи рискуют остаться вовсе «беспартийными» по части философии.

Наша картина философской партийности в связи с оценкой Ленина-философа была бы не полна, если бы мы не сказали о коммунистическом фронте. Только в органах коммунистической печати встречает Ленин истинное понимание и адэкватную оценку. И дело не просто в том, что иностранные коммунисты принимают точку зрения Ленина, следуют за ним в философии, а в том, что они находят в Ленине нужное им философское оружие в борьбе с идеализмом и эклектизмом.

С философской работой в братских коммунистических партиях дело обстоит, — об этом нужно сказать прямо, — не столь уж прекрасно. Теоретически наиболее сильные товарищи говорят и об идеалистических шатаниях, и о беспечности по части философии в коммунистических рядах. Так, А. Фрид, автор статьи «Борьба против философского ревизионизма», пишет: «Мы хотим сказать со всей ясностью, что отсутствие интереса к теоретическим принципиальным вопросам свидетельствует о слабости нашего движения и несет с собою опасность» [1]). При таких обстоятельствах книга Ленина не только укрепляет фундамент их теоретической работы, но и своим боевым духом и содержанием побуждает к теоретической борьбе. «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина, — пишет тот же А. Фрид, — дает нам основы для идеологического укрепления и углубления революционного рабочего движения в Западной Европе, дает нам в руки оружие для борьбы с указанной опасностью» [2]).

Иностранные коммунисты не в пример буржуазным критикам верно оценивают интернационально коммунистическое, а не ограниченно «русское» существо работы Ленина и правильно усматривают в ней помощь в своей борьбе с западно-европейскими представителями ревизионизма. Больше того, американский «Коммунист» указывает на актуальность работы Ленина для

[1]) «Die Internationale» 1928, Heft 1, S. 15.

[2]) Ibid., S. 16.

борьбы с распространенным по ту сторону океана прагматизмом. Книга важна и потому, — пишет один автор, — что имеет большое значение для прагматизма. Как и эмпиризм, прагматизм отрицает «метафизику», догму и якобы основывается лишь на опыте. Определение истины Джемса по существу идентично с Богдановским. «Хотя социальные пути американского прагматизма отличны от путей русского и европейского эмпириокритицизма, но содержание учения обеих систем одинаково и классовое значение их сходно» [1]).

Как европейские, так и американские товарищи подчеркивают, что значение работы Ленина состоит не только в полемике с эмпириокритиками, но и в том, что она принципиально поднимает и разрешает ряд важнейших проблем современной мысли: электронная теория, теория относительности и т. п. Эти товарищи, конечно, в философии также партийны, но они принадлежат к той философской партии, гениальным вождем которой был сам Ленин.

Таким образом, помещая Ленина в центре, мы получили как бы веером расположенных вокруг него его критиков: на одном конце находятся буржуазно-идеалистические критики, на другом — коммунисты сторонники диалектического материализма. Такое наглядное расположение не является искусственной схемой, оно лишь отражает об'ективно существующую философскую партийность и на отношении к самому Ленину доказывает правильность его учения о партийности философии.

Расположение это не статично. Оно лишь отражает данный этап ведущейся в специфической философской области международной классовой борьбы. Наше изложение пыталось только вскрыть основные направления этой переведенной на своеобразный теоретический язык борьбы классов.

Вместе с тем, думается нам, наше краткое изложение дает возможность сформулировать актуальные задачи советских марксистов на международном фронте. Задачи эти заключаются в быстром и решительном отпоре буржуазным идеалистам, в беспощадной теоретической критике и разоблачении классовой природы всякого рода ревизионистов и эклектиков, в пропаганде в духе Ленина диалектического материализма среди нейтральных и «ищущих», суб'ективно революционно-настроенных кругов и, наконец, в действенной помощи товарищам из братских коммунистических партий.

[1]) «The Communist», April 1928, № 4, p. 255.

Еще раз о механистах и о новой путанице тов. Сарабьянова.

П. Выщинский и Я. Левин.

В постановлениях II конференции марксистско-ленинских научно-исследовательских учреждений философия механистов была охарактеризована, как ревизия основ марксистско-ленинской диалектики. С тех пор прошел уже почти год, и за это время мы переживали острые политические и теоретические бои с правыми уклонистами в партии. В этих боях мы имеем подлинную проверку того, давно установленного нами, положения, что философия механистов есть по существу философия беспринципного делячества, забвения великих задач, стоящих перед пролетариатом и его партией, правого оппортунизма как в теории, так и на практике. Было доказано, что оппортунизм в теории ведет прямехонько к оппортунизму в практической политике.

Кто теперь будет сомневаться в том, что идейным источником, откуда черпают все свои премудрости механисты, является не марксизм Маркса — Энгельса — Ленина, а «марксизм» в оправе Богданова и Бухарина, т.-е. «ухудшенная verballhornt «социологической схоластикой» теория Маркса» (из замечаний Ленина к «Экономике переходного периода» Бухарина). Не ясно ли теперь, что подмена марксистско-ленинской диалектики чудовищной теорией «равновесия» есть и остается краеугольным камнем ревизии марксистской философии, марксистской политэкономии и партийной политики вообще. «Вы, конечно, знаете, — говорил т. Сталин на конференции аграрников-марксистов, — что среди коммунистов все еще имеет хождение так называемая теория «равновесия» секторов нашего народного хозяйства. Теория эта не имеет, конечно, ничего общего с марксизмом... Кому это нужно, чтобы смехотворная теория «равновесия» имела хождение в нашей печати?»

В спорах за последнее время было совершенно неопровержимо установлено, что ближайшими «крестными отцами» всей механистической концепции являются Богданов и Бухарин с их подменой марксистско-ленинской диалектики уже получившей печальную славу «теорией равновесия».

И именно потому, что партии подобная реакционная философия не нужна, и именно потому, что эта философия нужна нашим буржуазным и мелкобуржуазным теоретикам, вдохновляющая их на борьбу против мероприятий партии в деле строительства социализма, — мы считаем не лишним еще раз разоблачить в глазах советского читателя всю вредность и реакционность философии механистов. Мы констатируем, что механисты в последних своих теоретических выступлениях («Диалектика в природе», сб. № 5, и книжка Сарабьянова «В защиту философии марксизма») повернули круто в сторону идеализма. Мы в нашей статье попытаемся доказать, что нынешняя философия Сарабьянова и его компаньонов представляет собою

эклектическую мешанину взглядов берклианства, кантианства, махизма и богдановщины et tutti frutti. И сколько бы ни кричали сарабьяновцы, что они истинные идеологи марксизма-ленинизма, мы знаем им цену. Маркс когда-то говорил, что политические этикетки отличаются от торговых тем, что они обманывают не только покупателя, но и продавца. Может быть, искренне думает тов. Сарабьянов, крича громче всех о своем товаре, что этот товар первосортной качественности. Но мы зато знаем, что кто кричит громче всех, хочет сбыть гнилой товар, а также, что не всякий, называющий себя «ортодоксальным марксистом», — таковым является, как не всякий повторяющий: «Господи, господи», войдет в царство небесное.

I. Экскурс т. Сарабьянова в историю философии.

Одним из больших обвинений, выдвинутых тов. Сарабьяновым против так назыв. «деборинцев», является утверждение, будто бы последние в вопросах философии противопоставляют Ленина—Плеханову. Это совершенно неверно. Диалектики хотят лишь того, чтобы отдельные ошибки Плеханова не покрывались ссылкой на согласие с ним Ленина «по всем основным вопросам». Мы хотим также и того, чтобы из отдельных ошибок Плеханова не делали ошибочных выводов, усугубляющих эти ошибки. Во всех таких случаях, не противопоставляя в философии Ленина — Плеханову, мы будем все же указывать на правоту именно Ленина и на те поправку, которые делал Ленин в отношении философских работ Плеханова.

По вопросу о диалектике Ленин говорил, что она у Плеханова сводится «к сумме примеров». Между тем, диалектика есть всеобщая методология и теория познания марксизма. Следовательно, в понимании диалектики Ленин делал шаг вперед по сравнению с Плехановым. Тем более нельзя тов. Сарабьянова отождествлять с Плехановым, на что он усиленно претендует. Если у Плеханова могли быть отдельные ошибки, то тов. Сарабьянов создал из них целую путаную и эклектическую систему. Сарабьянов диалектику, как метод, вовсе устраняет, отождествляя метод с мировоззрением, а вопросы теории познания трактует метафизически, «выезжая», если не на «сумме примеров», то на потоке примеров, изложенных в стиле à la Кузьма Прутков. Если у Плеханова примеры иллюстрировали мысль, поясняли теоретические положения, то у т. Сарабьянова мысль беспомощно барахтается в потоке примеров, а иногда и сознательно прячется за них — там, где ей не хватает ясности, при чем это случается очень и очень часто.

Итак, мы вовсе не собирались противопоставлять в философии Ленина—Плеханову и никогда этого не делал никто из наших сторонников. Сочинения Плеханова — лучшее из того, что у нас есть по философии марксизма, — об этом говорил и Ленин. Если же говорить о противопоставлении, то в нем повинен как раз тов. Сарабьянов. Именно он, вся книга которого каждой строкой прямо-таки вопиет против ортодоксального диалектического материализма в ленинском понимании, именно тов. Сарабьянов противопоставляет Ленину — Плеханова (что, конечно, вопиет против истины!) и... Аксельрод (что, конечно, очень даже недалеко от истины!).

В своей книжке тов. Сарабьянов мечет громы и молнии против Гегеля, отождествляя его диалектику с талмудистикой, схоластикой, мистикой и т. п., не останавливаясь перед фальсификацией и извращениями цитат из его работ. Мы по поводу Гегеля спорить с механистами не собираемся. Мы просто противопоставили здесь Сарабьянову и иже с ним — Ленина, именно: его «Конспект Науки логики» (IX Лен. сборник). Сарабьянов ни звука не говорит о том, как Ленин относился к Гегелю, и умышленно прячет от читателя все гениальные высказывания Ленина, связанные с разбором гегелевской философии. Но, как известно, Ленин давал оценку Гегеля и в других работах. Так, в «Трех источниках» он писал: «В гегелевской диалектике Маркс и Энгельс видели самое всестороннее, богатое содержанием и глубокое учение о развитии». Далее, также известно, что классики марксизма лишь **по форме** считали гегелевское учение неудовлетворительным, по существу же, по своему содержанию диалектика Гегеля имела для них рациональный смысл. Сарабьянов же пишет: «Каждому из нас (и из деборинцев) известны взгляды Маркса—Энгельса на гегелевское учение о категориях, как **наполненное** мистикой» (подчеркнуто нами). Тут тов. Сарабьянов придает существенно иной смысл отношению Маркса — Энгельса к Гегелю, т.-е. попросту говоря извращает истину. Но тов. Сарабьянов прибегает даже к таким вольностям, которые можно было бы прямо уже назвать грубой фальсификацией и отсутствием научной добросовестности. На стр. 184 своей книги он, цитируя Гегеля, вернее: выхватывая кусочек из контекста и не указывая цитируемого источника (это, между прочим, более, чем странная манера тов. Сарабьянова: при цитировании того или другого автора не указывать ни источника, ни страниц), дает затем свое механистическое толкование приведенной цитате, а вслед за этим замечает: «Нам могут бросить обвинение в произвольном толковании Гегеля, и мы нисколько не настаиваем на его буквальном изложении»... Комментарии к подобной вольности в обращении с источниками излишни.

В главе первой тов. Сарабьянов, разбирая вопрос о методе и мировоззрении, точно также борется с собственной тенью. Никто, кроме него, не противопоставляет мировоззрение — методу. Мы всегда утверждали, что материализм не мыслим без диалектики, и что диалектика без материализма становится идеалистической. Иное думают механисты, как это обнаружилось в ходе разногласий: они думают, что можно «принять» материализм, отвергнув или извратив диалектику.

Тов. Сарабьянов очевидно хочет сказать (см. I гл. его книги), что к материализму можно и не прилагать диалектики, как метода, что материализм, как мировоззрение, есть сам сеое метод. Метод де — это мировоззрение в действии. Интересно сопоставить эволюцию механистов. Как известно, они начали с того, что выбросили лозунг: «наука сама себе философия». Теперь Сарабьянов выдвигает новый пароль: «мировоззрение само себе метод».

Конечно, метод имеется в мировоззрении, он не внешне к нему приложен, он составляет его живую «душу», как выразился Плеханов. И, с другой стороны, в методе есть уже мировоззрение, метод «обрастает» им. Мы рассматриваем диалектический материализм как неразрывное единство (диалектического) метода и (материалистического) мировоззрения. У Гегеля метод и система были, как известно, в «разрыве», т.-е. находились в об'ективном противоречии. Но тождества в обоих случаях не было. Если же тов. Сарабьянов думает, что метод и мировоззрение — это одно и то же, то это ему понадобилось для задней мысли: отождествить гегелевскую систему и гегелевский метод, отрицать противоречие между ними, чтобы затем сказать: у Гегеля нечего взять, можно «обойтись» с материализмом, который будто бы есть уже и метод. Отождествляя метод с мировоззрением, тов. Сарабьянов смазывает для материализма вопрос о методе, замалчивая то, что материализм по методу может быть не только диалектическим, но и метафизическим (французский материализм, отчасти Фейербах и др.).

Вообще, на историю философии у тов. Сарабьянова... наивные взгляды. Ее ход представляется ему двойственным,—не противоречивым, а двойственным, дуалистическим. С одной стороны, у него Демокрит, Гоббс, Локк, Фейербах, а с другой—Платон, Кант, Гегель. Но диалектический материализм учит о единстве мирового процесса и, следовательно, о единстве в развитии философской мысли. Философия каждой эпохи есть отражение бытия и сознания

своего века и соответствует, обычно, состоянию естествознания. Второй ряд мыслителей (Платон—Гегель) не есть цепь сплошной ерунды и заблуждений. Идеализм не чепуха,—говорил Ленин, а гипостазирование, вспухание, раздувание одной из сторон человеческого познания. Намечая «круги» в развитии философии, Ленин, как известно, включает в них не только материалистов, но и Платона и Гегеля. С нашей точки зрения диалектический материализм не прекрасный плод на одной из ветвей философской мысли, но результат всего предшествующего развития, синтез всей работы человеческой мысли на основе определенных (именно—материалистических) принципов. «Мы, немецкие социалисты,—писал Энгельс,—гордимся тем, что происходим не только от Сен-Симона, Фурье и Оуэна, но и от Канта, Фихте и Гегеля».

Сарабьянов же считает, что философия марксизма есть завершение лишь одной, материалистической линии в истории философии и что другая линия просто отбрасывается. Это — дуалистический взгляд, выдержанный в духе сарабьяновской «диалектики»: в истории борются две силы, одна из них, наконец, побеждает и т. д. Отдельные философские системы тов. Сарабьянов рассматривает как «звенья» в цепи развития. Этот термин выбран не случайно, а для того, чтобы подчеркнуть лишь механическое сцепление и связь с предыдущим, и для того, чтобы отрицать синтетический характер развития философии. Он сам об этом пишет: «Никакое звено в цепи научной (а не эклектической) мысли не может быть рассматриваемо как синтез одного с другим» (стр. 3). Итак, имеются отдельные, чередующиеся системы, отдельные звенья, но нет синтеза. Поэтому, по тов. Сарабьянову, каждая последующая философия характерна лишь отрицательным отношением к предыдущей, но не содержит ее в себе в снятом виде. Поэтому для т. Сарабьянова Демокрит авторитетней Гегеля, а Локк—превыше всех. Диалектический материализм, по тов. Сарабьянову, произошел от Фейербаха, Фейербах — от Гегеля, Гегель — от французских материалистов (?!) и т. д., как в Библии: Авраам роди Исаака, Исаак же роди Иакова... «Диалектический материализм, — пишет тов. Сарабьянов, — не синтез материализма с диалектикой, по утверждению тов. Деборина, а снятие «предыдущего звена в лице фейербахианства» стр. 3). Но откуда же диалектика, тов. Сарабьянов? Ведь у Фейербаха (известно ли это тов. Сарабьянову?) ее не было. Как тут связать концы с концами? Сарабьянов думает, что огульное отрицание идеализма, отрицание без критики и без заимствования того рационального, что имеется в идеализме, ужасно революционный шаг. На самом деле в таком шаге больше недомыслия, чем революционности.

О первичных и вторичных качествах.

Основной вопрос философии—проблема суб'екта и об'екта—сводится тов. Сарабьяновым к вопросу о физическом и психическом и к вопросу о первичных и вторичных качествах.

«В основу (марксистской гносеологии. *Авторы*) положено,—пишет тов. Сарабьянов,—учение Локка о первичных и вторичных качествах вещей» (30). Но до сих пор мы слышали от Ленина, что в основе материалистической теории познания лежит диалектика: «Диалектика есть теория познания (Гегеля и) марксизма». С точки же зрения Сарабьянова Локк — вот основа диалектического материализма. Всем известен дуализм Локка в учении о первичных и вторичных качествах, дуализм, унаследованный им от Галилея и Декарта. И вот за эту наиболее метафизическую сторону Локка и цепляется Сарабьянов,—учение Локка о первичных и вторичных качествах вещей» будто бы ничего не сделали для борьбы с идеализмом и т. д. Но пусть бы тов. Сарабьянов, прежде чем обосновывать диалектический материализм на локкианстве, попробовал бы сначала опровергнуть Берклиевские выводы из

дуализма качеств Локка. Может быть, такой исторический экскурс, чему-нибудь научил бы тов. Сарабьянова. Быть может, он тогда убедился бы, что дуализм качеств приводит к отрицанию об'ективной реальности субстанции, в познаваемости которой, как известно, сомневался уже сам Локк. Беркли же, а за ним Юм вовсе отрицали субстанцию, а у Канта весь мир об'является суб'ективным миром явлений. Мы советуем тов. Сарабьянову не пренебрегать историей, и тогда он поймет, что не попусту самого тов. Сарабьянова обвиняют в суб'ективном идеализме и кантианстве, ибо сказавший вслед за Локком «а» вынужден сказать и «б».

И в этом вопросе, как везде, тов. Сарабьянов ищет опору для своей путаницы в лице Г. В. Плеханова, создавая видимость, будто последний стоял на точке зрения суб'ективности качеств. Это настолько смехотворно, что стоит только привести из самого Плеханова парочку цитат, как все построения Сарабьянова летят вверх тормашками. На стр. 42 XVII тома своих сочинений Плеханов пишет: «Я вовсе не думал утверждать, что свойства вещей существуют только в нашем представлении». А в споре с Богдановым Плеханов возмущенно пишет: «Вы приписали (мне) ту мысль (эту богдановскую «традицию» «приписывания мыслей» продолжает до сих пор тов. Сарабьянов. *Авторы*), что «свойства» вещей существуют только в сознании тех суб'ектов, на которых они действуют. Но в том-то и дело, что я никогда не высказывал такой мысли, достойной только суб'ективных идеалистов, напр., Беркли, Маха и их последователей (т. XVII, стр. 41) (в роде тов. Сарабьянова, добавим мы).

А теперь возьмемся за самого Сарабьянова. Цвета, запахи, звуки и т. д., пишет он, «существуют только для нас и перестают быть вместе с гибелью суб'екта» (34). Отсюда неизбежен и дальнейший вывод, что с гибелью суб'екта исчезает мир. В самом деле, если «из'ять» вторичные качества, то от мира, по Сарабьянову, останутся первичные: протяженность, движение и покой, фигура и число. Из этой теории сделал вывод уже Беркли. Он спрашивал: бывают ли бесцветные фигуры. Откуда мы знаем о протяженности, движении и покое, если не через вторичные качества? В самом деле: остаются движение, фигуры и числа... чего? Или числа и фигуры сами по себе? Тов. Сарабьянов скажет, что число материальных частиц, фигуры материи и ее же движение. Но ведь качественность материи тов. Сарабьяновым не признается. Он ее считает чем-то неопределенным, бескачественным. Поэтому безбожник Сарабьянов, как только он вступил на скользкую для него дорожку философии, прямехонько попадает в об'ятия епископа Беркли.

Разрыв суб'екта и об'екта и их противопоставление—основная ошибка тов. Сарабьянова. Этот разрыв он маскирует постоянным криком по адресу диалектиков, что они «смешивают понятия». С точки зрения Сарабьянова нет ничего общего между 100 талерами в кармане и представлением о них—в голове. Мы, разумеется, не станем смешивать тех и других талеров. Но мы не согласимся также с тем, что между ними нет никакой связи. На что рассчитывает тов. Сарабьянов и какого он мнения о своих читателях, если он с серьезным видом доказывает, что талеры в кармане не тождественны с мыслимыми талерами? Высказываясь против тождества, Сарабьянов тут же попадает в другую крайность: он отказывается найти какую бы то ни было связь между «суб'ективными» и «об'ективными» талерами. Но эта связь есть; именно — связь, какая существует между суб'ектом и об'ектом. Из марксистской политэкономии можно узнать, напр., что для обмена товаров нужны действительные талеры, а для измерения ценности товара можно обходиться с воображаемыми, т.-е. мыслимыми, талерами: «суб'ективные» талеры являют-

ся функцией денег, об'ективных талеров. Таким образом, мы не подменяем Павла — Савлом или наоборот, мы лишь устанавливаем связь суб'екта с об'ектом, тов. Сарабьянов же насильственно разрывает их.

«Азбучной истиной для марксиста является то положение,— пишет тов. Сарабьянов,—что ощущения суть непространственные, нематериальные, психические, духовные, суб'ективные явления» (33). Тут Сарабьянов в трех соснах заблудился. С его точки зрения выходит, что в мире существуют материальные и какие-то нематериальные явления. Но ведь ощущений нет вне материи, ощущение есть свойство материи или материальное свойство. Это азбучная истина для марксиста. Но тогда как можно задавать вопрос: материальны ли ощущения? Ведь ставить вопрос так можно лишь в том случае, когда свойство насильственно и вопреки природе предмета отрывается от материи и полагается вне и отдельно от нее.

Такую операцию и проделал тов. Сарабьянов (разорвал суб'ект и об'ект), а затем недоуменно спрашивает: материально ли свойство материи? Тут мы имеем постановку вопроса, которая своей нелепостью исключает всякую возможность разумного ответа. Но, может быть, тов. Сарабьянов хочет сказать, что психическое не тождественно с физическим? Мы с этим вполне согласились бы. Но в том-то и беда, что через несколько страниц (стр. 49—50) Сарабьянов опровергнет Сарабьянова, заявив: психическое и физическое тождественны. Вот поди и разберись в этой неразберихе!

Тов. Сарабьянов требует не подставлять «волны», когда речь идет о красном, не приписывать об'ективности ощущению только потому, что об'ективность свойственна «волне» (41). Вот он, этот доподлинный разрыв. Для тов. Сарабьянова удар колокола — это одно, а звук этого удара — нечто совсем и принципиально другое. Мир сам по себе беззвучен (зачем только снимают колокола — с точки зрения Сарабьянова — беззвучные?), бескрасочен и т. д. Точно также «теплота с холодом не что иное, как ощущения, как суб'ективные явления» (33). Но это утверждает не только Сарабьянов. Так думал Беркли, Юм, Кант, Мах и иже с ними. Диалектический же материалист изготовляет термометр и, погружая его в воду, познает, что наши ощущения имеют свое основание вне нас, в об'екте. Это называется экспериментом, практикой. Практикой проверяет человек связь и соответствие своих ощущений с об'ективной действительностью (Кстати заметим, что тов. Сарабьянов вовсе не понял значение практики в диалектико-материалистической теории познания). По Сарабьянову получается такая картина: погружая руку в воду, мы имеем ощущение тепла или холода. Какая же вода на самом деле—мы не знаем вовсе, или знаем, что она—никакая. Тов. Сарабьянов пытается вылезть из огорода, который сам нагородил: температура (=движение молекул), видите ли, существует об'ективно (Кстати: откуда нам известно об этом первичном качестве? Не через вторичные ли, тов. Сарабьянов? Не через ощущение ли теплоты?). Итак, температура существует в об'екте, а теплота—в суб'екте, и Сарабьянов требует «не смешивать понятий», т.-е. попросту говоря — рассматривать суб'ект и об'ект вне их взаимной связи. Но еще Маркс в «Капитале» высмеял тот наивный взгляд, согласно которому вес имеется вне тяжести, а теплота — вне температуры.

Нам думается, что нельзя забывать о температуре, когда речь идет о тепле или холоде, нельзя забывать о «волне», когда речь идет о «красном»,— одним словом, надо помнить об об'екте, когда мы говорим о его «части» — суб'екте. Мы хорошо знаем, что получается, когда, говоря о явлении, забывают о вещи и о сознании, отвлекаясь от бытия. Диалектика учит нас, что во всех случаях, когда мы упомянутые и всякие другие противоположности берем разобщенными, вне единства, то мы не поймем ни одной из взятых

противоположностей. Тем более чудовищными выглядят измышления Сарабьянова, будто ощущения—этот «мостик», связывающий нас с об'ектом—можно рассматривать как лишь суб'ективные. Если ощущения только суб'ективны, то непонятна их причина. Если же их причиной является об'ективный мир, то спрашивается, как можно оторвать следствие от причины, т.-е. как можно рассматривать ощущения суб'екта независимо от об'ективных вещей?

В ощущениях есть, разумеется, суб'ективная сторона, т.-е. наши ощущения об'ективно—суб'ективны. Ощущения как таковые—суб'ективны. Но ведь у нас не бывает ощущений вообще, а бывают определенные ощущения (белого, прямого, звучного, пахучего и т. д.), т.-е. у нас имеются суб'ективные ощущения об'ективного. Следовательно, ощущения (как и явления) об'ективно—суб'ективны. Отсюда всякая попытка одностороннего рассмотрения суб'екта заранее считается нами обреченной на неудачу. Такие именно попытки делает Сарабьянов. Он пишет: «Но мы говорили совсем о другом — не о связи суб'екта с суб'ектом, но о том, что такое суб'ективное явление, что такое мой внутренний мир» (49) (Курсив автора). Значит, Сарабьянов считает возможным исследовать суб'ективные явления, внутренний мир **вне связи** с об'ективным миром! Мы, значит, хорошо и правильно поняли тов. Сарабьянова с самого начала!

Тов. Сарабьянов не останавливается даже перед искажением цитат и целых учений. Он старается заручиться для своих суб'ективистских теорий поддержкой... Плеханова. Между тем — в приводимых тов. Сарабьяновым (стр. 42) цитатах Плеханов высказывается против отождествления суб'екта с об'ектом. Мы не будем приводить этих цитат в виду их бесспорности. Читатель разберется сам. Плеханов выступает против А. Ланге, который говорил, будто бы «материализм упрямо принимает мир чувственной видимости за мир действительных предметов» (42). Конечно, материализм на этой точке зрения не стоит, Плеханов совершенно прав: отождествлять нельзя, но, говорит Плеханов, «нас можно было бы с полным основанием упрекнуть в дуализме, если бы суб'ект со своими представлениями отрывался нами от об'екта. **Но мы совсем не грешим этим грехом»** (т. XVII, стр. 43; курсив наш). Как видим, Плеханов оклеветан не в меру ретивым Сарабьяновым. Приведенное место Сарабьянов замалчивает, и если нельзя отождествлять, то Сарабьянов понял это так, что суб'ект и об'ект должны быть разорваны и противопоставлены. Вдобавок эту последнюю точку зрения тов. Сарабьянов приписал Плеханову. Плеханов этой точки зрения не придерживался, что видно из приведенной цитаты. И Плеханов и Ленин считали, что на ряду с различением суб'екта от об'екта должно признавать и их единство, их связь. Плеханов там же пишет, что «суб'ект сам является одной из составных частей об'ективного мира» (т. XVII, стр. 43).

Еще более грубому извращению подверглась цитата из Ленина (стр. 46). Приведем ее целиком. В споре с Богдановым (учеником Авенариуса) Ленин писал: «Вы начинаете опять подсовывать Энгельсу махизм: дескать, агностик считает чувства, точнее: ощущения, только суб'ективными (агностик не считает этого!), а мы с Авенариусом «координировали» об'ект в неразрывную связь с суб'ектом» (Ленин, т. XIII, стр. 92). Приведя эту цитату, тов. Сарабьянов нашу точку зрения единства суб'екта и об'екта сравнивает с Авенариусовской «неразрывной связью» об'екта с суб'ектом». Но этот трюк тов. Сарабьянов явно рассчитал на неосведомленность читателя. Однако «втереть очков» ему не удается. Ведь известно, в чем заключается авенариусовская «координация»: она выражалась тезисом: «без суб'екта нет об'екта». К этому тезису скатывается тов. Сарабьянов. Диалектики же стоят как раз на обратной точке зрения. Но в данном случае нас больше всего возмущает такое вольное обращение с Лениным.

Другая цитата из Ленина на той же (46) странице истолкована тоже архипревратно. Ленин в ней вовсе не говорит о том, что ощущения являются только суб'ективными. Приписывание такого взгляда Ленину является клеветой и невыносимо для всех, кто хоть немного знаком с философскими работами Ленина. В приведенной цитате Ленин говорит о том, что оговорка Петцольда, что ощущения имеют об'ективную значимость, вовсе не спасает его от солипсизма. Ленин возражал против махистско-петцольдовской об'ективации ощущений. Вместо того, чтобы в об'екте видеть источник ощущений, они об'ект об'являли «комплексом ощущений». Это называется «об'ективацией ощущений», против чего боролся Ленин. Сарабьянов не понял этого. Он не понял, что приписывать ощущениям об'ективную значимость еще не значит быть материалистом. Наоборот, эта об'ективация характерна как раз для идеализма. Кант приписывал об'ективную значимость пространству, времени, причинности и др. априорным категориям. Махисты поступали так в отношении ощущений. Сарабьянов подобным образом трактует качество и грани.

Тов. Сарабьянов в вопросе суб'ект—об'ект стоит на позициях дуализма. Повидимому, сам он «ощущает» это, ибо на стр. 47 спрашивает: раз суб'ект и об'ект чужды, абсолютно противоположны, то не придем ли мы к психофизическому параллелизму? И действительно тов. Сарабьянов бросается из одной крайности в другую. Единства он никак не может нащупать, и потому от абсолютного разрыва бросается к тождеству. Он говорит: «Мы должны развивать (по вопросу о физическом и психическом) именно теорию тождества» (49).

Теория «иероглифов» венчает философскую путаницу тов. Сарабьянова в вопросе о суб'екте—об'екте. Известно, что Ленин указывал на недопустимость толковать теорию отражения действительности нашим сознанием, как теорию символов, «иероглифов», знаков и т. д., ибо это ведет прямехонько к махизму. Но что тов. Сарабьянову—Ленин! Несмотря на отрицательное отношение к теории «иероглифов» Ленина, тов. Сарабьянов продолжает на ней настаивать, укрываясь за ограничения и оговорки. Но «оговорки»—прием оппортунистов не только в политике, но, повидимому, и в философии. В самом деле, Ленин говорил, что терминология—«иероглиф», «символ», «знак»—может повести к уклону и что найдутся путаники (Сарабьянов—пример этому), которые станут цепляться за этот неудачный у Плеханова термин, настаивать на нем (хотя и прикрывать это «оговорками», «поправками»). Сам Плеханов не был так наивен, как тов. Сарабьянов, и по данному вопросу говорил не только о «неточности выражения» или «о двусмысленности» подобной терминологии, как об этом упоминает тов. Сарабьянов, но прямо признал ее «неудовлетворительность» (см. т. XVII, стр. 38, 39), о чем тов. Сарабьянов умалчивает. Но Плеханов не попадал под власть терминов, он был философом. О Сарабьянове же можно сказать: беда, коль пироги начнет печь сапожник...

Вот пусть посмотрит читатель, что получается, когда т. Сарабьянов начинает философствовать.

«Черная прямая линейка весом в 20 граммов» —что это означает?» — вопрошает тов. Сарабьянов и отвечает:

«Условные ли знаки: «черная», «прямая»—«весом в 20 граммов»? Или «зеркальные отображения»?

«Наивный материалист ответит: «зеркальные отображения».

«Кантианец Гельмгольц скажет: «условные знаки» (стр. 55). Ну, а как скажет материалист-диалектик?—спросим мы. Вот ответ тов. Сарабьянова:

«Современный материализм согласится и с тем и с другим, но обе точки зрения ограничит» (56). Курсив Сарабьянова).

Итак, оказывается, тов. Сарабьянов все же признает синтез, если не диалектики с материализмом, то наивного материализма с кантианством. Давно бы так, тов. Сарабьянов, вместо того, чтобы ходить вокруг да около. Любим вас за прямоту хоть в одном вопросе! Теперь мы будем знать, как именно решается вами основная проблема теории познания. Не знаем мы только вот чего, тов. Сарабьянов: почему собственно вы изложенный вами взгляд называете «диалектическим материализмом», да еще «ортодоксальным»? Нам думается, что если следовать правилу Буало и—как советовал Плеханов—называть кошку—кошкой, то ваша, тов. Сарабьянов, точка зрения есть «ортодоксальный»... махизм. Этот вывод сделан нами не только на основании приведенной цитаты. Релятивистическими упражнениями в махистско-богдановском стиле пропитана вся книга тов. Сарабьянова. Вот что он пишет еще на той же 55 странице: «Ясно, что один и тот же процесс может быть обозначен произвольным, любым знаком» (курсив Сарабьянова). Как видит читатель, мы взяли не просто случайное место из книги тов. Сарабьянова. В таком же духе он продолжает и дальше:

«Наша (!) теория познания ясно говорит о том, что «первичные качества» зеркально отображаются в нашем сознании, «вторичные» же только соответствуют первичным..., не будучи ни в какой мере зеркальным отображением или копией последних» (57). Тут что ни слово, то путаница, впрочем, обусловленная делением качеств на первичные и вторичные. Для «первичных качеств» тов. Сарабьянов признает теорию «зеркального отображения», для «вторичных» же—теорию «иероглифов». Дуализм привнесен и сюда, и получается вот что:

1) «первичные качества» зеркально отображаются в сознании,

2) «вторичные качества» есть иероглифические отображения качеств первичных,

3) иероглифы есть отображение уже отображенных в сознании первичных качеств.

Такова сарабьяновская («наша», как он пишет) теория познания. Помни, читатель! Ей-ей скучно разбирать эту белиберду.

Читатель должно быть заметил, что Сарабьянов везде говорит о «зеркальном отображении» и пытается создать видимость, будто и Ленин стоял на такой точке зрения. Это совершенно неверно. Нигде и никогда наши сторонники не говорят о **зеркальности** отображения. Даже последний термин—«отображение», «отражение»—является несовершенным, относительно выражает нашу теорию, не говоря уже о «зеркальности». Но тов Сарабьянов и здесь, как везде, мечется между двух огней—либо «зеркальное отображение», либо «иероглиф», ничего третьего он не находит.

«Какова же теория познания тов. Деборина и его учеников, мы до сих пор еще не знаем», пишет тов. Сарабьянов (56).

Что же: невежество—не аргумент, тов. Сарабьянов! Но если уж вы прикидываетесь таким простачком, то мы вам скажем: наша теория познания—это та, которую вы критикуете, т.-е. теория познания Маркса, Энгельса и Ленина. Эта теория познания совершенно ясна и научна и не содержит ни грана той невообразимой путаницы, какую представляет ваша теория. Наша теория познания ничего общего не имеет с той пестрой мозаикой локкианства, кантианства и махизма, богдановщины и т. д., мозаики, какой является ваша эклектическая теория познания.

Опять спинозизм!

Обвинение, которое выдвигает здесь против нас Сарабьянов, заключается в следующем: если считать подобно Спинозе мышление атрибутом материи, т.-е. неот'емлемым ее свойством, то придется признать, что материя,

природа не предшествовали сознанию, а существуют рядом с ним, а это, как известно, есть идеализм. Разберемся.

Прежде всего необходимо отметить, что Сарабьянов подсовывает Энгельсу определение атрибута, взятое из... «философского словаря» Брокгауза-Ефрона, ибо он сам не может обойти молчанием то место из «Диалектики природы», где Энгельс говорит, что «материя во всех своих превращениях остается вечно одной и той же, что ни один из ее атрибутов не может погибнуть и что поэтому с той же самой железной необходимостью, с какой она некогда истребит на земле свой высший цвет — мыслящий дух, — она должна будет его снова породить где-нибудь в другом месте и в другое время». Или... «в природе материи заключено то, что она приходит к развитию мыслящих веществ, и поэтому такое развитие совершается необходимым образом всегда, когда имеются соответствующие условия (поэтому не необходимо всюду и всегда)». Кажется, ясно: Энгельс утверждает подобно Спинозе, что мышление является неот'емлемым атрибутом материи, что он «включен» в ее сущность. Следует ли из этого, что материя не предшествует сознанию, а существует рядом с ним?—Нет, вовсе не следует! Ибо мышление заложено как суб'ект в об'екте, в материи только как внутренняя возможность, но не как внешнее свойство; и эта внутренняя возможность превращается в действительность только при известных исторических условиях. Другими словами, когда мы говорим, что мышление является атрибутом материи, то это означает, что суб'ект не что-то случайное, внешнее для об'екта, но составляет с ним единство, единство суб'екта—об'екта.

Итак, мышление есть неот'емлемый атрибут материи. Правильно также и то, что материя предшествует сознанию. Нет ли тут противоречия? Никакого. Ибо такова диалектика внутреннего и внешнего. Вот почему Сарабьянов мечется между Энгельсом и механическим материализмом, ибо сказать открыто, что Энгельс был неправ, смелости не хватает, понимать же его он не в состоянии, а потому он прямо доходит до комизма, когда пытается вложить в уста Энгельса определение атрибута из словаря Брокгауза-Ефрона как свойство, т.-е. как что-то внешнее для материи... Но если у Сарабьянова материя лишена атрибута мышления, то ей с в о й с т в е н е н только атрибут протяженности. Он и сводит материю к протяженности, к физическому, т.-е. становится на точку зрения Декарта. Но тогда спрашивается: каково отношение мышления к материи, суб'екта к об'екту? — Ясное дело, для Сарабьянова мышление, суб'ект должны быть чем-то внешним, случайным и для материи, для об'екта. И тут Сарабьянов низводит необходимость до уровня случайности. Да иначе у него быть не может. Но какая же тогда собственно разница между признанием мышления, как случайности, и мышлением, как атрибута душевной субстанции? Никакого, если только быть последовательным до конца. Так именно и поступил Декарт: он прямо заявил, что мышление есть атрибут душевной субстанции, а протяженность—атрибут субстанции материальной. Так, собственно, должен был поступить и Сарабьянов, если бы он был последовательным. Но так как он к последовательности явно неспособен, то он вьется, как уж, и старается примирить свою механистическую концепцию с концепцией... Энгельса, заранее подправляя последнего под Брокгауза-Ефрона, а после этого «глубокомысленно» изрекает: «По Спинозе, субстанция всегда обладала, обладает и будет обладать, не может не обладать атрибутом мышления. По Энгельсу же мир в течение такого-то отрезка времени может быть и без жизни и без той или иной формы—движения. В м а т е р и и л и ш ь з а л о ж е н ы в о з м о ж н о с т и п о я в л е н и я о щ у щ а ю щ и х с у щ е с т в. (Подчеркнуто нами. *Авторы*). Н о в е д ь о в о з м о ж н о с т и п о я в л е н и я д о с у щ е с т в о в а н и я—д и с т а н ц и я о г р о м н о г о р а з м е р а». Сказав это он высмеивает диалектиков, которые, дескать, грешат не только против диалектической логики, но и против

логики формальной. Подождите, т. Сарабьянов! смеется тот, кто последним смеется. Мы готовы сделать комплимент т. Сарабьянову: он в данном случае правильно изложил мысль Спинозы и Энгельса. Но ведь он же сам написал, что по Энгельсу: «В материи лишь заложены возможности появления ощущаемых существ», то не ясно ли отсюда, что эта возможность, как внутренняя, имманентная самой природе материи, есть как раз атрибут Спинозы, ибо живая действительность и есть как раз единство сущего и возможного. Сарабьянов же ломится в открытую дверь, ибо никто из нас не утверждал, что любая материя мыслит актуально. Мы только боремся за ту, ставшую уже азбучной, марксистскую истину, что если бы в природе материи, в «самом здании материи» — как выражается Ленин — не было заложено внутренней, вечной возможности к мышлению, то это мышление никогда бы не могло появиться в высших организмах животного мира. Вот и все, что отстаиваем мы вслед за Спинозой и Дидро, Энгельсом, Плехановым, Лениным. Правда, не все материалисты это положение высказали с достаточной ясностью. Так, например, Дидро, как известно, находил жизнь и сознание в элементарных молекулах материи недостаточно четко оттеняя мышление как качество, как особую определенность, свойственную только высоко-организованной материи. Ему казалось, что в миниатюрной форме, в некоторой количественной степени это качество свойственно любой материи. Точно также недостаточно осторожно по этому поводу выражается и Г. В. Плеханов, когда он пишет: «материя вообще, а особенно всякая организованная материя, обладает известной степенью чувствительности» [1]), или... «и в неорганизованном виде материя не лишена той основной с п о с о б н о с т и к «ощущению», которая приносит такие богатые «духовные» плоды у высших животных (это верно! *Авторы*). Но в неорганизованной материи эта с п о с о б н о с т ь существует в крайне слабой степени» (это уже неверно! *Авторы*) [2]). Яснее всех сформулировал это положение В. И. Ленин. Так он пишет: «Материализм в полном согласии с естествознанием берет за первичное данное материю, считая вторичным сознание, мышление, ощущение, ибо в ясно выраженной форме ощущение связано только с высшими формами материи (органическая материя), и в «фундаменте самого здания материи», можно лишь предполагать существование с п о с о б н о с т и, сходной с ощущением» [3]), и дальше «о щ у щ е н и е, м ы с л ь, с о з н а н и е е с т ь в ы с ш и й п р о д у к т о с о б ы м о б р а з о м о р г а н и з о в а н н о й м а т е р и и: т а к о в ы в з г л я д ы м а т е р и а л и з м а в о о б щ е и М а р к с а — Э н г е л ь с а, в ч а с т н о с т и» [4]).

Кажется, ясно. Зачем же понадобилось Сарабьянову распространять легенду о том, что диалектические материалисты, признавая мышление атрибутом материи, должны тем самым признать, что материя существует рядом с мышлением? Как квалифицировать такой маневр? Это—введение в заблуждение читателя. Это—мистификация.

Кстати, насчет гилозоизма. Сарабьянов старается перед читателем спутать, как ловкий жонглер, все карты. Сначала он превращает Спинозу, Плеханова и нас в гилозоистов, в панпсихистов, а потому он становится в сторону и посмеивается. Надо прямо заявить, что Сарабьянов имеет о гилозоизме весьма смутное представление. Как известно, очень ярким выразителем гилозоизма на заре новой философии был Дж. Бруно. У ловкого Сарабьянова Дж. Бруно почему-то выходит очищенным от этого «греха» и поставлен на одну доску с Энгельсом. Плеханов же у т. Сарабьянова превращается в гилозоиста, панпсихиста, «на которого так любят ссылаться «дебоpинцы» в своей защите гилозоизма». Мы должны здесь самым категориче-

---

[1]) П л е х а н о в, Соч., т. XVIII, стр. 202.
[2]) Там же, т. V, стр. 212.
[3]) Л е н и н, т. X, изд. 1923 г., стр. 30.
[4]) Там же, стр. 39 (курсив наш).

ским образом опровергнуть новую легенду Сарабьянова о том, будто Плеханов был гилозоистом. Знаменитое выражение Плеханова о «револьверном выстреле» совершенно правильно, ибо действительно ощущение в животной клетке не могло появиться вдруг, подобно револьверному выстрелу, если бы в здании, в фундаменте неорганической материи не было заложено способности к ощущению. Правда, как мы уже раньше упомянули, Плеханов недостаточно ясно проводит различение мышления как нового специфического качества, предполагая, что мы имеем только количественное развертывание психичности, начиная с неорганических тел и кончая высшими существами. Но обвинять Плеханова, значит придраться к неточности в формулировках. Вот что пишет Плеханов в его ст. «Бернштейн и материализм»: «Строго говоря, то положение, что «мышление происходит из бытия, а не бытие из мышления», не согласуется с учением Спинозы. Но то мышление, о котором здесь идет речь, есть человеческое сознание, т.-е. высшая форма «мышления», и предпосылка бытия этому мышлению ни в коем случае не исключает «одушевленности» и материи». Вот диалектическая постановка вопроса, данная Плехановым: положение, что бытие определяет сознание, не исключает (а, наоборот, предполагает, прибавим мы) «одушевленности» материи. Плеханов берет «одушевленность» в кавычки, чем хочет сказать, что одушевленность в материи не есть что-то наличное, актуальное, а потенциальное, возможное. Вот и вторая легенда Сарабьянова о гилозоизме диалектического материализма разлетелась в пух и прах.

Тов. Сарабьянов мечется в поисках разрешения этого вопроса, и в конце концов решает, что: «Имеется, однако, следующий выход из затруднительного положения: отрицать качественное различие между разумом, низшим ощущением и чем-то родственным ощущению, а степень родственности уменьшить до бесконечно малых величин, никогда не достигая нуля» (28).

Вот уж: разрешил так «разрешил». Посудите сами: он стирает всякую грань между разумом, низшим ощущением и способностью к ощущению, наголо отрицает историзм в развитии материи, превращает качество в одно сплошное количество, и задача решена. Нет ничего качественного, особенного, есть только одно сплошное количественное развертывание того, что уже есть. И это он называет антигилозоизмом. Мы же называем подобное «решение» вопроса его собственным именем—вульгарным эволюционизмом.

Легенда об енчменизме.

Чувствуя неустойчивость своей позиции и шаткость выдвигаемых обвинений, тов. Сарабьянов избрал метод расчета «и на Петра, и на Онуфрия». Так, он обвиняет «деборинцев» одновременно: в материализме и в идеализме, в витализме и... енчменизме. Последнее обвинение действительно является «гениальным вымыслом». До сих пор было известно, что по вопросу об енчменизме у самих механистов «рыльце в пушку». И вот тов. Сарабьянов решил спутать карты.

В связи с вопросом о первичных и вторичных качествах он доказывает, что «деборинцы» подобно Енчмену считают ощущение пространственным, в то время как с точки зрения сарабьяновского материализма необходимо его считать только суб'ективным. В доказательство этого тезиса он ссылается на Фейербаха, Плеханова и Ленина и квалифицирует нашу трактовку этого вопроса, как явный отход не только от Плеханова, но и от Ленина. Сарабьянов рассуждает так: вторичные качества по Локку суть только ощущения, они только суб'ективны, непространственны; «деборинцы» же ревизуют учение Локка о первичных и вторичных качествах, признают качества

не только суб'ективными, но и об'ективными,—следовательно, они становятся на точку зрения «блаженной памяти» Енчмена о пространственности ощущений. Одним словом: вы говорите, что мы — механисты. — Неправда. Вы, деборинцы, самые что ни на есть вульгарные материалисты типа Бюхнера, Фохта и современного Енчмена. Это обвинение настолько смехотворно, что на него не стоило бы даже и отвечать, если бы мы не хотели предостеречь читателя, которого старается сбить с толку Сарабьянов.

В самом деле, сколько нам приходилось воевать с механистами по поводу того, что ощущение, мышление есть специфическое качество, не сводимое к физико-химическим процессам в головном мозгу. Вот что писал, например, И. Степанов (Скворцов): «Вся область человеческой экономики; все процессы жизни в самом человеке, в том числе и процессы психической жизни,—все это, сказал я в своих работах, полностью и без всяких из'ятий подчиняется закону сохранения энергии» [1]). Или: «Деборинцы совершенно неожиданным образом берут за основу диалектики отрицание возможностей сведения явлений жизни к физико-химическим процессам. Такая изумительная проповедь отрицает одним взмахом и диалектику, и материализм» [2]).

Кажется, ясно: мы не сводим мышления к пространственности, к физико-химическим процессам; механисты же (в том числе и Сарабьянов) сводят ощущение к пространственности. Но жонглер Сарабьянов повертел шарами, и получилось обратное: «деборинцы» сводят ощущение к протяженности, механисты же не сводят!

Иди после этого и спорь с Сарабьяновым.

Итак: что же такое ощущение? Как известно, Спиноза отрицал возможность выведения психического из физического, ибо они суть два атрибута единой материальной субстанции. Материя же не есть только физическое или протяженность. Вот что Спиноза пишет в одном письме к Ольденбургу: «Быть может, вы скажете: а не есть ли мышление акт телесный. Допустим, хотя я этого никоим образом не могу признать. Но вы одного не станете отрицать, что протяжение, как таковое, не есть мышление» [3]). Или, например: «Ни тело не может определять душу к мышлению, ни душа не может определять тело ни к движению, ни к покою, ни к чему-либо другому (если только таковое существует)» [4]). Что означают эти положения Спинозы? Означают ли они, что организм, т.-е. «душа» и тело,—психическое и физическое—суть противоположные вещи? Нет. Это одна и та же вещь, понимаемая в одном случае под атрибутом мышления, в другом под атрибутом протяжения, т.-е. мышление и протяжение суть различные стороны одной и той же вещи. Тут нет никакого параллелизма, но нет и тождества, а только единство. Короче: психическое есть другая сторона, другое выражение того же самого материального, другой стороной и другим выражением которого является протяжение. Они суть различные модусы различных атрибутов одной и той же единой материальной субстанции. Мышление и физическое тело составляют одну общую живую организацию, неразрывную целостность, или индивидуальность, при их разрыве может лишь существовать абстрактная «душа» и мертвое тело. А потому Спиноза был совершенно прав, когда он установил, что физическое тело, взятое само по себе, не является причиной мышления, точно также, как мышление, взятое само по себе, в абстракции, не может быть причиной действий тела: они являются лишь двумя сторонами одной и той же живой целостной организации, и только, рассматриваемые в целостной связи с живым организмом, они могут влиять и видоизме-

---

[1]) И. Степанов, Диалект. материализм и Дебор. школа, Гиз, 1928 г., стр. 113.

[2]) Аксельрод, В защиту диалект. мат., Гиз, 1928 г., стр. 239.

[3]) Переписка Бенедикта Спинозы, письмо Ольденбургу, стр. 75.

[4]) Спиноза, Этика, ч. III, Теор. 2, стр. 145.

нять друг друга, при отсутствии же этой связи нет самой жизни, самого живого организма. Эти положения Спинозы совпадают с последними выводами физиологии. Вот что пишет крупнейший физиолог—проф. Конклин: «Психика относится к телу так, как функция относится к структуре. Некоторые утверждают, что структура есть причина функции, и что реальной задачей эволюции или развития является преобразование одной структуры в другую; функции же, которыми сопровождаются известные структуры, не что иное, как случайный результат. С другой стороны, есть такие, которые утверждают, что функция есть причина структуры и что сущность развития заключается в изменении функций и привычек, которое и влечет за собой соответственные изменения в структуре. К первому взгляду примыкают многие морфологи и неодарвинисты, ко второму — многие физиологи и неоламаркисты. Мне кажется, что сторонники обоих взглядов забывают о существенном единстве организма в целом, т.-е. структуры и функций. Ни одна из них не предшествует другой, как причина предшествует следствию, хотя они могут видоизменять друг друга, так как представляют собой две стороны одного и того же явления, т.-е. организации. Таким образом, я полагаю, что тело и мозг не служат причиной ума, как и ум не служит причиной тела и мозга, но и то и другое присуще одной общей организации или индивидуальности» [1]).

Так же ставили вопрос о Дидро и Фейербах, Энгельс, Плеханов и Ленин. Психическое не выводится из физического, а то и другое, по удачному выражению Плеханова, являются «сопринадлежностями» единого целого, которого нельзя ни расщеплять, ни раздваивать. То же самое пишет Ленин: «Не в том состоят эти взгляды (т.-е. взгляды материализма. *Авторы*), чтобы выводить ощущение из движения материи или сводить к движению материи, а в том, что ощущение признается одним из свойств движущейся материи. Энгельс в этом вопросе стоял на точке зрения Дидро. От «вульгарных» материалистов Фохта, Бюхнера, Молешотта Энгельс отпраживался, между прочим, именно потому, что они сбивались на тот взгляд, будто мозг выделяет мысль, так же, как печень выделяет желчь» [2]). А «ортодоксальный» ленинец Сарабьянов упрекает нас в том, что «толковать ли материю Спинозы, как субстанцию, или как атрибут субстанции, — все равно спинозизм не может мириться с таким положением, как порождение психического физическим»... «Итак, Энгельса никак невозможно отнести к последователям Спинозы в отношении понимания психического, как атрибута субстанции» (36). Правильно! Спинозизм не может мириться с положением, что психическое порождается физическим, и с этим, как читатель видит, не могут мириться и классики марксизма и современная наука физиологии. Если т. Сарабьянов стоит на точке зрения исключительно суб'ективности ощущений, то, значит, ощущение является свойством какой-то душевной субстанции, т.-е. опять-таки получается дуализм души и тела, какой мы имели у Декарта.

Итак, повторяем еще раз: психическое одновременно и суб'ективно, и об'ективно, ибо если скажем, что психическое только суб'ективно, то выйдет, что сам дух из самого себя (sua vi, как выражается Спиноза) может творить действительность. Ощущение—психическое и тело—физическое составляют единство, единую живую организацию, целостность. А потому, на вопрос: протяженно ли ощущение?—необходимо ответить так: поскольку ощущение не может мыслиться вне физического, вне физико-химического процесса в головном мозгу, вне протяженности,—оно—ощущение—протяженно; но поскольку же оно, как психическое, составляет модус атрибута мышления, а не протяжения, постольку оно не протяженно; другим словами, ощущение протяженно, поскольку оно вместе с физическим принадлежит к одной живой целостности, оно не протяженно, поскольку оно не выводится из физического, из телесного, как желчь из печени.

[1]) Проф. Конклин, Наследственность и среда, Гиз, стр. 36.

[2]) Ленин, т. X, стр. 31 — 32.

Так лопается сшитая белыми нитками и легенда об енчменизме «деборинцев». Ибо сам Сарабьянов, бросивший нам это обвинение, продемонстрировал, что он не понимает ни единства психического и физического, ни различия в этом единстве, т.-е. попросту разоблачил себя, как метафизика. Не угодно ли послушать т. Сарабьянова:

«И, действительно, если физическое с психическим суть две стороны одного и того же, то неминуемо возникает вопрос: две стороны чего именно? Одни ответят: господа бога. Другие: энергии (Бехтерев. *Авторы*). Третьи (сам Спиноза): особой субстанции» (48). Да. Две стороны материальной субстанции, ибо материя не сводится к протяженности, как не сводится она к психическому. Этого Сарабьянову и иже с ним никогда уже не понять. Выходит, что в основном вопросе философии, в вопросе об отношении мышления к бытию, Сарабьянов оказался путаником, эклектиком, ибо он оказался способным занимать в одно время две диаметрально противоположные позиции.

Случайна ли трактовка „случайности" у тов. Сарабьянова.

Тов. Сарабьянов любит гарцовать на своем «коньке» — случайности. Здесь наш рыцарь чувствует себя как будто в седле и имеет победоносный вид. Но, как ни велики рыцарские доспехи т. Сарабьянова, все же, в результате, он оказывается не на коне, а под конем. И не потому, что кто-то его оттуда стащил. Нет! По воробьям из пушек не стреляют. А потому, что его же собственный «конек» изменяет ему и сбрасывает своего седока при первом же ходе. А как это происходит, мы сейчас покажем. Мы покажем, что, как бы т. Сарабьянов ни клялся именами Энгельса, Плеханова и даже Гегеля и как бы воинственно он ни был настроен против идеалиста Канта,— он сам выказывает себя суб'ективистом-кантианцем.

Свой дебют т. Сарабьянов начинает с категории причинности и сразу начинает путать карты, чтобы читателю показалось, будто он — Сарабьянов — ортодоксальный марксист, а диалектики («деборинцы») — в одной компании с Кантом.

Так он пишет: «Как известно, Кант отрицает об'ективную закономерность природы, он считает, что законы нашим мышлением как бы вложены в природу. По Канту поэтому причинно-следственные связи суть дело мышления, об'ективно же их нет, и следовательно они не могут стать предметом нашего восприятия... Деборин же пишет следующее: «Причинная связь, например, есть предмет мышления, а не предмет восприятия. Мы мыслим эту связь, как действительную, реальную связь». Мы спрашиваем всех, кто понимает, что такое материализм, можно ли вложить в уста материалисту приведенную нами фразу... Тов. Деборин совершенно не отдает себе отчета в том, куда приводит утверждение, что причинная связь не может быть предметом восприятия. Он не понимает, что такое утверждение не может быть увязано с признанием об'ективного существования причинной связи» [1]).

Итак, дело ясное. Тот, кто утверждает, что об'ективная причинная связь явлений может быть уловлена мышлением, а не восприятием — тот кантианец!

[1]) Сарабьянов, «В защиту...» стр. 75 — 76. Цитата из ст. Деборина «Диалектика у Канта» (Архив I). Курсив принадлежит тов. Сарабьянову.

Так ли это? — посмотрим.

Прежде всего следует отметить, что т. Сарабьянов спутал тут два разных вопроса:

1) вопрос онтологический — вопрос о признании или отрицании об'ективности причинно-следственных связей и

2) вопрос гносеологический — о познании упомянутых связей.

В самом деле — Кант отрицал об'ективную закономерность природы, внешнего мира. Мы же, в согласии со всеми классиками марксизма и материализма, признаем об'ективность и реальность причинности, связей, отношений и т. д. Похоже ли это на кантианство? Как видит читатель — это прямая его противоположность. Второй же вопрос касается того, каким образом можем мы познавать причинно-следственные связи: непосредственным восприятием или разумом, мышлением, т.-е. через опосредование непосредственно данных ощущений, восприятий. На этот вопрос мы, вопреки Юму, на позициях которого стоит тов. Сарабьянов, и в согласии с классиками марксизма отвечаем, что только восприятию недоступно познание об'ективной причинности. Ибо непосредственное, чувственное познание расчленяет свой об'ект, при чем теряются связи, отношения и т. д. Посредством восприятия мы можем установить в лучшем случае последовательную (во времени), но не причинную связь явлений. Такой вид познания, которым, кстати сказать, пользуются животные, философия, называющаяся «ползучим эмпиризмом», возводит в свой принцип. От «ползучего эмпиризма» диалектический материализм отличается тем, что он устанавливает диалектику непосредственного и опосредованного познания. Энгельс учил нас, что человек познает причинно-следственную связь в процессе разумной практической деятельности, т.-е. посредством экспериментального воспроизведения. Вот что писал Энгельс: «...благодаря деятельности человека и создается представление о причинности, представление о том, что одно движение есть причина другого. Правда, одно правильное чередование известных естественных явлений может дать начало представлению о причинности — теплота и свет, получаемые от солнца, — но здесь нет настоящего доказательства, и в этом смысле Юм со своим скептицизмом был прав, когда говорил, что правильно повторяющееся post hoc никогда не может обосновать propter hoc (т.-е. при одном только восприятии, созерцании, наблюдении мы действительно не можем познавать об'ективности причинно-следственных связей. *Авторы*). Но деятельность человека дает возможность доказательства причинности... Естествоиспытатели и философы до сих пор совершенно пренебрегали исследованием влияния деятельности человека на его мышление: они знают, с одной стороны, только природу, а, с другой, только мысль (Это относится по адресу естествоиспытателей и философов сарабьяновского толка. *Авторы*). Но существеннейшей и первой основой человеческого мышления является как раз изменение природы человеком, а не одна природа, как таковая, и разум человека развивался пропорционально тому, как он научался изменять природу» [1]).

Итак, мысль, которую здесь высказывает Энгельс, сводится к тому, что при одном эмпирическом восприятии, наблюдении можно только приступить к познанию причинной связи, но здесь еще нет полного об'ективного знания, полное об'ективное знание о причинности приобретается только в воспроизведении самих связей и отношений путем человеческой исторической практики и посредством разума, мышления. Послушаем, что говорит на этот счет Ленин. В своем конспекте «Наука логики» он цитирует следующее место: «Предмет, каков он без мышления и без понятия, есть некоторое

[1]) Энгельс, Диалектика природы (Архив II).

представление или также некоторое название; определения мышления и понятия суть то, в чем он есть, то, что он есть»... При этом Ленин замечает: «Это верно! представление и мысль, развитие обоих, nil aliud» [1]). О чем говорит эта мысль?—О том, что познание предметов путем восприятия есть неполное, лишь непосредственное познание. Только путем восприятия и мышления мы воспроизводим предмет так, как он есть в об'ективной действительности во всех его отношениях и связях. Действительность не есть продукт мышления, она существует вне и помимо него, но она воспроизводится мышлением в понятиях, категориях.

Похоже ли все это на кантианство? Похоже настолько же, насколько сарабьяновщина похожа на марксизм. Как видит читатель, «умысел тут был иной», да только т. Сарабьянов «промахнулся»: метил в «деборинцев», а попал в Энгельса и Ленина. А сам Сарабьянов оказался в одной компании с Юмом и Кантом. Правда, это случилось не по его злой или доброй воле, но вследствие об'ективной логики вещей: начавший слепо цепляться за Локка, за суб'ективность ощущений и т. д., и т. п. Сарабьянов, сказавши «а», вынужден говорить и «б», т.-е. все дальше и дальше уклоняться и от диалектики, и от материализма.

Сарабьянов глубокомысленно поучает читателя, что «если мышление говорит о причинной связи, не могут о ней не говорить чувства, ибо чувства дают для мышления материал, подлежащий обработке и связи» (77). Как видит читатель, Сарабьянов не двинулся дальше Локковской гносеологии: «Нет ничего в мышлении, чего раньше не было в чувствах», — т.-е. той ступени, которую Энгельс считал только первым этапом познания, превзойденным диалектико-материалистической теорией познания. Сарабьянов же хочет нас возвратить к первобытному состоянию материализма. Назад к Локку! — Вот его лозунг. Но это — лозунг всех ревизионистов. Но более того; в вопросе о причинности т. Сарабьянов начинает разводить старую - престарую канитель с превращением ее в механистическую абсолютную причинность и абсолютную, фатальную необходимость. Это наводит нас на грустные размышления: не захвачен ли наш «антикантианец» кантианством? Не его ли имел в виду Ленин, когда писал: «Когда читаешь Гегеля о каузальности, то кажется на первый взгляд странным, почему он так сравнительно мало остановился на этой излюбленной кантианцами теме. Почему? Да потому, что для него каузальность есть лишь одно из определений универсальной связи, которую он гораздо глубже и всестороннее охватил уже раньше, во всем своем изложении, всегда и с самого начала подчеркивая эту связь, взаимопереходы etc. etc. Очень бы поучительно сопоставить «потуги» новоэмпиризма (respective «физического идеализма») с решениями, вернее, с диалектическим методом Гегеля» [2]). А Сарабьянов носится с причинностью, как с писаной торбой, и пишет: «Неясности с причинностью определяются на наш взгляд каким-то паническим страхом деборинцев перед неограниченностью об'ективной необходимости, каковая неграмотность приводит будто бы к фатализму. Сам т. Деборин находит себе от него потайное местечко в стыдливом и трусливом ограничении об'ективной необходимости, абсолютной каузальности» (79).

Наговорив страшных слов по адресу диалектиков, подготовив, таким образом, для атаки дымовую завесу, Сарабьянов под ее прикрытием бросается в бой. Ведет он эту атаку по всем правилам стратегии и сначала выставляет на позиции свою тяжелую артиллерию. Читатель, наверное, подумает, что это действительно страшная артиллерия; ну хоть бы Маркс,

[1]) Ленинский сборник IX, стр. 283.

[2]) Ленинский сборник IX, стр. 167. (Подчеркнуто нами. *Авторы*).

Энгельс, Ленин... Нет, оказывается: «Учебник по материализму» Горева, давно уже вышедший в тираж, и «Теория ист. материализма» Бухарина... Что мы не выдумываем, видно из его же слов: «Раскрываем «Материализм—философия пролетариата» т. Горева, человека не менее образованного и не хуже в философии марксизма разбирающегося, чем все эти недавние идеалисты и народники в роде Баммеля, Карева и т. п.: «В мире нет ничего случайного или произвольного: то, что мы называем «случаем», есть лишь результат нашего невежества. Мы не знаем причины какого-нибудь явления, например, не знаем, вследствие каких незаметных физических причин в данный момент оторвалась и упала на нашу голову с крыши черепица, и говорим, что она упала «случайно»... Берем «Теорию истор. мат.» т. Бухарина: «Причины, вызывающие следствия (то или иное выпадение монеты), не поддаются здесь практическому учету. Они существуют, но мы их не можем учесть, а потому мы их не знаем. Это наше незнание мы и называем в данном случае случайностью»... На той же точке зрения стоит т. Трахтенберг в своих «Беседах с учителем по истор. мат.», рекомендующий по вопросу о причинности безоговорочно (!!! *Авторы)* бухаринскую книгу и утверждающий, что «нет ничего случайного» (80).

Конечно, вместе с Горевым, Бухариным и Трахтенбергом Сарабьянов не позабыл захватить и самого себя, свои собственные «Очерки по историческому материализму», цитаты из которых он переписывает в свою книгу. Не правда ли: очень уж тяжелая артиллерия!

Приведя все эти цитаты из авторитетных и, по его собственному выражению, «наиболее распространенных работ по диалектическому материализму», т. Сарабьянов делает следующий предварительный вывод: «Об'ективно существует только необходимость, которая или нами познана,—и тогда необходимость становится свободной, или же она не познана,—и тогда необходимость представляется нам случайностью, т.-е. категорией, прямо противоположной свободе. Свобода и случайность суть суб'ективные категории, ибо и то и другое являются не чем иным, как познанием необходимости (свобода) и незнанием необходимости (случайность). Это есть точка зрения Энгельса и Плеханова, которых деборинцы пытаются превратить в «своих» (80—81. Курсив автора).

Как тут не воскликнуть: «Караул!». Когда Сарабьянов «умозаключал», на основании учебников Бухарина, Горева, Трахтенберга и самого себя, мы молчали, не возражали. Что верно, то верно! Здесь Сарабьянов был абсолютно прав, но когда он в этом деле, к этой компании хочет прицепить Энгельса и Плеханова, то, уж извините, этого мы не позволим! Мы постараемся тут же на месте преступления уличить нашего фокусника и покажем, что те цитаты, которые он приводит из классиков марксизма, бьют его же самого. Вот к примеру его цитата из «Людвига Фейербаха» Энгельса: «Мы знаем, наконец, что необходимость составляется из чистейших случайностей, а эти мнимые случайности представляют собою форму, за которой скрывается необходимость» (81. Курсив наш). Мы спрашиваем читателя, против кого направлено это место? — Ведь ясно же, что Энгельс говорит тут, что эти кажущиеся мнимые случайности составляют форму проявления необходимости, т.-е. то, что мы неоднократно утверждали, что эта форма имеет, так сказать, свое основание в необходимости, что, значит, она также необходима, а потому об'ективна, что случайность только кажется мнимой, кажущейся, а на самом деле она также действительна и т. д. и т. п. Вот следующее место из Энгельса, приводимое Сарабьяновым: «Но где на поверхности господствует случайность, там сама эта случайность всегда оказывается подчиненной внутренним, скрытым законам» (82). Значит, случайность, которая

кажется Сарабьянову и приводимым им авторитетам суб'ективной, а потому не существующей, сама оказывается подчиненной внутренней необходимости и, значит, об'ективной. Как видит читатель, т. Сарабьянов сел в лужу, и оттуда его не вытащишь. Мы были бы рады ему помочь, но что делать, если он неисправим и если ему там нравится сидеть... Вот посмотрите сами, можно ли ему помочь. Так он цитирует знаменитое место из «Диалектики природы» Энгельса, неоднократно нами приводимое против механистов, о стручке с горошинами и о блохе, где Энгельс говорит, что «с необходимостью этого рода мы все еще не выходим из границ теологического взгляда на природу. Для науки совершенно безразлично, назовем ли мы это, вместе с Августином и Кальвином, извечным решением божиим, или, вместе с турками, кисметом, или же назовем необходимостью. Ни в одном из этих случаев не может быть речи об изучении причинной цепи, ни в одном из этих случаев мы не двигаемся с места. Так называемая необходимость остается простой фразой, а, благодаря этому, и случай остается тем, чем он был» (83). Прежде всего поражаешься, как это Сарабьянов мог вообще приводить подобного рода цитаты, ведь до сих пор в спорах с нами механисты упорно умалчивали об этих местах, считая их как бы не существующими. Но вот видите, в конце концов, Сарабьянов решился на какой отважный шаг, — приводить, не моргнув глазом, убийственные для него цитаты и при этом заявить, что Энгельс в этом месте беспощадно бьет по «деборинцам», считающим случайность категорией об'ективной. Мы думаем, что на такое «сальто - мортале» Сарабьянов решился по отчаянию: все равно, дескать, нечего терять! Попробуем, может читатель и не заметит и примет нас за приверженцев Энгельса, или скорее Энгельса за нашего приверженца. Но зато достаточно только подойти с фонариком к тому месту, где Сарабьянов напустил дыму, чтобы обнаружить фальшь. В самом деле, что тут Энгельс утверждает. Он утверждает, что наука не может доказать, необходимо ли было, чтобы блоха укусила меня в три часа ночи, а не в четыре, и притом в правое плечо, а не в левую икру; то же самое со стручком горошины. И что, если бы наука стала бы этим заниматься, она была бы уже не наукой, а шарлатанством, ибо это случайность, и не потому, что она не познана, а потому, что она вовсе не необходима, хотя и детерминирована. Ибо такова природа случайности, как формы: она и необходима и в то же время не необходима, безразлична для необходимости как содержания, несущественна, т.-е. она имеет основание и точно так же не имеет никакого основания, т.-е. она может быть, но может и не быть, а потому и случайна. Всего этого не в состоянии понять тов. Сарабьянов. И, не понимая этого, он как раз пытается поступать, следуя той науке, которую так едко высмеял Энгельс в том месте, которое приводится самим Сарабьяновым. Вы знаете, читатель, что Сарабьянов пытается доказать? Не больше не меньше, как почему блоха необходимо должна была укусить меня в 3 ч. ночи в левую икру и почему необходимо в стручке 5, а не 6 горошин. Вы думаете, что мы шутим,—так вот вам его собственные слова: «Что случайность, по мнению Энгельса, есть суб'ективная категория, об этом говорит также и следующая фраза, которая является убийственной для всех защитников «об'ективной случайности», считающих себя продолжателями Энгельса. «До тех пор, пока мы не можем показать, от чего зависит число горошин в стручке, оно остается случайным». К этому месту Сарабьянов делает следующее замечание: «Значит, если мы покажем, отчего оно зависит, то число горошин 5 вместо, например, 6 перестает быть случайным» (стр. 83).

Мы позволим себе немного продолжить цитату, приводимую Сарабьяновым. «А оттого, что нам скажут,—продолжает Энгельс,—что этот факт предвиден уже в первичном устройстве солнечной системы, мы не подвигаемся

ни на шаг дальше. Мало того: наука, которая взялась бы проследить этот случай с отдельным стручком в его каузальном сцеплении, была бы уже не наукой, а простой игрой, ибо этот самый стручек имеет еще бесчисленные другие индивидуальные,—кажущиеся нам случайными,—свойства... Таким образом, с одним этим стручком нам пришлось бы проследить уже больше каузальных связей, чем в состоянии решить их все ботаники на свете» [1]).

Итак, Энгельс считает, что наука должна заниматься существенным и что в ином случае наука перестает быть наукой, Сарабьянов же обещает показать то, что не могут сделать все ботаники на свете, забывая тут же, что «этот самый стручек имеет еще бесчисленные другие индивидуальные... свойства». В данном случае тов. Сарабьянов потерял чувство смешного и выступает в позе, описанной Сашей Черным:

...А за крыльцом
Сосет рябой котенок суку.
Сей факт, с сияющим лицом,
Вношу, как ценный вклад, в науку.

Действительно, злую иронию сыграл с тов. Сарабьяновым его собственный Рок, притом не случайно, а необходимо, фатально, ибо иначе и быть не может, раз человек пытается доказать несуразное.

Надо однако отметить, что тов. Сарабьянов не смущается и с усердием достойным лучшего применения, продолжает «обрабатывать» Энгельса под механиста. Он цитирует Энгельса: «хаотическое соединение предметов природы в какой-нибудь определенной области или даже на всей земле остается при всем извечном, первичном детерминировании его, таким, каким оно было, случайным» (стр. 83—84). Иной бы на его месте сквозь землю провалился от стыда. Но тов. Сарабьянов имеет смелость, граничащую с дерзостью: он и это место решает обернуть в пользу бедных механистов. Он пишет: «Мы считаем, что, напротив, это положение нашего учителя вытекает без остатка из всего его учения о случайности, как суб'ективной категории... Само слово «хаос» может быть относимо исключительно к явлениям, закономерность которых нам неизвестна. «Хаотическое соединение» после того, как оно нами изучено со всей возможной полнотой, перестает быть для нас хаотическим, мы перестаем его так называть» (84).

Как видите, читатель, мы не преувеличили способности Сарабьянова. Он еще не то покажет! Он еще уничтожит мировой «хаос», его рассудок внесет порядок во вселенную наперекор мировым стихиям и... «деборинцам». Но, как известно, о том, что рассудок вносит порядок в мировой хаос, говорил не кто иной, как Кант. То же говорит и тов. Сарабьянов.

Лопается как мыльный пузырь легенда о кантианстве «деборинцев». Попытка же Сарабьянова присоединить Энгельса к себе, Бухарину и Гореву, более чем комично.

Однако тов. Сарабьянов настоящий эквилибрист и джигит на своем «коньке». Он в решении этой проблемы проделывает отрицание отрицания. Он отрицает, будто бы он отрицает об'ективность случайности!.. Все равно, что в сказке про белого бычка или в известном анекдоте:

Мы с тобой шли?
Шли.
Топор нашли?
Нашли... и т. д.

[1]) Энгельс, Диалектика природы, стр. 137. (Разрядка Энгельса).

Тов. Сарабьянов цитирует соответствующее место из «Науки логики» Гегеля о случайности, при чем солидаризируется с ним и доказывает, что Гегель прав с признанием об'ективности случайности, но что он здесь никакой Америки не открывал, что как после, так и до него материалисты эту истину утверждали. Действительно получается: я — не я и лошадь — не моя. Иди, спорь после этого с Сарабьяновым!

Читатель, действительно, способен с первого раза притти в замешательство по поводу таких сногсшибательных трюков Сарабьянова, и он не поверит, чтобы такая вещь могла случиться с нормальным человеком. Но вот его собственные слова. Цитируя известное место из Гегеля, где доказывается об'ективность категории случайности, тов. Сарабьянов делает следующее замечание: «Итак, Гегель под случайным предметом понимает звено в причинно-следственной цепи: будучи сам следствием каких-то причин, он является причиной или условием какого-то «другого существования». Это — вполне диалектическая точка зрения и, надо сказать, высказанная еще задолго до Гегеля. Кроме того, Гегель обращает наше внимание на то, что случайность не должна рассматриваться, как феномен, т.-е. как содержание нашей головы, а, напротив, надо исходить из об'ективности того предмета, который нами назван случайным. И здесь Гегель повторяет старую истину, что всякий процесс, необходимый ли он или случайный, является процессом об'ективным непосредственно находящимся в действительности (94)» (Подчеркнуто нами. *Авторы*).

Итак, Сарабьянов соглашается с Гегелем, что случайность не должна рассматриваться, как феномен, суб'ективно, а только об'ективно. Хотя немного странно; Сарабьянов, который держался от Гегеля за версту, выступил вдруг в роли его защитника, но все же читатель может воскликнуть: «Браво, браво. Да здравствует гегелианец Сарабьянов».

Но подождите радоваться—дело еще не кончено! Сарабьянов тут же продолжает: «Для нас, считающих случайность суб'ективной категорией, никаких сомнений не вызывает утверждение, что явление, называемое случайным, об'ективно. Кто же когда подвергал сомнению об'ективность того факта, что, например, я вынул черный шар? Что случайное явление об'ективно, это вне сомнения, а что явление случайно, так это суб'ективно, оно только кажется случайным, ибо его причины от нас спрятаны» (95) (Подчеркнуто нами. *Авторы*).

Так вот оно что! Оказывается: во-первых, Сарабьянов признает об'ективность случайности, как явления, во-вторых, именно потому, что случайность есть явление, она суб'ективна, ибо само явление—суб'ективно. Теперь уже понятно, для чего вдруг понадобилось такое панибратство с Гегелем. Для того, чтобы ввести читателя в заблуждение, будто он не расходится с Гегелем об об'ективности случайности, а также для того, чтобы доказать «свое»: случайность — явление и значит — суб'ективна. Вот это действительно значит: «и овцы целы, и волки сыты». Мы же думаем, что в этом вопросе Сарабьянов не только отступил от диалектики (собственно говоря, от диалектики ему незачем было отступать, ибо он к ней никогда не приступал), но и от материализма вообще. Итак, Сарабьянов об'являет явление суб'ективным. Что же тогда об'ективно? Ну, конечно, сущность, или вещь в себе! Тогда выходит, что между явлением и сущностью лежит пропасть, непроходимая грань, положенная Сарабьяновым еще в первых главах своей книги, и тогда значит сущность «вещь в себе», находящаяся за пределами

явления—непознаваема. Явление же есть продукт суб'ективных форм рассудка, и случайность как явление, т.-е. относящаяся к рассудку категория привносится суб'ектом в об'ективный мир. И, следовательно, я нахожу в явлении только то, что раньше в него вложил. Существует ли это случайное явление помимо моего опыта, помимо суб'ективных форм созерцания—это еще вопрос, скорее всего его нет. С другой же стороны, случайность, как суб'ективная категория моего рассудка, должна иметь и об'ективную значимость, ибо иначе она бы не могла конструировать явления, т.-е. предшествовать всякому опыту. Отсюда и вытекает, что случайное явление имеет об'ективную значимость потому, что оно суб'ективно. Но за пределами моего опыта, явления, случайность не может претендовать ни на какую об'ективность. Здесь, так сказать, в об'ективном мире царствует абсолютная необходимость, один и тот же предмет может быть и случаен, и необходим, в зависимости от того, как я к нему подхожу: со стороны ли явления или со стороны вещи в себе. Если со стороны явления, то предмет, конечно, случаен, ибо явление есть моя собственная продукция, принадлежит моему рассудку. Если же со стороны вещи в себе, то, конечно, предмет абсолютно необходим, ибо он лежит за пределами моего опыта. Эту сторону вопроса сам Сарабьянов считает решающей и упрекает своих противников в том, что они просто ее не касаются. Мы с удовольствием принимаем теперь этот упрек, ибо если бы мы ее касались в нашей прежней критике механистов, мы бы показали, что они не только механисты, но просто голенькие идеалисты. Именно в этом гвоздь вопроса: ибо если Сарабьянов считает явление суб'ективным, то значит познаваемо только оно; вещь в себе, сущность недоступна нашему познанию. Тов. Сарабьянов пришел к выводу, что случайность познаваема (по его словам «об'ективна»), потому что она—явление; необходимость же относится не к явлению, а к вещи в себе, следовательно, она не познаваема. А потому, значит, существует одна только случайность, доступная явлению и, следовательно, суб'екту; необходимость же находится за пределами суб'екта и явления, следовательно, она есть непознаваемая идея или вещь в себе, или бог. Отсюда ясно, что существует для суб'екта одна только случайность и необходимость, следовательно, низводится к случайности. Недаром Сарабьянов берется доказать, почему необходимо в стручке 5 горошин, а не 6. «Таким образом,—пишет Энгельс,—случайность не об'ясняется здесь из необходимости; скорее наоборот, необходимость низводится до чего-то чисто-случайного. Если тот факт, что определенный стручек заключает в себе 6 горошин, а не 5 или 7,—явление того же порядка, как закон движения солнечной системы или закон превращения энергии (а ведь это как раз пытается доказать Сарабьянов!), то, значит, действительно, не случайность поднимается до уровня необходимости, а необходимость деградируется до уровня случайности» [1]).

Вот именно так и случилось с Сарабьяновым, что он низвел необходимость до случайности, необходимость у него исчезла совсем, ибо она еще не понята и понята быть не может, ибо она находится за пределами явления. Не угодно ли. «Один и тот же факт и случаен и необходим в зависимости от того, понят он нами или не понят (т.-е. относится ли он к явлению или к сущности. *Авторы*). К сожалению, т. Деборин этой стороны вопроса просто не касается, пытаясь всеми силами показать, что случайность есть категория об'ективная, а между тем именно эта сторона вопроса является решающей» (93).

[1]) Энгельс, Диалектика природы, стр. 137. (Подчеркнуто нами. *Авторы*).

Таким образом Сарабьянов пришел к убийственному для себя выводу. Тут замыкается цепь и крайности—механические материалисты (сарабьяновцы) и суб'ективные идеалисты — агностики — сходятся. Аминь!

Единство противоположностей.

Основной закон диалектики — единство противоположностей — так и остался для механистов книгой за семью печатями. И Сарабьяновым этот закон толкуется в богдановском духе, как антагонизм внешних противоположно направленных сил. Переход в противоположность тов. Сарабьянов об'ясняет «соотношением сил», притягивая за волосы Плеханова для оправдания своей путаницы. Из «Очерков по ист. материализма» Плеханова тов. Сарабьянов приводит определение законов диалектики Плехановым для того, чтобы истолковать их по-своему (Ленинские же определения, данные им в конспекте «Науки логики», тов. Сарабьянов игнорирует). Но у Плеханова переход одной противоположности в другую совершается вследствие того, что такова природа всех явлений, и что условия этих переходов должны выясняться в каждом конкретном случае. Сарабьянов же выдернул у Плеханова словечко «силы» и построил «свою» (по существу богдановскую) диалектику.

«Соотношение сил» по т. Сарабьянову и есть единство противоположностей. Но «соотношение сил» есть лишь иная формулировка «теории равновесия» Бухарина (и Богданова).

Как известно, В. И. Ленин считал учение о единстве противоположностей ядром диалектики. Тов. Бухарин, как известно, пытался противопоставить этому закону свою механистическую «теорию равновесия». Так он пишет: «Непрестанное столкновение сил, распад, рост систем, образование новых и их собственное движение,—другими словами, процесс постоянного нарушения равновесия, его восстановления, на другой основе, нового нарушения и т. д.—вот что реально соответствует гегелевской триединой формуле... Совершенно неправильным является упрек в механистичности такой формулировки. Неправильным он является потому, что нельзя современную механику противопоставлять диалектике. Если механика не диалектична, т.-е. недиалектично и все движение, то что же остается от диалектики» (Н. Бухарин, Атака, стр. 117 — 118).

Итак, душой диалектики является механика, механическое движение, непрестанное столкновение сил и т. д.—одним словом, «теория равновесия или теория «соотношения сил». Ленин очень неодобрительно относился к этой пресловутой теории и на полях бухаринской «Экономики переходного периода» сделал много язвительных примечаний по ее адресу в роде того, что она «приоткрывает дверь философским шатаниям в сторону от материализма к идеализму». Действительно, эта теория равновесия, теория соотношения сил, на первый взгляд кажущаяся ультра-материалистической, а потому так заманчивой для многих, на самом деле шатается по выражению Ленина—от материализма к идеализму.

А почему? Да потому, что эта замечательная теория рассматривает общество «вобче» à la Spencer» (выражение Ленина). Эта теория отвлекается от всего живого, конкретного (от классов, от классовой борьбы, например), она живую жизнь анатомирует, раскладывает по полочкам, втискивает в схемы, она, наконец, умерщвляет противоречия, внутренние, имманентно присущие самой вещи, явлению и переносит их во вне, за пределы общества, тем самым мистифицирует общественное развитие, ибо раз нет самодвижения, то по какому-то божьему чуду живет и развивается общество, живут и борются классы и т. д. и т. п.

Ленин учил, что диалектика есть раздвоение единого на свои проти-

воположности. Так вот это самое единое исчезает у механистов, они спотыкаются «кажинный раз на эфтом самом месте». У механистов получают «силы» без основы, т.-е. без единства; эти силы даны как внешние и чуждые друг другу противоположности. Так, например, Сарабьянов пишет: «Самодвижение капиталистического общества есть (не вдаваясь в детали...) (тов. Сарабьянов очень не любит вдаваться в детали... *Авторы*), движение пролетариата и буржуазии» (106). Вот как представляет себе Сарабьянов закономерность движения капиталистического общества. Очевидно, сам чувствуя шаткость подобной постановки вопроса, Сарабьянов защищает это положение проволочным заграждением от нападок «деборинцев», ибо эти злые языки сразу же придерутся к формулировке, исказят, и т. д. и т. п. К чему же бояться, если глаголешь истину? Но все дело в том, что истина вопиет против подобной диалектики. Разве не ясно, что картина движения капиталистического общества представлена Сарабьяновым в кривом зеркале, ибо его закономерность сведена к «соотношению сил» пролетариата и буржуазии,—это соотношение лишено основы. Посмотрим, куда приводит сарабьяновская диалектика, когда мы «соотношение сил» применим к теории революции. Это тем более легко сделать, что сам тов. Сарабьянов занялся этим.

«Теперь,—пишет он,—в свою очередь, мы спросим, что же такое «Октябрьская революция»?»

На языке диалектического материалиста она представляет собой разрешение определенного противоречия.

Когда оно могло разрешиться?

Только тогда, когда одна из противоречащих сил (в лице пролетариата) стала могущественнее другой силы (буржуазии).

Верно это или это только вульгарный вывод «механистов»? (105). Нам кажется, что тов. Сарабьянов слишком «скромен», ибо изложенное является не только неверным и не только архивульгарным выводом механистов... но почти дословно списано у Каутского. Изложенное Сарабьяновым ничего общего с марксизмом не имеет, ибо это является догмой героев II Интернационала, догмой, разоблаченной Сталиным в «Основах ленинизма». Эта догма заключается в том, что революция происходит-де только тогда, когда перевес сил окажется на одной стороне, когда пролетариат станет сильнее буржуазии, что он должен составить большинство (в сравнении с всеми другими классами) в стране и пр. Вот куда заводит теория равновесия, теория соотношения сил! Не ясна ли отсюда прямая связь подобной теории с оппортунизмом в практической политике? Стоит ли здесь напоминать механистам слова Ленина о том, что «политическая линия марксизма неразрывно связана с его философскими основами»?

Диалектика требует вскрытия в предмете явлений, процессе в н у т р е н н и х п р о т и в о р е ч и й, которыми, кстати сказать, об'ясняются и внешние. Например, империалистическая война, как внешнее столкновение держав, об'ясняется нами из внутренних противоречий империалистической системы именно как продолжение другими средствами внутренней политики империалистических хищников. Здесь нами дается диалектика внутреннего и внешнего. В каждом явлении мы находим и то и другое, при чем, как мы уже упоминали, внутреннее обнаруживает себя во вне, внешнее имеет свое основание во внутреннем. Совсем иначе думает тов. Сарабьянов,—внешнее и внутреннее просится им не к одному и тому же, а к разным процессам, они разобщены и даны в р а з н ы х о т н о ш е н и я х. Разумеется, при такой «диалектике» исключено понимание как внутреннего, так и внешнего, ибо они по Сарабьянову только «относительны» (стр. 106). Тут нет основы, ибо внутреннее и внешнее не даны в единстве, а даны как внешние друг другу положения. Например: соперничество «великих держав» в Китае Сарабьянов

рассматривает не как внешнее выражение внутренних противоречий империалистической системы (борьба за раздел мира, поиски рынков сбыта и сырья и т. д.), а «как борьбу... внутри человечества». Так и написано: «Борьба Англии с революционным Китаем есть борьба внешняя с точки зрения той или другой борющейся силы, но она безусловно внутренняя, как борьба внутри человечества» (106).

Никто бы не поверил, что подобную вещь мог написать человек, хоть внешне,—не говоря уже внутренне,—похожий на марксиста. Здесь не внешнее об'яснено внутренним, а, наоборот, внутреннее сведено к внешнему. Но зачем же приписывать этакую «диалектику» Энгельсу — Ленину? Ведь это же Дюринговско-Богдановская диалектика, против коей неустанно боролись Энгельс и Ленин. Пойдем дальше за нашим «диалектиком».

«Остановимся теперь, — пишет Сарабьянов, — на втором законе, который в рукописи Энгельса назван законом взаимного проникновения противоположностей. Что, в сущности говоря, означает этот закон, в котором Ленин видел как бы сердцевину диалектики?

Он означает следующее: всякое явление оказывается и таким и иным, будучи взято в разных отношениях, в различных связях» (стр. 117).

Не понимая единства, Сарабьянов, ясно, не может понимать и взаимопроникновения противоположностей. Мы хотим на этот раз раз'яснить Сарабьянову его ошибку парочкой примеров, ибо этот язык — как знает уже читатель — самый понятный для наших механистов. Существует, как известно, поговорка, известная в обиходе как готтентотская мораль: если я целую твою жену — это хорошо; если же ты мою, так это плохо; или, например, поговорка: — что русскому здорово, то немцу смерть. Как видит читатель, эти поговорки вполне могут заменить сарабьяновскую диалектику. Подобной диалектики также придерживались Прудон и Дюринг, над которой некогда насмехались Маркс и Энгельс.

Для Сарабьянова, как известно, нет об'ективных противоречий. Противоречия существуют только в отношениях, в отношениях к суб'екту. Для него борьба пролетариата с буржуазией представляется так, что оба класса одинаково правы, каждый по-своему, каждый в своем отношении. Тов. Сарабьянов любит щеголять своей большевистской непримиримостью: будто, дескать, он всегда боролся с уклонами и против Красина, и против Зиновьева. Но вот в отношении тов. Каменева — он, очевидно, забыл выступить. А на XIV с'езде партии тов. Каменев говорил вот что: «В о т н о ш е н и и собственности они (наши госпредприятия. *Авторы*) — социалистичны, а в о т н о ш е н и и людей — еще нет». Видите, точь-в-точь как по Сарабьянову.

Необходимо тут же отметить, что подобную диалектику признавал даже Кант. Кант считал, напр., что в отношении явлений — мир познаваем, а что касается мира вещей в себе—то не познаваем. В явлениях господствует необходимость, а в вещах в себе—свобода и т. д. Кант также признавал, что «А и не-А п р о т и в о р е ч а т друг другу только мыслимые вместе (в одно и то же время) об одном и том же; после же, т.-е. в разное время, они могут принадлежать одному и тому же» [1]). В другом месте Кант пишет следующее: «Оба противоречащие друг другу положения могут быть истинными в р а з л и ч н ы х о т н о ш е н и я х» (Крит. чист. разума, пер. Лосского, 1914 г., стр. 329, см. также стр. 321, 328, 330, 332 и др.). Как видит читатель, здесь сарабьяновская диалектика даже по внешности совпадает с кантовской.

---

[1]) К а н т, О форме и началах, стр. 18—19.

Совсем, совсем иначе говорил Энгельс. Напр., Энгельс говорил, что «Жизнь прежде всего состоит в том, что данное существо **в каждый данный момент** представляется тем же и чем-то иным». Сарабьянов цитирует и это место у Энгельса, место, которое бьет механистов с их формализированием диалектической логики. Но Сарабьянов, и в ус не дуя, проходит мимо им же приводимых цитат.

Для нас несомненно, что «диалектика» у Сарабьянова получилась кантианская. В самом деле, марксистская, материалистическая диалектика учит об об'ективности противоречий. Когда же нам говорят, что противоречивость явлений заключается в том, что это явление «в одном отношении» является тем - то, а «в другом отношении» чем - то другим, и что эти различные отношения—результат суб'ективного подхода и оценки, условленности и т. д., то противоречие тем самым переносится в сферу сознания, становится суб'ективным противоречием, точкой зрения, условленностью между суб'ектами и т. д. Таким образом, диалектика сводится к софистике—к выхватыванию отдельных сторон явления в суб'ективных целях. Примером такой софистики могут служить рассуждения Сарабьянова о нэпе и сэпе, которые он характеризует выдергиванием отдельных, несущественных сторон нашей экономической политики. Об этом мы скажем ниже, пока же заметим, что Сарабьянов становится на позиции софистики, хотя он против нее воюет. «Оценивать процесс, — пишет он, — во всех его связях и отношениях равносильно никак его не оценивать» (стр. 174). А вот, что говорил Ленин: «Диалектика Маркса — запрещает именно изолированное, т.-е. одностороннее и уродливо искаженное, рассмотрение предмета» (Сб. «Прот. течения», 157). «Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и «опосредствования». Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостережет нас от ошибок и от омертвения» (Еще раз о профсоюзах, т. XVIII, ч. 1, 59). Как видим, Ленин говорил совсем обратное тому, чего добивается Сарабьянов.

С другой стороны, «диалектика», развиваемая Сарабьяновым, есть релятивизм. Этот релятивизм проявляется, напр., в вопросе об абсолютном и относительном. Их диалектику он подменяет и х с о о т н о с и т е л ь н о с т ь ю (соотношение сил): «абсолютность—относительна, относительность же абсолютна» (стр. 120). Мы бы не останавливались вовсе на этом моменте, но таких моментов в книге Сарабьянова бесконечное множество, а «на всякое чиханье не наздравствуешься», но дело в том, что подобную релятивистскую путаницу Сарабьянов приписывает Энгельсу. Энгельс, конечно, ничего подобного не писал. Энгельс считал, что, как часть не есть целое, хотя целое состоит из частей, так и относительное н е е с т ь абсолютное, хотя абсолютное и складывается из моментов относительного. Например, движение—безусловно и всеобще, покой же—как момент движения—относителен. Только перестановка мест, как это пытается сделать Сарабьянов, совершенно недопустима. Мы никак не можем сказать, что покой — абсолютен так же, как и движение. Если мы так сказали бы, то стали бы релятивистами. По вопросу о диалектике Энгельс писал: «ее консерватизм относителен, ее революционный характер безусловен» («Л. Фейербах»). Но так как «относительное—абсолютно, а абсолютное—относительно» (120), то, с точки зрения сарабьяновского (читай: богдановского) релятивизма, можно был обы сказать и обратно: консерватизм диалектики абсолютен, ее революционный характер относителен. Но ведь это же «сапоги в смятку». И только при невероятнейшей путанице и при весьма туманном представлении о философии марксизма можно приписывать ей (философии марксизма) подобные вещи. Ведь это значит выступать не «В защиту философии марксизма», а с клеветой на марксизм. Поистине—избави нас бог от таких защитников, а от врагов наших мы сами избавимся.

К а ч е с т в о.

О качестве у т. Сарабьянова не только путаные, но прямо-таки нелепые представления. Качеству Сарабьянов посвятил целую главу. В этой главе он несколько раз упоминает о том, что вопрос о качестве—очень сложный и что он не может дать окончательного решения, надо еще подумать и т. д. Раз так, то, казалось бы, т. Сарабьянов должен был бы внимательно отнестись к высказываниям диалектиков о качестве, а также классиков марксизма. Но не тут-то было! И в этой главе Сарабьянов продолжает громить и крыть на чем свет стоит ненавистных «деборинцев» за их высказывания о качестве.

Диалектики считают качеством каждый о п р е д е л е н н ы й, особый вид д в и ж е н и я материи. Наоборот, тов. Сарабьянов «качественным состоянием называет состояние покоя» (121 стр.). Поскольку качество—состояние покоя, то прерывистость движения толкуется как смена качеств (стр. 167). Здесь Сарабьянов не понимает того, что прерывистость движения выражается не только в том, что оно меняет свою форму, но что и в пределах данной формы (качества) движение является и прерывным, и непрерывным одновременно. Если мы станем на точку зрения одной непрерывности, то неизбежно придем к Зенону с его «апориями» о невозможности движения. Очевидно, Сарабьянов этого не хочет, но он также не находит правильного разрешения вопроса и ударяется в другую крайность—в абсолютный релятивизм Кратила. «В том-то и дело,—говорит он,—что состояния покоя нет, что движение вечно и непрерывно» (167).

Но если покой—«качественное состояние», а «состояния покоя нет» (167), то, следовательно, нет и «качественных состояний»! Как же выбраться из этого огорода, который сам для себя нагородил Сарабьянов? Тов. Сарабьянов пускается в анализ диалектики и формальной логики.

Верно, конечно, что диалектика в известных относительных пределах сохраняет значимость формальной логики. Только владея диалектикой, можно пользоваться в известных пределах формальной логикой, не впадая в метафизику. Но вот т. Сарабьянов служит живым примером того, как, не поняв диалектики, он не умеет критиковать и формальной логики. Он дело изображает так: формальная логика признавала лишь прерывистость движения, покой, диалектическая же логика должна стоять на прямо противоположном признании т о л ь к о непрерывности движения.

«Формальная логика (она же метафизика) об'явила покой, как данное... Но весь ход жизни и науки последних десятилетий показал, что состояния покоя не существует, что движение непрерывно.

Диалектика констатировала эту непрерывность, она сделала ее своей исходной точкой» (167).

Тов. Сарабьянов не понимает того, что метафизическим и формально-логическим приемом является абсолютизирование одной и безразлично какой бы то ни было из упомянутых противоположностей: прерывного или непрерывного. Поклепом на «ход жизни и науку» является утверждение тов. Сарабьянова, будто они не признают существования покоя. Диалектическая логика признает и движение и покой и прерывистость и непрерывность в их диалектическом единстве.

Но тов. Сарабьянову наплевать на науку и на ход жизни и на диалектическую логику. На следующей странице он продолжает: «Д и а л е к т и к а к о н с т а т и р о в а л а н а л и ч и е д в и ж е н и я ф о р м, к а ч е с т в и у с т а н о в и л а т а к и м о б р а з о м с о с т о я н и е, п р а в д а, о т н о с и т е л ь н о г о, н о в с е ж е п о к о я.

Ф о р м а л ь н а я л о г и к а, с у щ е с т в о в а в ш а я н а л о ж н о м о с н о в а н и и, с т а л а п о к о и т ь с я н а и с т и н е» (курсив Сарабьянова, 168).

У «последовательного» Сарабьянова семь пятниц на одной неделе. Покоя нет (как признает «ход жизни и наука»), покой есть (как признает диалектика, очевидно, вопреки «ходу жизни и науке»!). Это ли диалектика?! Далее. Качество—состояние покоя. Если покоя нет—нет качеств. Но формальная логика есть логика покоя; значит, именно она развертывает нам качественное многообразие мира. Но тут тов. Сарабьянов чувствует, что он хватил через край, что он пришел к тому, что диалектике делать нечего. Поэтому он пятится назад: покоя нет, есть движение. Логика непрерывного движения есть диалектическая логика. Но тогда исчезают качества, узлы, грани. Как же быть? Диалектической логике приходится установить состояние относительного покоя. Но остается неизвестным — имеется ли покой в действительности или он лишь устанавливается (вопреки «ходу жизни и науке») диалектической логикой для спасения качеств? Нам жалко запутавшегося в этих безысходных противоречиях Сарабьянова. Не справился он с проблемой качества!

Сарабьянов считает, что единство противоположностей есть «единство» двух качеств (стр. 165—166), т.-е. уже знакомое нам «соотношение сил». Это «единство» дано в статике, ибо, согласно Сарабьянову, движение происходит лишь при смене качеств, а в одном и том же качестве движения нет, а есть «состояние покоя». И тут противоречие понимается как антагонизм внешних сил, качеств, а не как внутреннее противоречие в каждом данном качестве. Чтобы выйти из этого клубка дурных противоречий и сохранить качество, тов. Сарабьянов вынужден, как мы видели выше, пожертвовать диалектической логикой. Формальная логика, существовавшая на ложном основании—учении о покое, теперь, после установления покоя диалектической логикой, стала покоиться на истине. Следовательно, диалектика становится основанием, фундаментом, на котором отныне покоится формальная логика. Формальная логика получает от диалектики подтверждение: «диалектика воскрешает ее (формальную логику) для того, чтобы вручить ей трудовую книжку, а с ней и права гражданства» (168). С этим мы т. Сарабьянова и поздравляем! Жаль лишь, что к этому пришел он такими извилистыми путями. Не лучше ли было прямо заявить об этом? Пусть бы тов. Сарабьянов сказал: я, мол, согласен, с Варьяшем, давно «обосновавшим» такой вывод в своем (более солидном, чем кн. Сарабьянова) труде «Логика и диалектика». И нечего было бы с ним спорить.

Внутри качества тов. Сарабьянов движения не признает. Движение, по его мнению, имеется лишь при переходе из одного качества в другое. Можно было подумать, что Сарабьянов признает скачки, ибо как же совершаются такие переходы, если не посредством скачков? Ведь это же азбука марксизма и один из основных законов диалектики—переход количества в качество и обратно. Но не тут-то было! Как это ни чудовищно звучит, но «ортодоксальный марксист» Сарабьянов отрицает скачки.

Происходит это вследствие непонимания диалектики качества и его свойства. Диалектика учит, что, напр., вода, как определенное качество, может в известных пределах менять свои свойства—быть теплой, холодной и т. д., оставаясь все же водой. Т.-е. качество проявляет себя в изменчивой подвижности (в определенных границах, разумеется) своих свойств. Сарабьянов же пишет: «Возвращаясь к проблеме «качества» (почему кавычки? *Авторы*), мы указываем, что если процесс рассматривается как совокупность таких-то свойств, он может оставаться в течение более или менее продолжительного времени неизменным в том смысле, что все свойства, образующие совокупность, еще остаются, ни одно из них не отпало и ни одно не превратилось в другое» (179). Итак, между качеством и его свойствами устанавливаются, по Сарабьянову, такие отношения, что свойства данного качества должны пребывать неизменными. Но это значит, что качество Сарабьянов свел к сумме абсолютно постоянных свойств. С изменением к.-н. свойства немедленно изменяется качество. Остается, следовательно, проследить: каким же образом происходит изменение свойств. Перерывы, скачки тов. Сарабьянов рисует нам как замену одних свойств в данном процессе другими.

«Перерывы оказываются в таком случае,—пишет он,—относимыми не к процессу в целом, а к отдельным его свойствам или к совокупности тех или иных его свойств» (182).

Но это чистейший эволюционизм. Сказанное Сарабьяновым напоминает Лейбница, который учил о непрерывности всех процессов, где возникали, развивались и уменьшались свойства, при качественном постоянстве самого процесса. Лейбниц отрицал скачки. Сарабьянов тоже: «процесс превращения неживого в живое я не могу представить себе иначе, как продолжительным процессом отпадания в неживом одного старого свойства за другим и возникновения—тоже одного за другим—новых свойств, находимых нами у живой материи» (стр. 182).

«Постепенное накопление новых свойств и отпадение старых именно это и имеют в виду те естественники, которые говорят, что природа скачков не делает».

Вместо того, чтобы раз'яснить естественникам ошибочность этого антидиалектического положения, тов. Сарабьянов заявляет:

«Естественники безусловно правы, когда отрицают универсальность, если можно выразиться, скачков» (182).

Как видит читатель, указание II всесоюзной конференции марксистско-ленинских научно-исследовательских учреждений, что механисты «подменяют революционную материалистическую диалектику вульгарным эволюционизмом», сделано с полным основанием.

Отрицая скачки, Сарабьянов приходит и к отрицанию граней, переходов. Весь интерес, однако, в оригинальности этого отрицания. Ему надоела, наконец, всякая теория и все критики и он по вопросу о гранях ставит вопрос ребром: «я прошу их (т.-е. критиков) показать мне и всем прочим интересующимся читателям, где же пролегает эта грань?» (186).

Итак, по Сарабьянову, все дело проще пареной репы: дайте ему понюхать и ощупать грани, и тогда он не станет спорить! Но до тех пор, пока, например, стоимость в капиталистическом хозяйстве нельзя ощупать, как вдовицу Фальстафа, до тех пор т. Сарабьянов в ее об'ективное существование не поверит. Но читатель пусть не подумает, что Сарабьянов расписался здесь в «ползучем эмпиризме». Нет, он человек «принципиальный»! В принципе он согласен признавать и грани. «Если т. Столяров будет взывать к принципам,—пишет Сарабьянов,—я соглашусь с ним, что грань эта существует» (186). Итак, в действительности, никаких граней не существует, но в принципе их можно признавать. Так мы пока и запишем, ибо признание граней лишь в принципе служит для т. Сарабьянова мостиком для превращения качества в суб'ективную категорию. О гранях же заметим только, что если грани подвижны, условны, относительны, как учил Ленин, то отсюда вовсе не следует, что их нет или что они суб'ективны. Диалектика, учил Ленин, включает в себя релятивизм, но не сводится к нему.

Такова социальная природа мелкого буржуа. Он всегда любит больше всех кричать о принципах. В принципе он за отмену частной собственности, в принципе он также за социализм, за классовую борьбу и т. д. Но когда дело касается действительности, то все принципы мелкого буржуа рассеиваются в прах. Ибо такова двойственная противоречивая природа этого класса. В принципах, теории—одно; на практике, в действительности—иное. И не следует думать, что мелкий буржуа не искренно эгоистичен, сознательно обманывает и т. д. Нет! Он следует, как говорил Маркс, об'ективной логике

вещей, ибо он сам является воплощением противоречия, живым противоречием.

Качественная определенность вещей и явлений по Сарабьянову устанавливается в результате «оценки» явления в его отношении к суб'екту. Качество, как нераздельная с бытием определенность, превращается в отношение вещи к суб'екту. «Для логики качество есть категория оценки», пишет тов. Сарабьянов (186).

«Определяем ли мы качество мышьяка,—спрашивает т. Сарабьянов,—или того отношения, в котором мышьяк участвует?» (186). Тут что ни слово, то путаница. Качество подменено свойствами. Мышьяк, как качество, обладает известными свойствами—лечит, отравляет и т. д. Было такое время, когда был известен мышьяк (качество), но еще не были изучены его указанные свойства, т.-е. и безотносительно к человеку мышьяк оставался мышьяком. Считать, что качество есть отношение—значит, считать суб'ективными не только вторичные качества—свойства вещей, но все качества вообще. Сарабьянов так и считает. Он пишет: «Вещь безусловно окрашена в тона отношения» (189), т.-е. отношения суб'екта к вещи. Следовательно, существуют сами по себе бескачественные вещи и суб'ект привносит «окраску» в мир в своем познании вещей. Но чем эта точка зрения отличается от кантианской, мы установить не в состоянии.

Подводя итог, следует сказать, что качество т. Сарабьянов понимает не научно, т.-е. не как определенность известного вида движения материи, не как определенность существования конкретного, но в обывательско-кухонном и суб'ективном смысле оценки. Отсюда свойства (отношение качества к суб'екту: хороший, дурной, вредный, свежий, ядовитый и т. д. возвышаются им до категории качеств и тем самым качество сводится, деградируется на ступень суб'ективно значимых оценок. Чудовищно профанировав проблему качества, т. Сарабьянов «глубокомысленно» заключает: «термин «качество» устарел» (187). Но такое заключение—от беспомощности понять эту категорию диалектической логики и сильно напоминает «заключение» лисы из Крыловской басни, что виноград еще зелен, после того, как она не смогла его достать.

„Сведение".

Всего в нескольких словах, в виду его ясности, остановимся на вопросе о «сведении». Мы бы совсем прошли мимо этого вопроса, если бы Сарабьянов не извратил здесь взглядов классиков марксизма. Тов. Сарабьянов приписывает Ленину не больше не меньше, как мнение о сводимости материи к электронам, как к последним элементам. Между тем, всем известно, что Ленин говорил: если наше знание «вчера не шло дальше атома, сегодня—электрона и эфира, то диалектический материализм настаивает на временном, относительном, приблизительном характере всех этих вех в познании природы прогрессирующей наукой человека. Электрон также неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна» (т. X, 219—220, курсив наш). Это совсем не то, что говорит Сарабьянов.

Далее. Ленин постоянно подчеркивал необходимость философского определения материи, на ряду и вместе с физическим. Материя в наше время—это электроны. Для каждой данной эпохи в науке существуют определенные конкретные представления о материи. Что же об'единяет разные представления о материи в различные времена? Или: представлением чего является учение об атоме, электроне etc.?—Материи как таковой. Эта последняя и есть то самое философское определение материи, принятие которого, как указывал Ленин, «охраняет» неустойчивых материалистов от идеализма. Ведь атомы, эфир, электроны (физическая материя) признаются и идеалистами! Следовательно, философское определение материи вовсе не бессодержательность

как думает Сарабьянов. Наоборот, оно могло бы сыграть и для Сарабьянова хорошую службу, будь он более вдумчивым литератором.

Тов. Сарабьянов говорит, будто обвинение механистов в «сведении»—выдумка, лишенная основания. Кому думает тов. Сарабьянов «втереть очки»? Ведь всем известно, что И. И. Скворцов-Степанов стоял на точке зрения «сводимости» и выгодно отличался от тов. Сарабьянова большей последовательностью и прямотой. Он не маскировал своих взглядов ссылками на классиков марксизма, прямо обвинял Энгельса за несводимость в виталиме и т. д. Сарабьянов же пишет о сведении и в то же время кричит, что его нельзя обвинять в «сведении». Он пишет: «Науки все время превращаются одна в другую, сливаются, дифференцируются». «Химия уже поглощена физикой»,—возвещает т. Сарабьянов. Но и этого не достаточно—«об'яснить мир физически, это значит об'яснить его с точки зрения механики, переросшей себя и вынужденной стать физикой. Свести вещь или процесс к физическим процессам означает об'яснить эту вещь во всех ее проявлениях движением последних известных нам самодвижущихся частиц, из которых она состоит» (154). Итак, по Сарабьянову научное познание означает сведение всех процессов к физико-химическому и механическому движению составных частиц. Но зачем же Сарабьянов открещивается от обвинения в «сведении»? Кто же станет верить после этого Сарабьянову? Мы на одном лишь примере позволим себе иллюстрировать мысль Сарабьянова, что об'яснить процесс—значит вскрыть в нем движение его составных частей. Если мы возьмем, например, общество и попытаемся вскрыть его закономерность посредство изучения (психологии, биологии и т. д.) отдельных людей, входящих в общество, что мы получим? Найдем ли мы свойства, присущие обществу как целому, в его частях? Разумеется, нет. С точки же зрения Сарабьянова следует ответ—да. А вот и иллюстрация: «Если бы каждый человек и его воля ни от чего бы не зависели, то откуда могла бы взяться правильность в общественных явлениях? Ей неоткуда было бы взяться. Ее не было бы вовсе». Это говорит тов. Бухарин («ТИМ», стр. 28, Гиз, 1923 г.), с которым солидаризуется т. Сарабьянов. Совсем иное говорит Энгельс. Вот что писал он, попадая сторонникам «сведения» «не в бровь, а в глаз»: «мы несомненно «сведем» когда-нибудь экспериментальным образом мышление к молекулярным и химическим движениям в мозгу, но исчерпывается ли этим сущность мышления?» (Архив II, стр. 29). И в другом месте: «Открытие, что теплота представляет собой молекулярное движение, составило эпоху в науке. Но если я не имею ничего другого сказать о теплоте, кроме того, что она представляет собой известное применение молекул, то лучше мне замолчать совсем» (ibid., 143).

Сарабьянов проходит мимо этих высказываний Энгельса. «Если в данный момент,— пишет он,— науке известны, как предельны простые величины, атомы, то биология может считать свою задачу по этому или другому вопросу выполненной, поскольку ему найдено научное физико-химическое выражение, т.-е. поскольку процесс понят, как процесс атомов» (156).

Что поймем мы в биологии после того, как выслушаем всем известную истину, что биологический процесс есть процесс атомов или электронов?

«В наши дни, — говорит Сарабьянов, — безусловно верно сказать, что любой процесс во всех его деталях является процессом движения соответствующих тел» (154). Мы полагаем, что сказанное верно не только для «наших дней», но для материализма является абсолютной, вечной истиной». Сарабьянов здесь ломится в открытую дверь. Но если тов. Сарабьянов не хочет повторить здесь банальности, что все процессы материальны, поскольку они происходят в материальном мире, то какой смысл имеет приведенная фраза? Что поймем мы, например, в процессе общественного развития, если скажем, что общество состоит из «материальных» людей? Что пользы повторять, что весь мир (природа) состоит из материальных процессов? Дело

ведь заключается в том, что механисты не видят специфичности процессов, не видят того, что каждый процесс есть особый вид материального движения. От всех качественных различий в различных формах движения остается лишь количество элементов и тогда всю природу можно исследовать с помощью больших чисел теории вероятностей. К этому и приходит т. Сарабьянов, считая, что чем дальше данная наука от механики, тем больше она должна пользоваться статистическим методом исследования. Но статистика, как известно, дает лишь эмпирические выводы, но не об'ясняет не закономерности развития исследуемого об'екта. Статистика как орудие исследования есть звено, момент более широкого и универсального диалектического метода. Механисты этого не понимают, и, таким образом, теория Сарабьянова приводит к эмпиризму и позитивизму, «об'ективно препятствуя проникновению методологии диалектического материализма в области естествознания» (из резолюции II всесоюзной конф. научно-исслед. учрежд.).

Об'ективная истина.

Вполне последовательно т. Сарабьянов приходит к суб'ективизму в вопросе об истине. Надо, правда, отметить, что раньше т. Сарабьянов был смелее и прямее. Так в своих статьях «Под Знаменем Марксизма» (1925 г., № 12, стр. 190) т. Сарабьянов прямо писал: «Никакой об'ективной истины вообще не существует». «Всякая истина условна». А в 1926 г. он писал: «Те товарищи, которые думают, что существует об'ективная истина, обеими ногами стоят на почве идеализма» («ПЗМ» № 6, 1926 г., стр. 67). Но если раньше Сарабьянов говорил за свой личный риск и страх, то в разбираемой книге он пытается «осарабьянить» Маркса и Ленина, т.-е. превратить их в суб'ективистов. Тезисы о Фейербахе, где Маркс говорит, что наше отношение к миру должно быть суб'ективным, т.-е. что пролетариат должен из об'екта истории стать ее творцом - суб'ектом и что к природе мы должны относиться не созерцательно, а активно, действенно, т. Сарабьянов все эти недвусмысленные положения переворачивает так, что не знаешь: дивиться ли «смелости» тов. Сарабьянова или возмущаться подобным наездничеством. Известно, что основоположники диалектического материализма ввели практику человека в самое теорию познания и в диалектику. Ленин особенно подчеркивал это; у Сарабьянова о практике как критерии истины на всем протяжении книги ни гу - гу. Он совершенно не понял этого основного и решающего чем отличается подлинно диалектико-материалистическая теория познания от всех других, в том числе и от созерцательного, абстрактного материализма. У Маркса в «Тезисах о Фейербахе» речь идет, как известно, о том, что действительность познавалась философами созерцательно, а не в процессе чувственно-человеческой деятельности, в форме абстрактно-теоретической, а «не в форме практики, не суб'ективно» (см. I тезис о Фейербахе). По Сарабьянову же выходит, что суб'ект в свои тона окрашивает об'ект, а само познание есть акт суб'ективной оценки об'екта. «Оценивая процесс, — пишет т. Сарабьянов, — нельзя не встать на точку зрения определенного суб'екта» (173. Курсив автора). Таким образом, исследователю рекомендуется здесь суб'ективная установка, она заранее оправдывается т. Сарабьяновым. Если еще сопоставить сарабьяновское требование односторонности в познании («оценивать процесс во всех его связях и отношениях равносильно никак его не оценивать»—174), то картина получается полная. Еще Чернышевский говорил, что диалектика должна устранять «суб'ективное пристрастие исследователя». У Ленина же мы читаем следующие слова: «Теоретическое познание должно дать об'ект в его необходимости, в его всесторонних отношениях, в его противоречивом движении в себе и для себя» (Ленин. сб. IX, 257). И далее, отмечая элементы диалектики, перечисляя

вым ее правилом и требованием Ленин записывает: «1) Об'ективность рассмотрения (не примеры, не отступления, а вещь сама в себе)» (там же, 275. Разрядка Ленина). Похоже ли это на то, что говорит т. Сарабьянов? У нас возникают сомнения, читал ли он IX Ленинский сборник, и если читал, то не нарочно ли пропустил эти прямо против него направленные слова.

Положение так называемых «деборинцев», что нас должно интересовать прежде всего об'ективная истина — это положение кажется Сарабьянову пустым и поверхностным (см. стр. 173). Раз об'ективной истины нет, то вполне понятно, что т. Сарабьянов силу пролетариата видит не в соответствии суб'ективных стремлений пролетариата об'ективному ходу вещей (на осознании которого и покоится активность пролетариата), а в беспочвенном волюнтаризме и численности пролетариата. Об'ективных оснований для своих стремлений, — пишет Сарабьянов, — не имеет ни один класс. Различие в этом отношении между буржуазией и рабочим классом состоит не в этом. «Различие в том, что классовый суб'ективизм пролетариата в силу об'ективного хода вещей перерастает в общечеловеческий суб'ективизм, тогда как интересы буржуазии все более становятся только ее собственными интересами» (Курсив автора, 174). Интересно было бы знать, когда же интересы буржуазии не бывают «только ее собственными интересами»? С другой стороны, сказанное может означать лишь следующее: все классы должны перейти на сторону пролетариата, должны начать защищать его, «пролетариата», интересы. Так профанировано тов. Сарабьяновым Ленинское учение о гегемонии пролетариата и его союзников в революции. Но Сарабьянова этим не смутишь, ибо он еще в 1925 г. говорил: «Пролетариат выступает против буржуазии. И тот и другой действуют верным, научным образом. И буржуазия права, и пролетариат прав («П. З. М.» № 12, 1925 г., стр. 188. Курсив наш). Вот до какой «об'ективности» дошел суб'ективист Сарабьянов еще в 1925 г.: до апологетики буржуазии. Точкой зрения Сарабьянова можно оправдать контрреволюцию, деникинщину, колчаковщину и т. д. Как это ни печально, но такие выводы неизбежно следуют из сарабьяновских положений, и к этому мы и пригвождаем нашего неудачливого горе-философа.

Диалектический материализм сам есть об'ективная истина и с изложенными выше взглядами, разумеется, ничего общего не имеет. «Классовый суб'ективизм» не только является оправданием всевозможных суб'ективистских взглядов естествоиспытателей, не только ставит на одну доску буржуазную науку с пролетарской («обе - де правильны!»), но является политически реакционной теорией. Как вы дошли до жизни такой, друзья-механисты?! Вы совершенно забыли Ленина, который твердил и твердил о безусловном признании марксистами об'ективной истины. «Исторический материализм и все экономическое учение Маркса насквозь пропитано признанием об'ективной истины», — вот что говорил Ленин («Мат. и эмпириокритицизм», стр. 269). «Учение Маркса всесильно, — говорил Ленин, — потому что оно верно» («Три источн.». Курс. наш).

В замечаниях на кн. Бухарина «Экон. пер. периода» Ленин, подчеркивая в бухаринском тексте слова о «рассмотрении с точки зрения» и о «теоретически интересных» об'ектах общественного развития, замечает: «Не те слова! Ошибка «богдановской» терминологии выступает наружу: суб'ективизм, солипсизм. Не в том дело, кто «рассматривает», кому «интересно», а в том, что есть независимо от человеческого сознания» (XI Лен. сб., стр. 385. Курсив Ленина). Опять - таки и это место «не в бровь, а в глаз» т. Сарабьянову с его «классовым суб'ективизмом», теоретическим выражением которого является солипсизм. Но когда так называемые «деборинцы»

приводят механистам подобные положения, то тов. Сарабьянов пишет: «Смешно ограничиваться святыми истинами в роде таких» (173). Подождите, т. Сарабьянов. Смеется тот, кто последним смеется! Пока же вы выступаете в комичной роли и со смешными утверждениями. Чего-то вы ни нагородили! Вы, например, изволите утверждать, что «классовый субъективизм выражается в том, что класс не всеми и не всякими истинами интересуется» (Курсив автора, 174). Позволительно спросить — какими же истинами, например, пролетариат не должен интересоваться? Чем же определяется выбор интересных для пролетариата истин? Сарабьянов дает прямой ответ. Положение, что «материализм и марксизм не потому истинны, что они полезны пролетариату» (Деборин), т. Сарабьянов считает поверхностным положением. По его мнению, пролетариат не всеми истинами интересуется потому, что «не всякая истина «полезна» данному классу» (174).

Так вот оно что! Истинность поставлена в связь с пользой. Знаете ли, т. Сарабьянов, вы, — или совершили плагиат, — чего мы не допускаем, или вы обнаруживаете тут конгениальность с В. Джемсом. Советуем вам прочесть его книжку «Прагматизм», и вы увидите, что Джемс два-три десятка лет тому назад сказал глаголемое ныне вами.

Нэп в понимании Сарабьянова.

Ругая почем зря диалектиков за созерцательность, теоретизирование и гегелевщину, т. Сарабьянов решил увязать свою философию с нашей революционной практикой и действительностью. Предметом этой увязки он избрал нэп. К этому вопросу он в своей книжке несколько раз возвращается и уверяет читателя, что в этом вопросе занимает 100%-ную ленинскую линию. Посмотрим же, что это за линия.

Перечисляя различные хозяйственные уклады в СССР, Сарабьянов характеризует нэп и как социализм, и как капитализм, и как до-капитализм. Все эти антагонистические силы находятся между собой в борьбе, которая проходит под лозунгом: «Кто кого», — при чем в этой борьбе должна победить та сила, которая окажется сильнее. Напрасно вы у него будете искать хоть тень того доказательства, что ведущую роль в нашем народном хозяйстве, состоящем из разнообразных хозяйственных укладов, играет государственная социалистическая промышленность, что при преодолении капиталистических элементов в нашей стране победа социализма у нас вполне обеспечена. Зато Сарабьянов глубокомысленно поучает читателя, что наша экономическая политика, экономическая политика пролетарской диктатуры, способствует пока абсолютному росту и социализма и капитализма. Так и написано: «Нэп — не всегда правильная политика: в 1919 и 1920 гг. правильной политикой была сэп, т.-е. главкизм, управления, центризм снабжения и т. п. Но было бы чистой метафизикой сказать, что нэп в наше время — положительное явление, не несущее в себе ничего отрицательного. Напротив, мы должны брать жизнь, как она есть, т.-е. диалектически брать нэп, как синтез противоположностей, а тогда наша экономическая политика окажется и развивающей социализм, и способствующей (пока) абсолютному (но относительному) росту капитализма» (92. Подч. нами). Вот она, эта «диалектика»!

Итак, экономическая политика победившего пролетариата, экономическая политика партии, намеченная Лениным, как единственно правильная, оказывается, развивает абсолютно и социализм, и капитализм. Как тут не воскликнуть ленинское «Караул»? Мы же наивные люди думаем наоборот: при правильной политике партии, при индустриализации страны, при коллективизации сельского хозяйства, при проведении пятилетки, при выкорчевывании корней капитализма из мелкого крестьянского хозяйства, при беспощадном наступлении на капиталистические элементы города и деревни и т. д. и т. п. нэп может способствовать только абсолютному росту социализма, а не капитализма. Почему же Сарабьянов переворачивает вверх дном экономическую политику партии — угадать не трудно.

Сарабьянов, как известно, признает в нашей стране только внешние борющиеся силы: социализм, капитализм и докапитализм. Внутри нашей экономики объективно он не видит никаких качественных сдвигов, никаких внутренних противоречий, никакого взаимного проникновения противоположностей. Вот почему ему кажется, что социализм или капитализм растут только из политики. Если бы эта политика была де хорошая, идеальная, — никакого капитализма не было бы. Он не видит того, что теперь уже видят все, что мелкое крестьянское хозяйство ежедневно и ежечасно порождает капитализм, что задача, следовательно, сводится к тому, чтобы преодолеть эту внутреннюю тенденцию, эту внутреннюю возможность, руководя борьбой одной тенденции против другой, социализма против капитализма. Все это для Сарабьянова не существует. Для него существует только политика нашего государственного аппарата, а потому и классовая борьба социализма с капитализмом, классовая борьба пролетариата, опиравшееся на бедноту в союзе с середняком, против кулака, нэпмана, бюрократа и вредителя есть борьба внешняя, случайная, а потому не необходимая, не обязательная, ибо при идеальной экономической политике этой борьбы можно избежать. Не правда ли, читатель, линия у Сарабьянова 100%-ная? Однако еще подождите: это еще цветики, ягодки впереди. Так, он, вменяя себе в заслугу его борьбу с троцкистами, против ихнего понимания нэпа, цитирует одно поистине замечательное место из его книги «Популярный курс экономической политики»: «Не мы ли писали: «Совершенно бесспорно, что политика пролетариата в эпоху восстановления и реконструкции является политикой многосторонней, но единой? Здесь нет двух рядов мероприятий, а есть один ряд, но каждое мероприятие этого ряда и выгодно, и невыгодно капитализму, каждое мероприятие служит и капитализму, и социализму»?» (117—118. Разрядка наша).

Так вот оно что! Мы — грешным делом — до сих пор думали, что такие наши мероприятия, как индустриализация страны, пятилетка, строительство совхозов и колхозов, способствует победе социализма, вырывает корни капитализма и делает, следовательно, абсолютно необходимой победу социализма. Оказывается, нет. Мы до сих пор ошибались (мы, правда, до сих пор не обратили внимания на учебник экономполитики т. Сарабьянова, — в этом, действительно, наша вина!). Оказывается по сарабьяновской диалектике по его пониманию единства противоположностей, индустриализация и коллективизация служат одинаково в интересах и социализма, и капитализма. Можно ли себя разоблачить больше, чем это делает за себя сам Сарабьянов? И этот человек упрекает диалектиков в том, что они устряловцы. Иной бы на его месте хоть лучше бы помолчал, следуя тому афоризму: чья корова бы мычала, ваша бы молчала. Но Сарабьянов дальше продолжает: «Историк экономической политики может советскую политику разбить на две ступени: 1) сэп, т.-е. старая (военно-коммунистическая политика, и 2) нэп. Такого деления будет вполне достаточно, если мы рассматриваем только немногие свойства, в роде централизации или децентрализации управления, продразверстки или налога, госснабжения или свободной торговли» (181. Курс. наш).

Итак: сэп — это централизация управления, нэп — децентрализация, сэп — продразверстка, нэп — налог, сэп — госснабжение, нэп — свободная

торговля. Или - или: абсолютное противопоставление нэпа сэпу, между ними стена: сэп способствовал только победе социализма, — нэп же служит и нашим и вашим и социализму, и капитализму. Нэп — это свободная торговля, свободные рыночные отношения, т.-е., другими словами, возврат к капитализму. Если это не устряловщина, тогда пусть скажут сами механисты, что же это такое?

Заключение.

Разобранная нами книга, как мы уже видели, ничего нового в теоретическом отношении из себя не представляет. Безусловно правильно будет о ней сказать, что это — сплошной комплекс путаницы.

«От обороны к нападению» — таков девиз книги т. Сарабьянова. Мы наглядно показали, что т. Сарабьянов ведет нападение на диалектический материализм и что его сочинение написано в защиту философии ревизионизма. Тов. Сарабьянов, — этот enfant terrible механистов, увлекшись нападением, ставит кое-где точки над i, и в таких случаях обнаруживается, что механистическая философия ведет своих приверженцев в лагерь идеализма. Механисты отступают к идеализму, упираясь, под прикрытием лозунга «Назад к (материалисту) Локку». Мы уже отмечали, что лозунг «назад» есть лозунг оппортунизма. Оппортунистическую сущность механистической философии выдает и другой лозунг — лозунг «союза» с диалектиками, с теми самыми диалектиками («деборинцами»), которых Сарабьянов изображает, как «чудище обло, озорно, стозевно и лаяй», как схоластиков, метафизиков, идеалистов, виталистов и т. д. Выливая на «деборинцев» ушат грязи, клеветы, инсинуаций, т. Сарабьянов затем протягивает руки и предлагает «союз». Мы это называем двурушничеством и трусливым соглашательством. Сарабьянов говорит о «завещании Ленина» — быть в союзе с механистическим материализмом. Это «завещание» напоминает нам бухаринское «Политическое завещание Ленина» (от которого Бухарин сейчас отказался), и мы о таком завещании ничего не знаем. Нам известно, что Ленин говорил о союзе диалектического материализма с современным естествознанием. Но этот союз Ленин понимал диалектически именно не как сдачу наших идейных позиций, а как завоевание естествознания диалектикой и преодоление механистических и идеалистических «уклонов» в естествознании. Но именно ради этого мы предприняли борьбу с механистами, которые, как мы это показали выше, об'ективно препятствуют проникновению диалектического метода в области естественных (да и общественных) наук. Ленин учил нас, что «Без солидного ф и л о с о ф с к о г о обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного мировоззрения. «Следуя этому указанию Ленина, мы должны держать наш порох сухим, не подмоченным механистической сыростью. Предлагаемый т. Сарабьяновым «союз» мыслится им как беспринципный блок, как компромисс с «принципиальными льготами» для механистов. Мы такого «механического» союза без основы, без платформы не хотим. Заключить такой союз означало бы ослабить наш идейный фронт, означало бы допустить механистически-ревизионистскую ржавчину в теоретический арсенал марксизма - ленинизма.

Что нас возмущало в книге Сарабьянова, так это попытки извращенного, механистического толкования мыслей Маркса, Энгельса, Плеханова и Ленина. Сарабьянов всех их пытается сделать механистами, что прямо - таки смешно. Это новая тактика механистов. Раньше они проходили мимо множества мест и целых сочинений классиков марксизма («Диалектика природы» Энгельса, «Конспект «Науки логики» » Ленина и др.), либо прямо выступали против них, требуя «внесения поправок», «пересмотра» и т. д. Сам т. Сарабьянов писал когда-то: «Тов. Столяров думает, что я не рискну сказать вслух о своем расхождении с Лениным или Энгельсом. Он ошибается. Не всякая запятая даже у Ленина закон для меня» («П. З. М.» № 5, 1926 г., стр. 65) Вот это мы понимаем: прямота и откровенность. Но в этой книге т. Сарабьянов показал, что он расходится не только со знаками препинания Ленина, но с его основными положениями. В своей книге т. Сарабьянов свои расхождения начинает скрывать и свои ошибки маскировать цитатами из тех авторов, с которыми он расходится. Это уже совсем нехорошо. Некоторые строки в нашей работе продиктованы именно нашим возмущением подобной тактикой т. Сарабьянова. Мы брали т. Сарабьянова «за ушко да на солнышко», ибо недопустимо, чтобы смысл цитат наших учителей искажался, фальсифицировался, извращался под сурдинку споров по «общим», «абстрактным» вопросам.

Дело идет об очень серьезном. В программе Коммунистического Интернационала, принятой VI конгрессом Коминтерна, сказано, что диалектический материализм является нашим официальным мировоззрением. Таким образом спор идет о самом существенном для нас — о нашем мировоззрении. И, чтобы разоблачить механистов, мы пытались обнажить те связи и переходы, где механистическая «теория» перерастает в политический ревизионизм и право-оппортунистические ошибки. Только на первый и неискушенный взгляд философия механистов может казаться такой невинной, «опровергающей» такие абстрактные вещи, как об'ективность качества, единство противоположностей и т. д. и т. д. На самом деле связь философии с политикой имеется самая глубокая. Мы стремились вскрыть ту истину, что философия механистов есть родная сестра правооппортунистической политики, одна взаимно обуславливает и питает другую. Мы не станем бросаться зря, на манер механистов, словами, так как знаем, что обвинения в правом уклоне и т. п. равносильны для коммуниста политической смерти, но мы со всей силой подчеркиваем и указываем, куда ведет механистическая философия, к каким политическим выводам она их приводит. Если еще и сейчас это не станет ясным для механистов, — тогда мы будем их считать безнадежными, конченными людьми.

К критике немецкого историзма.

(Мейнеке и «raison d'etat»).

К. Шмюкле.

I.

«Есть некая тайна в душе государства более божественная, чем можно выразить словом и пером».

Шекспир, Троил и Крессида.

Государство, как покоящаяся в самой себе реальность, всегда «индивидуальная» в своей специфической форме, «автономная» по своему существу, властвующая над всеми общественными отношениями, как над своими подчиненными «модификациями», и т. д. — таков был, как мы показали раньше [1]), верховный принцип основанного Ранке «немецкого» исторического мировоззрения. Этот же принцип мы встречаем у Фридрих Мейнеке, и в наиболее ясном виде как раз там, где этот знаменитый современный немецкий историк исследует практическую сторону государства, характер «государственного действия» и «государственного разума». «Одно,— заявил Ранке,— во всяком случае несомненно: не вне государства лежит его идея, но заключается в нем самом». «Перед покоящимся в самом себе бытием смолкают подражания и ложные требования партии бессильны против него. Буйный порыв ветра взметает прах пустыни, но он не сдвинет с места гору» [2]).

В качестве простого вывода из этой точки зрения Мейнеке выдвигает тезис, что теория государственного действия должна быть развита «из самой исторической сущности государства» [3]). Другими словами, государственное действие по существу своему полагается и определяется исключительно лишь сущностью государства, которое почерпает эту свою сущность и свою историю не извне, не из сферы общественного бытия, не из классовых противоречий общества, не из исторической борьбы эксплоатирующих и эксплоатируемых классов, но имеет источник своей сущности в самом себе.

Государство — самодержец, предписывающий своим агентам свои собственные законы, как законы государственного или собственно-политического действования. Весь вопрос сводится для Мейнеке к тому и только к тому, насколько и как возможно полное, «идеальное» соответствие между фактическими действиями государственных людей и необходимыми запросами или жизненными интересами государства. Мейнеке говорит: «Для каждого государства в каждый данный момент существует идеальная линия поведения, идеальный государственный разум». «Понять эту линию,— продолжает он,— одинаково стремится и практический государственный деятель, и обращенный к прошлому

[1]) См. нашу первую статью «Ранке и принцип легитимизма», «Под Знаменем Марксизма», №№ 10—11 за 1929 г.

[2]) Ранке, Reflexionen (1832 г.), Sämtliche Werke, т. 49—50, стр. 246—247.

[3]) Meineke, Die Idee der Staatsraison in der neuerer Geschichte, Мюнхен-Берлин 1925 г., стр. 17.

историк» [1]). Здесь дана уже и формулировка специфической задачи историка, а следовательно и «обеих узловых точек» мейнековской книги; это, во-первых, «связь между практической политикой и историческим мировоззрением» или «связь между идеей государственного разума и идеей историзма», и, во-вторых, «подлинная суть самой проблемы государственного разума» [2]). А именно: «все оценочные исторические суждения о государственном действовании суть не что иное, как попытки проникнуть в тайну истинного государственного разума» [3]).

То в более философской, то в более вульгарной форме все современные теоретики буржуазного государства изображают государственную власть в виде «иероглифа», якобы выражающего или по крайней мере «символизирующего» всеобщие, одинаково присущие каждому отдельному индивиду интересы, потребности и т. д. людей, их абстрактную сущность или их родовое бытие,— в виде исторически-внеисторического «образования», идеально концентрирующего в себе, как в «индивидуальном организме», все вообще отношения, в которые люди вступают друг с другом. Так же смотрит на дело и Мейнеке.

Стремление к власти,— говорит он,— есть «исконно человеческий, быть может даже животный инстинкт»; «на ряду с голодом и любовью» это самый могущественный и стихийный инстинкт «человека» вообще, но вместе с тем и единственный, который «поднимает его над удовлетворением чисто-физических потребностей»; его миссия заключается в том, чтобы впервые «пробудить человеческий род к исторической жизни». «Без варварских, жутко насильственных об'единений под рукой первобытных деспотов и владычествующих каст... человечество не пришло бы к созданию государств».

А без создания государств невозможно «воспитание людей к великим сверхиндивидуальным задачам». Правда, для этого недостаточно,— спешит прибавить Мейнеке,— одного только «буйства» насилия, одной лишь стихийной энергии «инстинкта власти», но требуются еще и другие мотивы, именно силы «духовного» и «нравственного» мира: «кратос и этос (т.-е. насилие и нравственность) созидают государство и творят историю» [4]). Здесь внезапно появляется таким образом на сцену новый элемент иного порядка, во всяком случае не принадлежащий к числу «исконно человеческих, быть может даже животных» инстинктов «человека».

Мы имеем, далее, с одной стороны «личный инстинкт власти у властвующих», а с другой — «потребность подчиненного народа» в подчинении! Но он согласен подчиняться только потому, что он получает «нечто взамен». Общие узы неразрывно соединяют «властвующих и подчиненных», этими узами является «исконная человеческая потребность в общественном союзе». На «скрытых инстинктах власти и жизни» в душах подчиненных «держатся между прочим» и властвующие [4]). Так образуется в историческом процессе, и образуется «немедленно», «некая общность интересов» между властвующими и подчиненными, способствующая «обузданию инстинкта власти в властвующем». Ведь последний вынужден служить до известной степени — именно поскольку это допускается интересами власти — также и интересам подчиненных, потому что иначе было бы поставлено под угрозу самое существование «всей его власти». Поэтому и только поэтому властитель, т.-е. олицетворенное государство, вынужден заботиться об

[1]) Там же, стр. 2.

[2]) Там же, стр. 27, 24.

[3]) Там же, стр. 2.

[4]) Там же, стр. 12.

«удовлетворении общих потребностей» [1]). «Ум и насилие должны таким образом итти рука об руку при пользовании властью» [2]).

«Природа власти такова, что тот, кто завоевал ее, должен заботиться о ней, чтобы сохранить ее в своих руках. Раз возникши, она должна быть организована. Будучи организована, она становится самостоятельной величиной, сверхиндивидуальным нечто, о чем должна печься, чему должно служить, чему прежде всего должен служить тот, кто искал ее и стремился к ней. Властвующий превращается таким образом в служителя своей собственной власти. Цели власти начинают ограничивать личный произвол, час рождения государственного разума пробил» [3]).

Что же такое этот «государственный разум»? Это прежде всего «предметная задача самого государственного блага»,— другими словами, учение об условиях рационального политического действия, «изыскание того, что целесообразно, полезно и благотворно, что государство должно делать для достижения в каждый данный момент оптимального уровня своего существования» [4]). Но в силу «глубочайшей сущности государственно разумного действия» для него требуется «высокая степень причинной необходимости, которую сам действующий... обыкновенно воспринимает даже как абсолютную, неотвратимую, железную необходимость» [5]). Более того: поскольку государственный деятель служит таким образом уже не только своему индивидуальному инстинкту власти (служение последнему становится для него теперь, так сказать, «побочным занятием»), он тем самым служит «высшему делу, далеко выходящему за пределы отдельной человеческой жизни». Здесь,— заявляет Мейнеке,— «тот решающий пункт, где начинается кристаллизация в более благородные формы, т.-е. то, что сначала считалось только необходимым и полезным, начинает уже ощущаться как прекрасное и благое, пока, наконец, государство не становится нравственным учреждением для развития высших жизненных благ, пока инстинктивная воля нации к жизни и власти не переходит, наконец, в нравственно понятую национальную идею, которая усматривает в нации символ вечной ценности. Так, посредством незаметных переходов облагораживается государственный разум властвующих, превращаясь в соединительное звено между кратосом и этосом» [6]).

Остановимся здесь на минутку. В формулах, содержание которых мы только что передали в сжатом виде, заключается в основных чертах взгляд Мейнеке на государство и заодно его «идея государственого разума». В общем и целом надо прежде всего сказать, что здесь просто облечены в более торжественную форму «историко-философского» воззрения ходячие представления о государстве, как они складываются в голове современного среднего буржуа. Особенно бросается в глаза, как в рассуждениях Мейнеке о производстве и воспроизводстве государственной власти (если угодно так выразиться) сквозь современную форму «историзма» просвечивают старые черты специфически буржуазного, специфически юридического представления об «общественном договоре», т.-е. о передаче «собственных сил» общества («народа», как говорит Мейнеке) «властвующим»,— правда, все это в потускневшей, ухудшенной, апологетической формулировке, совершенно лишенной своего прежнего положительного исторического значения. Интереснее всего то, что автор, повидимому, совсем не отдает себе отчета в этом историческом преемстве [1]). То же самое следует сказать о его «первобытных деспотах и владычествующих кастах».

[1]) Там же, стр. 13.
[2]) Там же, стр. 12.
[3]) Там же, стр. 12.
[4]) Там же, стр. 6.
[5]) Там же, стр. 7.
[6]) Там же, стр. 13.

Три момента надо прежде всего выделить в мейнековской дедукции развития государства: 1) происхождение государства и «сущность» насилия; 2) обособление государства и рождение государственного разума; 3) «нравственное облагорожение» государства, гармония интересов и превращение государства в «символ» нации. Начиная со второй ступени, с «момента рождения» государственного разума, на сцену появляется вторая, «трансцендентная» сила, нравственность; с этого момента начинает действовать неустранимый дуализм, неразрешимый конфликт между политикой и моралью. Государственный разум есть «соединительное звено» или опосредствование этого противоречия и, как таковое, представляет собою рычаг дальнейшего развития. Мы имеем, таким образом, начиная с этого момента, две линии. С одной стороны: «От сущности и духа государственного разума... неотделимо, что он то-и-дело вынужден пятнать себя нарушением нравственности и права, хотя бы в силу повидимому неизбежного для него средства войны, которая, как бы ни облекать ее в правовые формы, означает прорыв естественного состояния сквозь нормы культуры. Государство не может, повидимому, не грешить». Но, с другой стороны, «вера в высшую силу, требующую от человека самоотверженного служения, является той почвой, из которой вырастает духовное и нравственное». «Мир ценностей восходит над горизонтом, мир стихийного насилия отступает на задний план». «Так государственно разумное действие все время колеблется между светом и тьмой» и т. д. и т. д. [2]).

Итак, мы имеем, в несколько упрощенном виде, только две фазы — «ветхий» и «новый завет» государственной теологии. Существует, во-первых, «естественное состояние» с единодержавием насилия, т.-е. греха. Государство возникает. Затем начинается подлинная или культурная история, евангелие духа и нравственности, конфликта и дуализма, при чем «государственный разум» играет роль «святого духа», а его представители — роль Христа, «посредника» между земным и небесным миром. Начнем, как полагается, с ветхого завета, т.-е. с генезиса государства, с политического Адама.

Представление о доисторическом основателе государства, мыслится ли он как «мудрый Ликург» или как анонимный захватчик, играет в старой и новой теории государства приблизительно такую же роль, как «первоначальное накопление» в классической политической экономии, или грехопадение (и непорочное зачатие) в богословии. Представление о доисторических героях или первобытных царях-деспотах встречается в самых различных формах у Маккиавелли, у Вико и Гегеля и т. д., у французских теоретиков государства XVIII века оно приобретает цивилизованный облик «великого законодателя» (le grand législateur, вспомним, напр., о Вольнее); оно вообще составляет неотъемлемую часть всей специфически буржуазной государственной мифологии. Как показывает формула Мейнеке о «насиль-

[1]) В своем (впрочем, весьма неравномерном) изложении важнейших и интереснейших учений о «государственном интересе», «государственном разуме» и государстве со времен Маккиавелли Мейнеке пытается установить принципиальный антагонизм между «западно-европейским» и «немецким» взглядом на государство, между немецким «принципом индивидуальности» и «западным естественно-правовым мышлением». Именно это противопоставление, которое в данной принципиальной связи может в общем иметь только формальное значение, автор считает одним из существенно важных выводов своего исследования.

[2]) Там же, стр. 7, 14, 15.

ственных об'единениях под рукой первобытных деспотов и владычествующ каст», это представление отнюдь не исчезло из современной научной истори (как не исчезла и теология «греха»). Какой-нибудь «созидающий государств Геркулес» (по выражению Маркса), одушевляемый стремлением к власти и любовью к справедливости, захватил в свои руки господство или установ благодетельные для общества законы, — и вот возникло первое государств Его происхождение об'ясняется, следовательно, «посредством анекдотов к далекого прошлого» [1]).

«В давно минувшие времена, — так пересказывает Маркс леге экономистов, — существовала с одной стороны прилежная, умствен развитая и, главное, бережливая группа избранников, а с другой — лениві бездельники, проматывающие все свое достояние». Исторический исходны пункт капиталистического способа производства зафиксирован таким образо в виде «первоначального накопления» капитала.

В области политической истории теория устанавливає в зависимости от обстоятельств, от своих целей и от времени своего появл ния, два различных исходных пункта для развития государственной жизн В те же давно минувшие времена там и сям появлялись личности, превосх дившие остальных либо силой, беззастенчивым эгоизмом и честолюбие либо справедливостью, любовью к порядку и мудростью; что же к сается этих «остальных», то они жили до того в состоянии «войны все против всех». Так или иначе, происходил насильственный захват власти и подчинение голосу разума. Стоило только более сильным или более мудры т.-е. «доисторическим героям», появиться на сцену, и тотчас же возникл государство. Так излагают дело политические историки. Но если вы спроси их об источниках этих добродетелей, этой силы или мудрости, они приста палец ко лбу и с «торжественной серьезностью» ответят, что их источнико как и источником прилежания вышеупомянутых экономических избранник является природа (а то и сам бог). «Как только речь заходит о собств ности, — говорит Маркс об экономистах, и мы можем прибавить: к только у политических историков речь заходит о власти, — так ста вится священным долгом считать точку зрения детских сказок единств соответствующей всем возрастам и ступеням развития» [2]).

Ничто, в самом деле, не соответствует так точке зрения детских сказо как аргументация этих господ. Верно, конечно, что «в действительной ист рии... завоевание, подчинение, разбой, словом насилие, играет большу роль» [2]). Этого достаточно, чтобы внушить некоторым новейшим историк гу мысль, что политическое насилие, в частности государственное насил играет в истории безусловно решающую роль (Маркс и Энге неоднократно полемизировали с защитниками этого взгляда. Нас этот моме интересует здесь лишь постольку, поскольку он касается «генезиса го дарства»). Метод идеологов состоит в том, что они исходят из сущ ствующих политических условий, тогда как об'яснению подлежит пе воначальное происхождение государства. (Не каждый теолог госуд ственности так прямо полагает начало государства в боге, как это де Ранке). Эмпирически констатируют разделение народа на политически «властителей» и «подчиненных» и поневоле признают, что это отношен сводится в конечном счете к насилию или что в нем, по меньшей ме участвует организованное насилие. Ясно, однако, что существование особ политической власти является точно в такой же мере предп сылкой для разделения на носителей власти и подвластных, на суб'ек

[1]) По поводу всего этого абзаца ср. рассуждения Маркса в I томе «Капита в начале 24 главы.

[2]) Маркс, там же.

и об'екты политического действия, в какой это разделение само служит, с другой стороны, предпосылкой для наличия и осуществления политической власти. Мысль движется таким образом в порочном кругу, из которого должен быть найден выход.

В самом деле, что «исторически предшествует»: политическое насилие или политическое разделение? (Вопрос этот можно по желанию «продолжить»: что было раньше — промышленный наемный рабочий или промышленный капиталист? Яйцо или курица? «Слон или черепаха»?).

Одно из двух: либо политическое разделение населения признается исторически первым, — и тогда мы имеем учение о «естественной» или «разумной» форме этого политического разделения, о непосредственно политическом «разделении труда» в обществе (басня древнего римлянина Менения Агриппы и т. д.); насилия завоевателя, деспота, законодателя или правителя сами оказываются с этой точки зрения или «естественным», «разумным» выражением потребностей, создаваемых этим общественным «разделением труда», или же прямой противоположностью всего «разумного» и «естественно-необходимого», нарушением естественного хода вещей, беззаконием, историческим извращением и т. д.

Либо, наоборот, политическое насилие признается первым, исходным пунктом государства, орудием культурного развития и т. д. В этом случае господство насилия должно оказаться подлинной естественной данностью, которая должна вместе с тем, в своем противопоставлении остальным силам человеческого общества, выработать свою собственную форму. Политическое насилие просто поглощает и концентрирует все виды насилия, вложенные «от природы» в человеческое общество. Государственное насилие оказывается чем-то «высшим», оно представляет интересы «духа», оно приводит к эмансипации общества от теснейших оков естественной необходимости и т. д., и т. д. Его организационное отделение от общества отражается в разделении общественных организаций, или оно даже прямо порождает это общественное «разделение труда» и покоящееся на нем культурное развитие. Словом, государство оказывается не только «causa sui» («причиной самого себя»), но и «causa omnium» («причиной всего»).

Мы пришли к тому же, с чего начали. Примем ли мы за первое одно или другое, для дальнейшего развития теории в рассматриваемой плоскости это не составляет существенного логического различия. Мы попрежнему остаемся все в том же порочном кругу: выход из него существует только в воображении, только в области «анекдота». Действительное решение загадки лежит вне этого круга. Сущность политических отношений может быть понята только из экономики. Человек есть сперва производящий, и лишь потом уже политический суб'ект. Само насилие есть «экономическая потенция» [1]).

Мы видели, как безысходно замкнуты основные определения Мейнеке в этом традиционном порочном кругу. Он противопоставляет государство обществу, он ставит его над обществом. Но, едва высказав это противопоставление, он тотчас же и снимает его, т.-е. заменяет его «общностью интересов». Ибо и эта общность — подобно самому насилию — существует «от природы», она представляет собою «исконную человеческую потребность». Природа требует, далее, примирения противоречий, которые могут возникнуть из политического разделения общества на властвующих и подчиненных, и она создает для этого особый механизм, покоящийся на «взаимных услугах». Властвующие «кормятся» отнюдь не за счет дани, земельных поборов, прибылей, т.-е. разных видов выкачиваемого

[1]) Маркс, Капитал, т. I, 24 гл., отд. 6.

прибавочного труда, — а за счет «скрытых инстинктов власти и жизни» в душах подчиненных. Подчиненные же «кормятся», в свою очередь за счет столь же своеобразных «ответных услуг» другой стороны и т. д. и т. п. Словом, царит всеобщая гармония, по крайней мере, «в принципе».

Не трудно было бы показать, как изгнанные противоречия прокрадываются снова через «заднюю дверь»; но у Мейнеке они появляются из потустороннего мира, они метафизичны по своему происхождению, неустранимы, вечны. Гармония то-и-дело «нарушается» конфликтами, или, наоборот, господство противоречий то-и-дело «нарушается» гармонией,— как угодно.

Дальнейшее историческое развитие протекает, по изложению Мейнеке, всецело в государственной сфере. Будучи произведено, государство должно воспроизводиться: эта необходимость тоже заключается в его собственной «сущности». Будучи завоевана, власть должна быть сохраняема. Но организовать власть, это значит превратить ее в «самостоятельную величину», в «сверхиндивидуальное нечто». Этот процесс «организационного обособления» и фигурирует у Мейнеке как подлинный, тоже вытекающий из «сущности» власти, закон развития государства, и т. д. Процесс этот заходит так далеко, что носитель государственной власти «превращается в слугу своей собственной власти». Это есть, вместе с тем, «час рождения государственного разума».

Всеми этими выражениями описывается не что иное, как фетишистский характер государства.

Все формы, в которых является в развернутом виде фетишистский характер государства, покоятся на одном основоположном искажении действительных отношений, именно на извращении подлинных, реальных соотношений между экономикой и политикой, между обществом и государством. Но все эти мистификации, в своей совокупности составляющие и выражающие фетишистский характер государства, вытекают из самой реальной структуры экономического и государственно-политического бытия современного общества: ложная видимость действительных отношений — вот что порождает эти мистификации. В сложном, всеоб'емлющем экономико-политическом «механизме» современного буржуазного общества, несмотря на фактическое упрощение в нем классовых отношений, все же с другой стороны — в сфере явления — все главные формы мистификации развернуты полностью.

В общем и целом можно сказать: чем дальше мы заглядываем в глубь истории общества, тем проще, яснее и прозрачнее основная структура общественных отношений. В докапиталистических обществах основная мистификация — экономическая — проявляется главным образом лишь постольку, поскольку денежная система и приносящий проценты капитал уже достигли некоторого развития. Эта мистификация «невозможна по существу дела, во-первых, там, где преобладает производство ради потребительной стоимости ради непосредственного собственного потребления; а, во-вторых, там, где, как в античном мире и в средние века, рабство или крепостничество составляет широкую базу общественного производства: господство условий производства над производителями скрыто здесь под отношениями господства и подчинения, которые явно оказываются непосредственными двигателями производственного процесса. В первобытных общинах, в которых господствует естественный коммунизм, и даже в античных городских общинах сама эта община с ее условиями представляет базой производства, а ее воспроизводство его последней целью» и т. д.[1]). Совсем иначе обстоит дело при развитом товарном

[1]) Маркс, Капитал, т. III, ч. 2. гл. 48.

производстве — особенно при развитом капиталистическом способе производства. Возвышение товарного производства на степень всеобщего, господствующего и исключительного способа производства и тем самым на степень всеоб'емлющей основы всей общественной жизни, означает вместе с тем всеобщее, формальное превращение всех общественно-личных отношений между членами общества в предметные и «натуральные» отношения. Вся «стихийная» механика высокоразвитого буржуазного общества покоится на «опредмечивании производственных отношений» и на «их обособлении от производителей»[1]). Все частные сферы общественного разделения труда, какой бы вид общественного труда или общественной деятельности мы ни взяли, подчиняются законам этой механики и отражают ее своеобразный характер как в своей собственной области, так и в своих взаимоотношениях. Все существенные категории, условия существования и «формы жизни» этого общества (от вторичных физических, исторических, национальных и т. д. модификаций мы пока отвлекаемся) определяются в своей буржуазной форме тем, что общественные отношения между индивидами являются вообще под маской вещественных или предметных отношений. Эти категории, формы жизни и т. д. относятся друг к другу лишь опосредствованно, лишь косвенно, «автоматично» и «нечеловечно». Действующие в развитом современном обществе процессы концентрации, частичного упразднения и формального слияния определенных сфер, бывших прежде «независимыми», а также процессы упрощения классовой структуры и т. д., ничего не изменяют по существу в этих формах вещественной видимости, а лишь воспроизводят их «на более высокой ступени».

Товар, напр., есть просто вещь, предмет потребления, естественная субстанция, — но как товар он впервые создает действительную общественную связь между людьми, являющимися членами этого общества, и эта его общественная (или «обобществляющая») роль кажется присущей ему самому «от природы», представляется каким-то невидимым «внутренним свойством» его натуральной формы.

Рабочая сила непосредственного производителя, рабочего, есть по своему естественному качеству мышечная, мозговая, нервная сила (сам разум является по существу одной из сил природы), — но в капиталистическом обществе она не только приобретает форму товара, но и порождает в этой своей общественной маскировке видимость того, будто здесь перед нами не особый товар «рабочая сила», а самый труд, и будто этот труд — «труд трудового процесса» — полностью и целиком покупается капиталистом, применяющим рабочую силу, и полностью и целиком оплачивается им (и стало быть оплачивается по «справедливой», «естественной» цене труда).

Общественная производительная сила есть производительная сила общественного труда или совокупная рабочая сила обобществленных рабочих, — но при капиталистическом строе эта общественная производительная сила труда кажется каким-то специфическим свойством самого капитала. Вместе с тем, однако, рабочий кажется «совершенно свободным», потому что как владелец особого товара — «рабочей силы» — он имеет возможность, «подобно всем остальным товаровладельцам», продавать «при желании» свой товар по надлежащей и справедливой, хотя и меняющейся, цене. Единственное принуждение, которому он подвергается («подобно всем остальным людям и гражданам»), проистекает, как кажется, не из общественных, а из естественных условий: всякий человек должен есть, чтобы остаться в живых, и должен тратить свою рабочую силу, чтобы есть. Продажа своей

[1]) Маркс, там же.

свободы и есть, как кажется, сама общественная свобода. На самом деле рабочий класс в целом закрепощен капиталу, представляет собою собственность капитала, ибо он функционирует лишь как «личное» или человеческое орудие производства (в отличие от вещественных орудий производства) и как простое воплощение определенной части капитала (переменного капитала), но по видимости он свободен совершенно в такой же мере, как и каждый отдельный рабочий.

Наконец, государство, которое по-своему, т.-е. политически и юридически, санкционирует и гарантирует «свободу и равенство» всех индивидуальных товаровладельцев («в том числе и рабочих»), как будто выражает, с одной стороны, только «гармоническую» целостность человечески-общественной власти и сложное сотрудничество всех индивидуальных владельцев естественных сил, прав, предметов и т. д., а, с другой стороны, там, где оно проявляет свою государственную мощь, оно как будто регулирует только технические и моральные условия и нормы всеобщего товарообмена и «культурного» сотрудничества всех отдельных членов общества. И поэтому кажется, что государство, как таковое, есть действительное всестороннее об'единение юридически свободных и автономных индивидов и специфически общественное регулирование всех человеческих производительных и разрушительных сил, — словом, кажется, что государство и есть само общество и что в этом своем качестве оно является по отношению к человеческим индивидам и вообще ко всему царству природы высшей, производительной, суверенной, культурной, духовной «природой» и т. д. и т. д.

Как экономический фетиш, фетиш капитала, есть лишь продолженная дальше, лишь охватывающая всю совокупность общественного производственного и распределительного процесса форма элементарного товарного фетиша, так и политический фетиш, фетиш государства есть, в свою очередь, лишь продолженная дальше и распространенная на всю совокупность общественной жизни форма фетиша капитала.

В общественной действительности всегда и всюду царят определенные связи, связи определенного порядка, — но она «показывает» эти по существу человечески-общественные связи как раз в нечеловеческой, не общественной, вещественно-натуральной форме; и, наоборот, там, где эти связи как будто проявляются как раз в человечески-личном воплощении, мы имеем в действительности лишь специфически физическую, натуральную сторону этих «воплощений». И если извращен, овеществлен и искажен способ обнаружения этих связей, то то же самое следует сказать об их порядке, о расчлененности определенных сфер, о строении всего общества. Поэтому неизбежно возникает всеобщая иллюзия взаимной независимости, изолированности, «оцепенения и окостенения» всех частных сфер общества. Действительные основоположные отношения общественной жизни, равно как их действие и взаимодействие, являются в сплошном искажении. Совокупность действительных связей приобретает недействительный, идеальный, метафизический облик. Необходимость общественного бывания и развития перестает быть имманентной самому обществу и превращается в трансцендентную судьбу и т. д. Действительная ось вращения общественной жизни переносится в потусторонний мир, и вся жизнь становится «только отблеском» последнего. Возникает «завороженный, искаженный и на голову поставленный мир» [1]).

Так, господа идеологи только возвращают «автономии» государства эту обычную иллюзию действительности, когда они непосредственно противопоставляют друг другу государство и общество или даже провозглашают важнейшим пунктом своей политической метафизики принципиальную зависимость общественных отношений от государственных.

[1]) Маркс, Капитал, т. III, ч. 2, стр. 299.

Мы слышим, напр., от г-на Мейнеке, что для высокого государственного действия требуется «высокая степень причинной необходимости, которую сам действующий... обыкновенно воспринимает даже как абсолютную, неотвратимую, железную необходимость». Но всякая дальнейшая попытка нашего автора конкретно проанализировать сущность этой «причинной необходимости» только все глубже заводит его в дебри всяческого дуализма, в призрачное царство «богов и чертей» и диковинных «метафизических законов». Но толковать ли «загадочную природу» всеобщих общественно-исторических условий всякого политического действия («государственно разумного действия», по выражению Мейнеке), как «абсолютно неотвратимую, железную» судьбу, или же просто взять ее, без всякой особой теории (т.-е. с уклоном в сторону агностицизма), за мистическую основу «системы единичных вспомогательных средств» (как выразился знаменитый прусский государственный деятель Мольтке),— это особенной разницы не составляет: мистика остается мистикой, «сфинкс» остается «сфинксом», х остается х. В действительности за этой «причинной, абсолютной» необходимостью, за слепой и «случайной» необходимостью «вспомогательных средств», за всеми торжественными песнопениями или трезвыми сентенциями «государственного разума» скрывается не что иное, как тот самый фетишистский характер, который носят в буржуазном обществе действительно необходимые условия всякой — в том числе и «государственно-политической» — деятельности. Словом, за всем этим скрывается то, что Маркс и Энгельс об'яснили, как «овеществление» производственных отношений и их «обособление» от индивидов этого общества — в том числе и от «государственно политических» индивидов, — и в чем они признали господство стихийных «естественных законов общества».

В живой практике (а учение о «государственном разуме» есть именно учение о практике) должна, конечно, обнаружиться действительная конкретная связь экономических и политических отношений, моментов и интересов; практический опыт экономических кризисов, напр., «вбивает диалектику даже в головы капиталистов», как говорит Маркс; не подлежит сомнению, что руководящие группы буржуазии превосходно умеют извлекать уроки из повседневной практики классовой борьбы и т. д. и т. д. Но хотя такого рода «общественная» или «публично-политическая» практика в гораздо большей мере сталкивает между собой людей «лицом к лицу», т.-е. хотя она в гораздо большей мере носит непосредственно-общественный характер и поэтому «естественно» облегчает исправление ложных представлений в головах отдельных людей — все же общие законы и основы, на которых покоится экономико-политическое существование этого общества, нисколько от этого не колеблются; упомянутая повседневная практика классовой борьбы не вносит никаких существенных изменений в структуру данного общества и не уничтожает тех общих мистификаций, которые имеют место в жизни этого общества. Как отдельные капиталисты представляют собою только «экономическую маску» механики капитала, так отдельный «государственный деятель» есть только политическая маска этой механики. Чем ограниченней круг практических интересов, в котором вращаются отдельные представители и агенты буржуазии, т.-е. «положительной представительницы» буржуазного общества, тем больше в общем и идейная ограниченность этих людей, тем резче выражены «профессиональные» мистификации их сознания. «Иллюзии юристов, политиков (в том числе и практических государственных деятелей)», а также, разумеется, прямых агентов капитала и т. д., об'ясняются просто «их практическим положением в жизни, их занятием и разделением труда» [1]); и «чисто научные», «теоретические» представители буржуазного общества большей частью только формулируют общую

[1]) Маркс и Энгельс о Фейербахе («Deutsche Ideologie», ч. 1).

связь этих иллюзий, которая потом уже навсегда заменяет, затемняет и искажает для них действительную связь рассматриваемых явлений, — не говоря уже о грубом воспроизведении грубой иллюзии и о сознательной апологии буржуазного классового господства.

Совсем иначе, потому что в совсем других реальных условиях, происходит развитие общественной мысли, классового сознания у рабочего класса. Понятно, что прямой практический конфликт с экономическими основами буржуазного общества должен создать и другие предпосылки для идейного постижения этих основ; к тому же, действительные отношения внутри непосредственного производственного процесса сами по себе яснее и прозрачнее. Индустриальный рабочий, как непосредственный носитель и непосредственный об'ект эксплоатации, гораздо легче поймет, что современное «крупнокапиталистическое индустриальное государство» является таковым не только в силу формальной, технико-административной аналогии с современным «крупным промышленным предприятием» [1]), но что, наоборот, его экономико-общественное содержание, его цель, его сущность имеет современно капиталистическую природу и что только поэтому и формальная структура современного государства (т.-е. строение государственного аппарата) соответствует организационной форме индустриального «крупного предприятия» (этого государства в миниатюре).

Мейнеке ставит, напр., в этой связи следующий вопрос: «Угрожала ли человеку опасность, что в результате возрастающей рационализации и технизации жизни он лишится своей подлинной человечности и превратится в бездушную машину?» [2]). Но рабочие отлично знают, что их труд есть база этой «жизни» (жизни всего общества), и что в «бесчеловечности» их трудовых и их жизненных условий сконцентрирована и доведена до предела бесчеловечность всего буржуазно-капиталистического порядка, так что поистине не может быть и речи о какой-то еще только «угрожающей опасности». И рабочие давно уже почувствовали на собственной шкуре обесчеловечивающее и обездушивающее действие «технизации», т.-е. машинной эксплоатации их рабочей силы,— они почувствовали это за целое столетие до того, как господа буржуазные идеологи соблаговолили сделать это «открытие» в официальной, философской, фразеологической и т. д. форме (буржуазный историк, правда, не очень интересуется такими «историческими явлениями», как люддитское движение и т. д.). Когда рабочие, на заре капитализма, поняли, что превращение их человеческого существования, их живых сил в «бездушную машину» стоит перед ними как действительная опасность, они стали разбивать новые машины, видя в них источник своих новых страданий; но этого элементарного исторического опыта был для них достаточно, чтобы раз навсегда понять, что одно дело машина, а другое дело—капиталистическое использование машины; что разрушение того или другого машинного оборудования еще не есть разрушение общественного «механизма» эксплоатации, обесчеловечения и всех страданий, — другими словами, что вот эта машина, это бездушное сооружение из железа и стали в своей голой натуральной форме отнюдь не является каким-то фетишем или чортом, но что зато в своей «общественной» форме, т.-е. благодаря способу своего применения оно заключает в себе бесчеловечный механизм, «природа» которого тожественна с «природой» капитала. И это были только первые шаги, сделанные пролетариатом в его практическом и теоретическом движении; каждый дальнейший шаг на этом пути неизбежно вел и к дальнейшему разрушению всех подобных фетишей, мистификаций и иллюзий.

[1]) Meinecke, Idee и т. д., стр. 521 сл. Рационально поставленное крупное предприятие современного государства», стр. 513. Эта чисто внешняя аналогия играет некоторую роль в «типологии» Макса Вебера; она явным образом преобладает и Мейнеке; Трельч и др. тоже говорят в этом—и только в этом—смысле о современном государстве, как о «крупном предприятии», и т. д.

[2]) Там же, стр. 521.

Для господ идеологов остается, правда, «загадочным» (мы это еще увидим ниже на примере Мейнеке), почему развитие капиталистического общества создает условия своей собственной гибели; почему оно ставит пролетариев перед необходимостью «осуществить» эту гибель; почему оно шаг за шагом обобщает практический конфликт пролетариата с этим общественным порядком, превращая его в конце концов в радикальный и всесторонний конфликт; почему развитие и обобщение этого практического конфликта есть вместе с тем развитие и обобщение подлинного проникновения в сущность капиталистического механизма, а следовательно, и в подлинные условия общественного действия — речь идет здесь, конечно, не о «государственно разумном», а о «революционно разумном» действии, о «преобразующей практике», по выражению Маркса. Именно это непосредственно общественное и активное преобразование экономико-политических условий, на которых покоится весь механизм капиталистического строя, подготовит вместе с тем уничтожение и «отмирание» всех форм «обособления», «овеществления», «окостенения», «мистификации», всех этих категорий ложной видимости, и доведет этот разрушительный процесс до конца, заменив «механику» «естественных законов общества» свободной ассоциацией людей на базе одной лишь природной необходимости.

Конечно, для господ идеологов этот механизм их собственного общественного строя вообще остается, в конечном счете, книгой за семью печатями. В последней главе своей книги Мейнеке пытается дать себе отчет в природе этого механизма со своей «практической» точки зрения, т.-е. с точки зрения «государственного разума». Он дает общий очерк трех периодов развития буржуазного общества со времени возникновения капиталистического способа производства (он называет их периодами «образования абсолютизма»—до середины XVII века, «зрелого абсолютизма»—до французской революции, и «образования современных национальных государств»—до окончания деятельности Бисмарка). Он заявляет, — как будто совершенно правильно, — что практика государственного разума всегда зависела «от средств господства, доставляемых общественным, хозяйственным и техническим состоянием» [1]). Но понятно само собой, что он имеет здесь в виду не зависимость политической практики от общественных условий, а зависимость средств власти от самой власти, государственно-идеалистическое, «наполеонистское» превращение «общественных, хозяйственных и технических» сил в подчиненные орудия «высшей» политики. Поэтому у него и вопрос о войне и мире решается одним лишь государственным разумом, а реальные (и идейные) общественные условия служат частью простыми орудиями, частью же механической границей для «господства государственного разума». Не будем останавливаться на том, в какой форме проявляются у Мейнеке все эти силы и средства, как условия «государственно разумного действия», на протяжении рассматриваемых им периодов. Но характерно заключение этого исторического обзора — развитие «государственного разума» к моменту взрыва империалистической мировой войны.

Мейнеке пишет: Из «свободного развития всех исторических сил XIX века» «выросли» для государственного разума «те огромные средства власти, с которыми он мог добиться быстрой развязки в предстоявших ему войнах». А именно, «три могучие вспомогательные силы» оказались теперь «на службе» у политики крупных государств: «милитаризм, национа-

[1]) Там же, стр. 513.

связь этих иллюзий, которая потом уже навсегда заменяет, затемняет и искажает для них действительную связь рассматриваемых явлений, — не говоря уже о грубом воспроизведении грубой иллюзии и о сознательной апологии буржуазного классового господства.

Совсем иначе, потому что в совсем других реальных условиях, происходит развитие общественной мысли, классового сознания у рабочего класса. Понятно, что прямой практический конфликт с экономическими основами буржуазного общества должен создать и другие предпосылки для идейного постижения этих основ; к тому же, действительные отношения внутри непосредственного производственного процесса сами по себе яснее и прозрачнее. Индустриальный рабочий, как непосредственный носитель и непосредственный об'ект эксплоатации, гораздо легче поймет, что современное «крупнокапиталистическое индустриальное государство» является таковым не только в силу формальной, технико-административной аналогии с современным «крупным промышленным предприятием» [1]), но что, наоборот, его экономико-общественное содержание, его цель, его сущность имеет современно капиталистическую природу и что только поэтому и формальная структура современного государства (т.-е. строение государственного аппарата) соответствует организационной форме индустриального «крупного предприятия» (этого государства в миниатюре).

Мейнеке ставит, напр., в этой связи следующий вопрос: «Угрожала ли человеку опасность, что в результате возрастающей рационализации и технизации жизни он лишится своей подлинной человечности и превратится в бездушную машину?» [2]). Но рабочие отлично знают, что их труд есть база этой «жизни» (жизни всего общества), и что в «бесчеловечности» их трудовых и их жизненных условий сконцентрирована и доведена до предела бесчеловечность всего буржуазно-капиталистического порядка, так что поистине не может быть и речи о какой-то еще только «угрожающей опасности». И рабочие давно уже почувствовали на собственной шкуре обесчеловечивающее и обездушивающее действие «технизации», т.-е. машинной эксплоатации их рабочей силы,— они почувствовали это за целое столетие до того, как господа буржуазные идеологи соблаговолили сделать это «открытие» в официальной, философской, фразеологической и т. д. форме (буржуазный историк, правда, не очень интересуется такими «историческими явлениями», как люддитское движение и т. д.). Когда рабочие, на заре капитализма, поняли, что превращение их человеческого существования, их живых сил в «бездушную машину» стоит перед ними как действительная опасность, они стали разбивать новые машины, видя в них источник своих новых страданий; но этого элементарного исторического опыта было для них достаточно, чтобы раз навсегда понять, что одно дело машина, а другое дело—капиталистическое использование машины; что разрушение того или другого машинного оборудования еще не есть разрушение общественного «механизма» эксплоатации, обесчеловечения и всех страданий, — другими словами, что вот эта машина, это бездушное сооружение из железа и стали в своей голой натуральной форме отнюдь не является каким-то фетишем или чортом, но что зато в своей «общественной» форме, т.-е. благодаря способу своего применения оно заключает в себе бесчеловечный механизм, «природа» которого тожде-

[1]) Meinecke, Idee и т. д., стр. 521 сл. Рационально поставленное крупное предприятие современного государства», стр. 513. Эта чисто внешняя аналогия играет некоторую роль в «типологии» Макса Вебера; она явным образом преобладает и Мейнеке; Трельч и др. тоже говорят в этом—и только в этом—они сле о современном государстве, как о «крупном предприятии», и т. д.

[2]) Там же, стр. 521.

ственна с «природой» капитала. И это были только первые шаги, сделанные пролетариатом в его практическом и теоретическом движении; каждый дальнейший шаг на этом пути неизбежно вел и к дальнейшему разрушению всех подобных фетишей, мистификаций и иллюзий.

Для господ идеологов остается, правда, «загадочным» (мы это еще увидим ниже на примере Мейнеке), почему развитие капиталистического общества создает условия своей собственной гибели; почему оно ставит пролетариев перед необходимостью «осуществить» эту гибель; почему оно шаг за шагом обобщает практический конфликт пролетариата с этим общественным порядком, превращая его в конце концов в радикальный и всесторонний конфликт; почему развитие и обобщение этого практического конфликта есть вместе с тем развитие и обобщение подлинного проникновения в сущность капиталистического механизма, а следовательно, и в подлинные условия общественного действия — речь идет здесь, конечно, не о «государственно разумном», а о «революционно разумном» действии, о «преобразующей практике», по выражению Маркса. Именно это непосредственно общественное и активное преобразование экономико-политических условий, на которых покоится весь механизм капиталистического строя, подготовит вместе с тем уничтожение и «отмирание» всех форм «обособления», «овеществления», «окостенения», «мистификации», всех этих категорий ложной видимости, и доведет этот разрушительный процесс до конца, заменив «механику» «естественных законов общества» свободной ассоциацией людей на базе одной лишь природной необходимости.

Конечно, для господ идеологов этот механизм их собственного общественного строя вообще остается, в конечном счете, книгой за семью печатями. В последней главе своей книги Мейнеке пытается дать себе отчет в природе этого механизма со своей «практической» точки зрения, т.-е. с точки зрения «государственного разума». Он дает общий очерк трех периодов развития буржуазного общества со времени возникновения капиталистического способа производства (он называет их периодами «образования абсолютизма»—до середины XVII века, «зрелого абсолютизма»—до французской революции, и «образования современных национальных государств»—до окончания деятельности Бисмарка). Он заявляет, — как будто совершенно правильно, — что практика государственного разума всегда зависела «от средств господства, доставляемых общественным, хозяйственным и техническим состоянием» [1]). Но понятно само собой, что он имеет здесь в виду не зависимость политической практики от общественных условий, а зависимость средств власти от самой власти, государственно-идеалистическое, «наполеонистское» превращение «общественных, хозяйственных и технических» сил в подчиненные орудия «высшей» политики. Поэтому у него и вопрос о войне и мире решается одним лишь государственным разумом, а реальные (и идейные) общественные условия служат частью простыми орудиями, частью же механической границей для «господства государственного разума». Не будем останавливаться на том, в какой форме проявляются у Мейнеке все эти силы и средства, как условия «государственно разумного действия», на протяжении рассматриваемых им периодов. Но характерно заключение этого исторического обзора — развитие «государственного разума» к моменту взрыва империалистической мировой войны.

Мейнеке пишет: Из «свободного развития всех исторических сил XIX века» «выросли» для государственного разума «те огромные средства власти, с которыми он мог добиться быстрой развязки в предстоявших ему войнах». А именно, «три могучие вспомогательные силы» оказались теперь «на службе» у политики крупных государств: «милитаризм, национа-

[1]) Там же, стр. 513.

лизм и капитализм—так называются эти три гиганта». Они подняли великие государства на небывалую высоту могущества и энергии, «но они же создали в конце концов искушения, которых не знал работавший с более скромным аппаратом власти государственный разум прежних времен». Кажущаяся безграничность средств власти — их «гипертрофия», как иногда выражается Мейнеке, т.-е., так сказать, государственно-политическое «перепроизводство», — стала для государственного разума «ещ роком» и т. д. и т. д. [1]). В конце концов «война в целом» и, далее, «страст и честолюбивые замыслы народов в связи с соблазнительными военны средствами» превратились в «демоническую силу», которая вырвал узду из рук государственного разума и т. д. [2]). «Милитаризм, национализ капитализм — ни одну из этих сил в отдельности нельзя считать повинно в разразившемся над нами несчастьи», ибо — «только благодаря их роко вой встрече» европейские великие державы «были сначала возведен на вершину могущества, а затем низринуты в бездну» [3]).

Мы в этом пункте можем быть кратки. Названные «три гиганта» — милитаризм, национализм, капитализм — превращаются, по словам самог Мейнеке, в трех демонов, и мы охотно верим, что святые от государственного разума точно так же не умеют изгонять демонов или хотя б только противиться их «искушениям», как не умел этого сделат святой Антоний. Мейнеке старается дать анализ экономико-политическо структуры, всеобщего механизма общества на последней стадии его разви тия, — но своей «триединой формулой» он только доказывает, что внут ренняя связь «исторических сил» остается для него тайной.

«Признавать природное, как данность, постоянно сознавать ее вседержительную и питающую темную основу, но в то же врем поднимать его до форм, почерпаемых человеческим духом из своей собствен ной автономной глубины; всегда помнить, что природное может кажду минуту прорваться наружу и разрушить достижения культуры, но всегд переживать при этом все новые откровения духа, — к этому и толь к этому привело нас изучение проблемы государственного разума, прослеже ной нами на протяжении столетий» [4]). Здесь мы уже слышим торжественну речь официальных первосвященников. Здесь мы подошли к концу «книг но вого завета», к «откровению Иоанна». Но во всех этих мистериях государственнической теологии отражается только фетишистский характер весь сухих и прозаических реальностей, составляющих подлинные условия подлинное содержание государственного действования.

В чем «глубочайшая тайна» всех этих «тайн», превращающих научно историка в апокалиптического пророка государства?

«Та специфическая экономическая форма, в которой неоплачен прибавочный труд высасывается из непосредственных потребителей, опреде ляет отношение господства и подчинения, как оно выр стает непосредственно из самого производства, и, в свою очередь, оказыва на последнее определяющее обратное действие. А на этом базирует вс структура экономического общества, вырастающего из самых отношений про изводства, и вместе с тем его специфическая экономиче ская структура. Непосредственное отношение соб ственников условий производства к непосредствен ным производителям — отношение, всякая данная форма которо каждый раз естественно соответствует определенной ступени развити

[1]) Там же, стр. 522.
[2]) Там же, стр. 527.
[3]) Там же, стр. 526.
[4]) Там же, стр. 522.

способа труда, а потому и общественной производительной силе последнего,— вот в чем мы всегда раскрываем самую глубокую тайну, сокровенную основу всего общественного строя, а следовательно, и политической формы отношений суверенитета и зависимости, короче, всякой данной специфической формы государства. Это не препятствует тому, что один и тот же экономический базис — один и тот же со стороны главных условий, — благодаря бесконечно различным эмпирическим обстоятельствам, естественным условиям, расовым отношениям, действующим извне историческим влияниям и т. д., может обнаружить в своем проявлении бесконечные вариации и градации, которые возможно понять лишь при помощи анализа этих эмпирически данных обстоятельств» [1]).

II.

> «Иногда может казаться неясным, какому лицу или какому собранию принадлежит верховная государственная власть; но сама эта власть существует и осуществляется всегда, кроме периодов восстания или гражданской войны, когда вместо одной верховной власти появляются две. Мятежники, восставшие против абсолютной власти, стремятся не столько упразднить ее, сколько передать ее другому; устранив эту власть, они тем самым уничтожили бы государство...».
>
> Гоббс, О гражданине (1642 г.).

Мы видели, что Мейнеке не разгадывает «глубочайшую тайну» государства, а склоняется перед ней именно как перед священной тайной. И если мистична идея государства, то столь же мистична идея «государственного разума», а равно — как мы сейчас увидим — и идея исторического развития.

Мы должны еще вкратце рассмотреть, как теоретическое санкционирование мистерий государственности сводится у Мейнеке к санкционированию данных на практике «отношений господства и подчинения», т.-е. «специфической государственной формы» современного буржуазного общества. Правда, вообще характерное (как говорит Ленин) для буржуазного общества противоречие между теорией и практикой Мейнеке прямо возводит на степень неразрешимого, вечного противоречия: «Vita contemplativa и vita activa (созерцательная и деятельная жизнь) суть вечные противоположности человеческого духовного склада вообще; вместе с тем они могут принимать определенный исторический облик» и т. д. [2]). Но это нисколько не мешает практическим интересам того или другого класса или общественного строя оказывать более или менее косвенное влияние на сущность теории, наполнять ее своим содержанием.

В своей книге о государственном разуме Мейнеке излагает на свой лад, исходя из истории политических теорий со времен Маккиавелли, связь между государственной практикой и государственной теорией. Он излагает ее в форме программы «нового» понимания истории. Ссылаясь на Э. Трельча, он прямо требует «самопро-

[1]) Маркс, Капитал, т. III, ч. 2, гл. 47.
[2]) Preussen und Deutschland, стр. 368, ср. стр. 367: «Высокой целью» историка является «чистое созерцание Ранке». Ср. Idee der Staatsraison, стр. 15: «История... стремится... исключительно к высокому идеалу чистого созерцания». Очень часто Мейнеке говорит о «тихом острове» научного созерцания. Но, с другой стороны, не угодно ли выслушать такое признание: «Почему не существует, по крайней мере, вполне опрятной теории государственной жизни, раз уж на практике она должна оставаться неопрятной?» (Idee и т. д., стр. 17).

верки историзма»; ибо «катастрофа мировой войны с ее последствиями толкает историческую мысль на новые пути» [1]).

Задача заключается, по его словам, в следующем: надо постигнуть «индивидуальные образования исторического человечества», но вместе с тем и «универсальное в них», «общие» законы их жизни и даже их «безвременную» сущность [2]). Учение о государственном разуме дает «ключ к исследованию государства и истории вообще. Ибо «идея государственного разума» и есть как раз некоторый «вечный», «высший», «универсальный» закон жизни», обязательный для всех общественных и государственных форм; в нем воплощается некая божественная или полубожественная сила, которая в ходе человеческой истории облекается здесь, на земле, все в новые формы (то в бисмарковскую, то в наполеоновскую,— то в маккиавеллистскую, то в платоновскую). «В истории мы не видим бога, а только угадываем его в облекающем его облаке. Но слишком много есть такого, в чем бог и дьявол срослись воедино. И таков прежде всего... государственный разум. Загадочный, властительным и соблазняющим оком смотрит он... в жизнь. Созерцание не устает глядеть в его лик сфинкса, но так и не может разгадать его до конца. Практическому же государственному деятелю оно может только посоветовать носить в своем сердце государство и бога одновременно, чтобы не дать разнуздаться... демону» [3]).

От этих фраз определенно пахнет старой государственнической теории господина Ранке, — но в то же время здесь есть и нечто «новое»: появляется «принцип сомнения». Историк, говорит Мейнеке, «то-и-дело оказывается в власти темных загадок жизни, становится жертвой странных проблематичных настроений. Часто он испытывает как бы головокружение и ищет, на что бы опереться на своем пути» [4]). С одной стороны, Мейнеке весьма решительно утверждает: «безвременным и общим является государственный эгоизм, инстинкт власти и самосохранения, государственный интерес»; «закон этого поведения остается и беспрестанно повторяется», даже при всякой революции «искра государственного разума перескакивает со старого на «вновь возникшее государство», «со старых на новых господ» [5]). Но не успели мы познакомиться с этим тезисом о вечной закономерности, как уже, с другой стороны, вторгается агностицистское сомнение. В самом ли деле,—спрашивает Мейнеке,—это лишь вечные под'емы и падения, или же здесь имеет место органическое развитие? В какой мере практическая политика вообще безвременна и в какой способна она изменяться и развиваться?» [6]).

Мейнеке сам говорит об «эвристическом орудии» сомнения. Известно, какую роль сыграло в развитии научной мысли критическое, толкающее вперед, «картезианское» сомнение; но сомнение современных идеологов совсем иного сорта, это есть сомнение верующего в своей вере, — верующего, который не веру побеждает сомнением, а, наоборот, сомнение преодолевает скептической верой, который превращает сомнение в «трагический» или «демонический» элемент самой веры. В результате у Мейнеке получается полу-позитивный, полу-агностицистский государственный идеализм; и то, к чему у него сводятся в конце концов «высшие задачи» историка, нельзя назвать ни чистым эмпиризмом, ни чистым умозрением.

[1]) Idee и т. д., стр. 532.
[2]) Там же, стр. 23.
[3]) Там же, стр. 542.
[4]) Там же, стр. 14.
[5]) Там же, стр. 20—21.
[6]) Там же, стр. 20—21.

В отличие от обычного историзма старой школы новейшая, философская форма историзма не может, думает Мейнеке, ограничиваться одним лишь «наглядным изображением» или описанием «однократных», «индивидуальных» исторических событий, т.-е. сухим пересказом исторических материалов. Свою «новую» программу Мейнеке формулирует в следующих словах: «Высшее, что способен дать историк, это — представить частные события исторического мира... в свете более высоких и универсальных сил, которые за ними действуют и в них проявляются, показать конкретное sub specie aeterni (с точки зрения вечности),— но окончательно определить само это высшее и вечное в его сущности и в его отношении к конкретной действительности он не в силах» [1]).

Здесь мы подошли к решающему пункту. Эти «высшие», «всеобщие» «безвременные», «универсальные» силы являются, в изложении Мейнеке, с одной стороны, положительными, реальными существами, обретающимися где-то «по ту сторону» истории, а с другой стороны, они сами по себе совершенно недоступны для научного понимания. Это — первая антиномия.

Благодаря своей положительной энергии и деятельности эти силы проявляются, правда, «по сю сторону», внутри исторического мира, — но и это их отношение к конкретной действительности, не может быть постигнуто наукой, во всяком случае не может быть определено «окончательно». Они сами не имеют осязательной формы: это — безобразные образы, отрицательные и в то же время положительные, неизменные и в то же время изменчивые, бессодержательные и в то же время наполненные содержанием «потенции» (употребляя выражение старого Шеллинга). Задача историка как раз и заключается, по Мейнеке, в нахождении «видимых нитей и переходов» между «вечными силами» и мирской суетой, отношений «между стихийным и идеальным» и т. д. [2]). Но «определить их окончательно он не в силах». «Конкретный» исторический материал можно сравнить, согласно этой теории, с «мертвым» материалом, которому «живой» художник сообщает своей работой «живой» образ, и художник этот не кто иной, как божественный демиург, — но сам демиург остается невидимым и непостижным, виден только оставляемый им след, печать его духа, налагаемая им на материал. Это — вторая антиномия.

Но эти «философские» противоречия принимают еще и третью форму — «методологическую». Мейнеке говорит: два «главных орудия» научного мышления, «логико-понятийный» и «эмпирико-дедуктивный метод», «обращаются в конечном счете друг против друга», потому что выводы «чистого логизма», могут быть взяты под сомнение опытом, а выводы «голого эмпиризма» — логическим (и гносеологическим) мышлением. Существует постоянный конфликт между «закономерной причинностью» или «механической связью» вещей и «творческой спонтанностью», идеальностью, индивидуальностью и т. д. Словом, орудия исторической науки проникают в «более мягкие слои» исторического материала, но «разбиваются о первозданный гранит вещей» и т. д., и т. д. [3]).

Если своеобразный, полу-метафизический, полу-«реалистический» агностицизм Мейнеке принципиально способен помешать первому же шагу на пути действительного исторического понимания, то, с другой стороны, традиционная историографическая техника фактически не позволяет историческому исследователю Мейнеке целиком пожертвовать прин-

[1]) Там же, стр. 10.
[2]) Там же, стр. 11.
[3]) Там же, стр. 10—11.

ципами науки или, по крайней мере, формальным притязанием на нау-
ное мышление [1]). Тезисы Мейнеке широко раскрывают дверь принц
пиально ненаучной интерпретации истории; и до известной ст
пени Мейнеке только формулирует то, что при всем различии оттенков у
существует, как некоторая программа, тенденция и «школа».

На наших глазах в немецкой исторической науке возникло целое т
чение, которое с более или менее торжественным пафосом отказ
вается от требования научного познания истины, об'являет ист
рическую действительность принципиально непознаваемой и заменяет те
ретическую реконструкцию действительной связи яв
ний на основании имеющихся материалов «творческим», «эстетическ
«художественным» «оформлением» — короче, построением леген
«Все бывшее только символ. Никакой исторический метод не позвол
нам — как в это слишком часто верил наивный исторический реализм X
века, — узреть самое действительность, какою она в самом деле была. Ист
рия никогда не дает реконструкции прошлого... От всего происходяще
остается в конце концов в качестве истории только... легенда» и т.
(Энрст Бертрам) [2]).

Представители этого направления идут лишь немногим дальше скеп
ческой точки зрения Мейнеке: там, где он еще не решается сделать посл
ние выводы, они уже готовы провозгласить апокалиптическ
историю совершившимся фактом. Где Мейнеке еще остается при по
ческом созерцании вечных потенций, они уже наполняют абстра
ные контуры этого логизма живыми, чувственно яркими красками пре
ставления и фантазии. Их можно назвать благочестивыми «
териалистами воображения». Они превращают «невидимые сил
потустороннего мира в величественных демиургов из плоти и крови
исторических богов, архангелов и героев (à la Фридрих II Гогенштауф
Наполеон и т. д., и т. д.). Подобно Мейнеке, они исходят из «критики» пе
тичного и мертвого историзма старой школы, не отказываясь в своей «
ной» практике от традиционной «техники». Если о старой, вульгар
форме «исторического метода» Маркс сказал, что она роет могил
подлинной науке, то от представителей этого нового, типично «к
ческого» историзма мы слышим только похоронный звон, только тор
ственные гимны и псалмы над свеже-засыпанной могилой науки.

На трех важнейших антиномиях, рассмотренных выше, основывае
принципиальный дуализм того исторического мировоззрения, предста
телем которого является Мейнеке. Рассмотрим теперь «философские»
зисы Мейнеке со стороны их «материального» содержания. Как мы уже с
хали, «высшее, что способен дать историк, это — представить часта
события исторического мира... в свете более высок
и универсальных сил». Иллюстрируем этот метод на одном п

[1]) Мы имеем здесь, конечно, в виду буржуазно-академическое понятие на
т.-е. науку в пределах идеологии.

[2]) E. Bertram, Nietzsche, Versuch einer Mythologie, 4-е изд., 1920 г., ст
«Она одна (легенда) соединяет святого с народом, героя с крестьянином». «Тол
как образ, только как миф продолжает она (великая историческая личность) жи
не как знание и познание бывшей действительности». Ср. между прочим Kurt
debrandt, Wagner und Nietzsche, 1924 г.: «Такой взгляд, обращенный на миф
ское, не противоречит историческому взгляду... Только поэт может дать фо
мифу, но наука должна взять духовную установку на существенное, вечное, м
ческое» (стр. 7). Это «мифологическое» или «легендарное» понимание истории х
терно для всех историков, тесно связанных с «кругом» поэта Стефана Геор
Сюда же следует до известной степени отнести и Гундольфа. Показательно
Дильтей незадолго до своей смерти прославлял будто бы точку зрения Гунд
фа, как разрешение тех противоречий, в которых он запутался под конец со с
релятивизмом.

мере. Мейнеке говорит: «Внутри государства государственный разум может оставаться в гармонии с правом и нравственностью..., потому что никакая другая сила не мешает в этом отношении государству. Это не всегда было так, это явилось лишь в результате исторического развития. Пока вся физическая сила еще не была сосредоточена в руках государственной власти..., эта последняя тоже испытывала соблазн и бывала даже, как ей казалось, вынуждена бороться за свое существование с помощью средств противоречащих праву и нравственности. И каждая революция, против которой ей приходится бороться, возобновляет и сейчас этот соблазн с тем только различием, что ему противодействует более тонкое нравственное чувство, а форма исключительных законов дает возможность легализировать те чрезвычайные средства воздействия, в которых государство нуждается в такие моменты» [1]).

Здесь нас интересует то, в каком «свете» «представляет» наш историк применение «чрезвычайных средств воздействия» против революции, т.-е. организованный государственный террор контрреволюции; нас интересует его указание на «различие» между «безнравственной» и «нравственной» формой одних и тех же избиений, убийств, расстрелов — на «более тонкое нравственное чувство», т.-е. на «форму исключительных законов». Мейнеке имеет в виду главным образом подавление спартаковских восстаний в 1918—1923 гг., когда «искра государственного разума по необходимости перескочила с монархии на республику» [2]). Параграф закона (в роде 48-й статьи новой германской конституции) обладает, — по теории Мейнеке, — чудесной способностью превращать «безнравственное» уничтожение людей, террор против рабочего восстания, в нечто «нравственное», «представлять» его, как результат действия «универсальных, вечных, всеобщих сил». Здесь перед нами, как на ладони, «чистая» теоретическая форма, законченное выражение легализма, — апологетический смысл, подлинное содержание современного буржуазного принципа легитимизма. «Безвременным и общим является государственный интерес, — изменчивы, однократны и индивидуальны конкретные государственные интересы, вытекающие для государства из его особенной структуры и положения

[1]) Там же, стр. 17. Однако вовне,—продолжает Мейнеке,—в отношении к другим государствам, такая «легализация» применения грубой силы невозможна; здесь царит стихия, «естественное состояние». Вспомним по этому поводу о других, гораздо более откровенных высказываниях Ранке, который применение силы в отношениях между государствами прямо признает «моральным», а применение революционного насилия внутри государств проклинает как нечто «ужасное».

[2]) Испытываешь соблазн начать «философствовать» à la Мейнеке, когда узнаешь, что эта «искра государственного разума» «перескочила» по тайному телеграфному проводу, связывавшему главную квартиру верховного командования с социал-демократом Эбертом и послужившему для направления войск против восставших рабочих. Вот что сообщает об этом императорский генерал Гренер в своем отчете о гренер-гинденбургском «союзе» с Эбертом: «Мы соединились для борьбы против большевизма... Нашей целью 10 ноября (1918 г.) было установление законной правительственной власти, поддержка этой власти с помощью военной силы и скорейший по возможности созыв Национального собрания... Первым делом мы снеслись вечером, между 11 и 1 часом, из главной квартиры с имперской канцелярией (т.-е. с Эбертом) по тайному проводу. Прежде всего нужно было вырвать в Берлине власть из рук рабочих и солдатских советов. Десять дивизий должны были войти в Берлин... Мы выработали программу, предусматривавшую очищение Берлина и разоружение спартаковцев» и т. д. (Речь Гренера на мюнхенском процессе об «ударе в спину», от 1925 г., по стенографическому отчету). Союз, о котором идет речь, служил, выражаясь языком Мейнеке, не какому-либо «однократному, конкретному государственному интересу», а «государственному интересу, как таковому»; он выполнял задание «государственного разума» —буржуазии.

среди других государств» [1]). Чуточку другими словами это значит: наивысш и самое важное для историка, это — «государственный интерес», интер государства, как такового, т.-е. существование государства вообще (для з щиты «легитимной» власти); для историка самое важное, чтобы государств все равно — монархическое или республиканское по форме, сохранил неизменным по своему содержанию, вопреки всем революциям, в преки всякой исторической смене «однократных», «конкретных» госуд ственных интересов, чтобы это государство существовало «безвремен «универсально», «вечно». В этом интерес историка — как теоретич ский, так и практический. Отсюда и «связь между идеей госуд ственного разума и современным историзмом», анализируемая в кн Мейнеке на основе обширных исторических исследований. «Государствен разумное действование было одною из сил, проложивших путь современно историзму» [2]).

Другой основной проблемой Мейнеке является «отношение полит к морали» [3]). Принципиальный «философский» дуализм обнаруживается, к мы уже видели, в сфере государственной практики, как дуализм насили нравственности, как вечный в принципе конфликт между политикой и м ралью. Несмотря на всю «кристаллизацию в более благородные форм конфликт этот остается вечным, столь же вечным, каким должно ос ваться само государство. И снова мы видим, что «государственная необ димость»... имеет одновременно этическую и стихийную сторону, что гос дарство есть амфибия, живущая в одно и то же время в этичес и в естественном мире» [4]).

Но, в действительности, за этой «трагической» двуликой маской философии таятся самые реальные, практические, общественные конфлик Классовые бои современного общества то-и-дело появляются гл вдали, как призраки, и повергают в тоску и сомнения философское соз ние идеолога. «Не окажется ли, — спрашивает, например, Мейнеке, — хозяйственная революция, превратившая аграрные страны в крупно-капи листические промышленные государства с их массами пролет риата, принесла в конце концов человечеству больше несчастья, счастья?» [5]).

И с мрачной миной наш автор восклицает: «Если бы давно уже п вившиеся «в лагере консервативной реакции» «критики современного раз тия могли только указать какой-нибудь способ для задержки удержимого и стихийного хода событий!» [6]). Укажите способ, — «ка

[1]) Idee и т. д., стр. 21.

[2]) Там же, стр. 23.

[3]) Там же, стр. 24.

[4]) Там же, стр. 20.

[5]) Книгу Мейнеке можно сравнить с палимпсестом, т.-е. с рукописью, перв чальный текст которой почти уничтожен и скрыт под позднейшими письмен удалите у Мейнеке это позднейшее «философское» наслоение, и наружу выст оригинальный текст. Чем ближе по времени писания Мейнеке к революцион массовым боям 1918—1919 гг., тем «оригинальнее» в этом смысле их содерж Возьмем, например, статьи, собранные в его книжке «Nach der Revolution»; там между прочим читаем: «Крупная промышленность в ее капиталистической ф ме неизбежно создает человеческие массы, которые чувствуют себя отрезан от благ человеческой жизни и возлагают все свои надежды на падение ст заковавшего их в цепи» (стр. 20). Ср. также стр. 121: «Цезаризм оказыва часто... печальным, но единственным средством спасения» в эпохи потрясения б жуазной государственной власти.

[6]) Idee и т. д., стр. 521: «Они (консервативные критики) были бесс правы в том, что умеренно индустриализованное аграрное государство с арис кратической структурой общества создавало более благоприятные условия развития духовной культуры, чем крупно-капиталистическое и демократизиро ное индустриальное государство». Это поистине крик души настоящего совре ного «демократа».

нибудь способ»! «Несчастье» растет, — оно растет вместе с ростом и крупнопромышленной выучкой «масс пролетариата»! «Все, чем обогатилось современное государство, под последовательным влиянием либеральных, демократических, национальных и социальных сил и идей..., все это обернулось своей изнанкой и поставило государственный разум перед лицом таких стихий, которыми он уже не в состоянии овладеть вполне» [1]). Здесь не высказано прямо, что этими уже необоримыми силами являются пролетариат и пролетарская революция. После опыта мировой войны Мейнеке боится столкновения между самими крупно-капиталистическими государствами с их гигантским военным аппаратом, — но он боится этого столкновения только потому, что оно ставит в порядок дня превращение империалистической войны в гражданскую [2]). «Так... система современных европейских государств, система всегда до сих пор восстанавливавшегося равновесия между свободными, самостоятельными, чувствовавшими себя одной большой семьей государствами, рискует погибнуть. Это было бы концом исторической роли старой Европы и в самом деле гибелью всей западной (читай: буржуазной) культуры». Да, «исторический мир погружен в более глубокую тьму, и характер его дальнейшего развития более сомнителен и опасен», чем это представлялось оптимистически настроенному Ранке [3]). Теоретический поборник буржуазной демократии боится «изнанки» этой формальной, политической демократии, ибо он чувствует, что она является для пролетариата наиболее благоприятной почвой для окончательного боевого разрешения классового конфликта, — и лишь эту свою боязнь невольно высказывает он, когда, бросая печальный взгляд в прошлое, заявляет, что «облагороженного и подлинно мудрого государственного разума» «легче было добиться в издревле устроенной монархии», чем в «обуреваемых страстями масс демократиях современности» [4]). Но нет пути назад, нет возврата к прошлому; исторический ход событий «неудержим и стихиен». Государственный разум переживает поэтому «чрезвычайно тяжкий кризис» [5]). Наступают сумерки кумиров буржуазного государства, того государства, которое должно было быть «вечным», «универсальным», «неизменным»! Вопли Кассандры!

Мы слышали торжественные речи первосвященника государственного разума в храме истории. Мы видели фетишистские иконы идеологии — мифических полубогов, основывающих государства, богов и дьяволов, «сросшихся воедино», наподобие сиамских близнецов, государственных амфибий и само «вечное» государство. Но под конец идеологические призраки исчезли, и на сцену выступили реальные силы действительности — борющиеся классы. Стоит только заменить «иероглифическое» название «государственного разума» или «государственных интересов» прозаическим выражением «классовый интерес буржуазии», — и все эти великие загадки будут тотчас же разрешены.

[1]) Там же, стр. 529.

[2]) «Nach der Revolution», стр. 32: «К тому же эта война дала, и современная война дает вообще, такое огромное политическое преобладание массам, как никогда прежде...». Стр. 8: «Большевизм, идеология разрушения и хаоса, стучится в ворота Германии...».

[3]) Idee и т. д., стр. 529 — 530. Ранке в самом деле не уставал прославлять «гений Запада» — этот гений, «который создает из народов стройные армии, который строит дороги, проводит каналы, покрывает моря флотами и превращает их в свою собственность, который наполняет колониями отдаленные контингенты, который занял все области человеческого знания и постоянно обновляет их с неутомимой энергией...».

[4]) Там же, стр. 537.

[5]) Там же стр. 529.

Труд в теории стоимости[1]).

(К изучению методологии Маркса).

А. Сагацкий

Введение.

В современных спорах вокруг работ И. И. Рубина все ярче и ярче выступают на передний план методологические вопросы. Эти споры все более напоминают борьбу, происходящую между диалектиками и механистами на философском фронте, с тем лишь отличием, что в экономии еще не произошло четкого разграничения участников дискуссии на такие два лагеря, как это было в философской дискуссии. Правда, фронт механистов довольно единодушен в своих взглядах, но противники их еще недостаточно столковались по отдельным вопросам ,и это затрудняет борьбу с механистами.

Каждый высказывающийся в данный момент по вопросам, соприкасающимся с дискуссией, должен ясно определить свою позицию в разгоревшихся спорах. Пишущий эти строки свое отношение определяет, коротко говоря, следующим образом. Если И. Рубина следует критиковать за недостаточное овладение материалистической диалектикой (мы берем взгляды И. И. Рубина, как они даны в его последних работах), то безусловных противников его — за антидиалектичность.

В чем сказалась в некоторой мере механистичность И. Рубина, об этом речь пойдет ниже. У безусловных же и абсолютных противников его механистичность выступает не только в виде частных ошибок, а как определенная теоретическая линия. Они признают единство производительных сил и производственных отношений, но у них оно получается в виде какой-то смеси, в которой они и сами-то не могут различить указанных двух категорий. Именно отсюда вытекает требование «равенства» производительных сил и производственных отношений в политэкономии. Именно поэтому они не могут разграничить предмет политической экономии от об'екта технологии. Они считают, что абстрактный труд есть физиологическая затрата, но этот труд у них превращается, условно выражаясь, в логическую категорию. Отсюда вытекает путаница в отношении понимания стоимости, которая у одних превращена в материальную основу хозяйства, у других отождествляется с трудом, у третьих, менее последовательных, стоимость выступает специфически исторической категорией, но они никак не могут ее связать с трудом. Между стоимостью и трудом получается непроходимая пропасть.

Механисты отрывают качество от количества, когда считают, что абстрактный труд существует во всех общественных формациях, а обществен-

[1]) Эта работа в несколько сокращенном виде прочитана была на двух заседаниях (23 января и 6 февраля 1929 г.) методологической группы полит. экон. Ленингр. Н.-И. Института Марксизма. Цит. «Капитал» Маркса, том. I, по изд. 1920, том II—1918 г., том III, часть 1—1922 г., том III, часть 2—1923 г.; «Теории приб.» по изд. Ленингр. Комм. Унив., «К критике», по изд. «Моск. Раб.», 1923 г.

но-необходимый труд — специфический труд товарного хозяйства или количественную характеристику труда относят к материальному содержанию труда, а качественную—к специфически-социальному. Механистичность сказывается и в их толковании субстанции и формы стоимости. Они либо отождествляют субстанцию стоимости со стоимостью, либо отрывают их друг от друга (субстанция — абстрактный труд как логическая категория, стоимость—историческая категория). Либо отождествляют меновую стоимость и стоимость, либо так их различают, что связь между ними теряется.

Значение этих двух лагерей (И. И. Рубина и абсолютно отрицающих его взгляды) для дальнейшего развития и углубленного понимания Маркса, однако, совершенно различно. Безусловные противники И. Рубина могут сыграть положительную роль лишь как застрельщики в критике отдельных положений И. Рубина. Но абсолютно-отрицательное отношение к работам последнего не дает им возможности, если они последовательны, преодолеть И. Рубина положительным решением спорных проблем. В этом отношении механисты в самом лучшем случае топчутся на месте.

А что касается того, что нам еще много осталось сделать для того, чтобы как следует понять Маркса, хотя бы его теорию стоимости, вряд ли кто сомневается. Недаром в 1914 г. тов. Ленин писал в своих конспектах «Науки логики» Гегеля: «Нельзя вполне понять «Капитала» Маркса и особенно его 1-й главы, не проштудировав и не поняв всей логики Гегеля. Следовательно, никто из марксистов не понял Маркса полвека спустя...» (Ленин. Сб. IX, стр. 199). С тех пор, как написаны эти слова, не во многом дело изменилось в теоретической области. Необходимость же в углубленном понимании Маркса чувствуется и прямо-таки выпирает из нашей практики. В частности, насколько мало еще мы успели в этой области, можно судить хотя бы по тому, как у нас далеко еще несовершенна теория регулятора советского хозяйства. А эту проблему без углубленного понимания, прежде всего, теории стоимости Маркса решить невозможно.

Было бы претенциозно думать, что задача, поставленная Лениным, нами решена. Это не под силу не только одному экономисту, но и, как нам кажется, при данных условиях многим экономистам. Нужна помощь со стороны философов и социологов и, прежде всего, в отношении разработки ими вопросов, входящих в непосредственную их компетенцию. Все же льстим себя надеждой, что небольшой шаг вперед в предлагаемой работе сделан.

I. Форма и содержание. Их единство.

К. Маркс в своем экономическом учении различает две стороны процесса производства: 1) материальное содержание его, отношение человека к природе, 2) общественную форму, под которой он разумеет совокупность производственных отношений между людьми[1]). Именно в этом смысле Марксом употребляются термины «форма» и «содержание» в следующих местах: «Поскольку процесс труда есть только процесс между человеком и природой, его простые элементы общи всем формам общественного развития»[2]). «Процесс труда, как мы изобразили его в простых абстрактных его моментах, есть целесообразная деятельность для созидания потребительных стоимостей, присвоение данного природой для человеческих потребностей, общее условие обмена веществ между человеком и природой, вечное естественное условие человеческой жизни, и потому он независим от какой бы то ни было формы этой жизни, а, напротив, одинаково общ всем ее обще-

[1]) Процесс труда сам по себе как отношение человека к природе имеет технические формы, которые здесь нас не интересуют.

[2]) К. III, ч. 2, стр. 422.

ственным формам» [1]). «Капиталистический процесс производства есть исторически определенная форма общественного процесса производства вообще. Этот последний есть одновременно и процесс производства материальных условий человеческой жизни, и протекающий в специфических историко-экономических отношениях производства процесс производства и воспроизводства самих этих отношений производства, а следовательно, и носителей этого процесса, материальных условий их существования и взаимных их отношений, т.-е. определенной общественно-экономической формы последних. Потому что совокупность этих отношений, в которых носители этого производства находятся к природе и друг к другу, отношений, при которых они производят, эта совокупность и есть общество, рассматриваемое с точки зрения его экономической структуры» [2]). «Капиталистический способ производства, как и всякий другой, непрерывно воспроизводит не только материальный продукт, но и общественно-экономические отношения, экономически определенные формы его образования» [3]). «Потребительные стоимости образуют вещественное содержание богатства, какова бы ни была его общественная форма» [4]). Плеханов в статье против П. Струве формулирует это следующим образом: «Производительное воздействие общественного человека на природу и совершающийся в процессе этого воздействия рост производительных сил, это — содержание; экономическая структура общества, его имущественные отношения, это — форма, порожденная данным содержанием (данной ступенью «развития материального производства») и отвергаемая, вследствие дальнейшего развития того же содержания» [5]).

Однако у Маркса имеется и другое противопоставление этих категорий, когда под содержанием разумеются производственные отношения данной экономической формации (экономическое содержание), под формой же — формы этих общественных отношений. В этом смысле Маркс говорит о содержании стоимости, о чем у нас будет итти речь ниже, о «содержании относительной формы стоимости» [6]), о возрастании стоимости, как «об'ективном содержании» обращения Д—Т—Д′ [7]). «Постоянная купля и продажа рабочей силы есть форма. Содержание же заключается в том, что капиталист часть уже овеществленного чужого труда, постоянно присваемого и без эквивалента, снова и снова обменивает на большое количество живого чужого труда [8]).

Итак, мы имеем следующие элементы процесса производства: 1) отношение человека к природе или материальное содержание; 2) общественную форму его, характеризующую социально-экономическое содержание, строение производственных отношений людей; 3) вырастающие из данных производственных отношений их формы проявления. В первом случае развитие формы отражает более или менее крупные этапы развития производительных сил, находящих свое выражение в различных экономических структурах (феодализм, капитализм, коммунизм) общества; во втором—отдельные стороны или различные стадии развития данной экономической структуры.

Все эти моменты тесно связаны между собой, представляя единство формы и содержания и в том и в другом смысле, а также отдельных элементов, на которые они распадаются. Средства производства и рабочая сила как элементы материального содержания труда, становятся производительными силами не каждый в отдельности, а в своей совокупности как система. Но взятые вне производственных отношений они не составляют системы, хотя и содержат возможность ее. Система создается производственными отношениями, как социальной формой производительных сил. «Каковы бы ни были общественные формы производства, рабочие и средства производства всегда остаются его факторами. Но, находясь в состоянии отделения одни от других, и те и другие являются его факторами лишь в возможности. Для того, чтобы вообще производить, они должны соединиться. Тот особый характер и способ, каким осуществляется это соединение, различает отдельные экономические эпохи социальной структуры» [1]). Характер и способ соединения средств производства и рабочей силы представляют собой не только их техническое отношение, но и общественное отношение непосредственного производителя, прежде всего, к собственнику средств производства. Соединение средств производства и рабочей силы — есть: «1) распределение орудий производства и 2) что представляет собою дальнейшее определение того же отношения,— распределение членов общества по различным родам производства (подведение индивидов под определенные производственные отношения). Распределение продукта есть, очевидно, результат этого распределения, которое включено в самый процесс производства и которое обуславливает организацию этого последнего» [2]).

Вопреки некоторым авторам [3]) в характер и способ соединения рабочей силы и средств производства мы включаем и распределение средств производства, или, выражаясь иначе, имущественные отношения. В рабовладельческом строе имело место «соединение перед своим разложением такую форму, что сам рабочий принадлежал в качестве средства производства к числу других средств производства» [4]). При ремесленном способе производства или свободной крестьянской собственности необходимым условием и моментом соединения отдельных элементов производительных сил является собственность непосредственного производителя на средства производства [5]). Сложнее дело обстоит с социальным распределением средств производства, как моментом сочетания с ними рабочей силы при капиталистическом способе производства, когда «масса народа, рабочие, как неимущие, противостоят неработающим, как имущим, как собственникам средств производства» (К. II, стр. 9).

С точки зрения капиталиста соединение вещественных и личных факторов производства происходит тогда, когда он путем покупки рабочей силы превращает ее в составную часть капитала.

«С точки зрения рабочего: производительное функционирование его рабочей силы возможно лишь с того момента, когда она вследствие ее продажи приводится к соединению с средствами производства, следовательно, до продажи она существует обособленной от средств производства, от вещественных условий ее проявления» [6]). Следовательно, акт покупки-продажи рабочей силы соединяет в капиталистическом обществе рабочую силу со сред-

[1]) К. I, стр. 160.
[2]) К. III, ч. 2, стр. 355—356.
[3]) К. III, ч. 2, стр. 410.
[4]) К. I, стр. 2.
[5]) Соч., т. XI, стр. 180. Разрядка автора.
[6]) К. I, стр. 17.
[7]) К. I, стр. 127.
[8]) К. I, стр. 592. Подчеркнуто мною.

[1]) К., т. II, стр. 13. Разрядка моя. *А. С.*
[2]) Маркс, Введение к критике... Сб. «Основные проблемы» под ред. Ш. Дволайцкого и И. Рубина.
[3]) См. напр., С. А. Оранский («Основные вопросы марксистской социологии», т. I, изд. «Прибой», 1929 г., стр. 165):
«Можно сказать, что всякий способ производства характеризуется двумя основными признаками: 1) известным распределением средств производства и 2) теми отношениями, через посредство которых осуществляется соединение производительных сил (рабочей силы и средств производства)». Первое, по мнению автора, не входит как момент во второе.
[4]) К., т. II, стр. 9.
[5]) Там же. См. также К. III, ч. 2, «О парцеллярной собственности».
[6]) К. II, стр. 17.

ствами производства. Однако было бы неправильно только эту внешнюю форму соединения отождествить с типом его. В данном случае капиталист и рабочий выступают в роли покупателя и продавца рабочей силы потому, что первый является владельцем средств производства, второй же, не имея их, собственником рабочей силы. В отношениях капиталистов и рабочих как покупателей и продавцов выражается, проявляется, реализуется специфическая форма распределения средств производства. «Итак, сущность дела, лежащая в основе акта Д—Т$<^{Р}_{Сп}$, есть распределение, не распределение в обычном смысле распределение средств потребления, а распределение элементов самого производства, при чем вещественные элементы концентрируются на одной стороне, рабочая же сила, изолированная от них,—на другой» [1]). «Отделение свободного рабочего от его средств производства есть наперед данный исходный пункт» [2]) их соединения. Капиталистическая частная собственность является не только предпосылкой, предварительным условием, определяющим моментом, стоящим где-то вне типа сочетания рабочей силы со средствами производства, а включается в него. Возможность определенного характера этого соединения уже заключена в распределении средств производства. Последнее представляет собой внутренний определяющий момент самого соединения. Внешне же это выражается при капиталистическом строе в акте покупки-продажи рабочей силы. Рост производительных сил достигает такой ступени развития, что социальное раз'единение рабочей силы и средств производства является необходимым моментом их соединения, и это отделение их друг от друга и уничтожается и тогда, когда акт покупки-продажи рабочей силы уже произошел и рабочая сила в соединении со средствами производства начинает функционировать, в результате чего мы имеем воспроизводство отношений между капиталистами и рабочими, как специфического для данной исторической ступени развития способа сочетания рабочей силы со средствами производства.

Одна из характернейших черт капитализма заключается в том, что соединение отдельных элементов производительных сил есть в то же время социальное отделение от непосредственного производителя собственности на средства производства. Это имело место также, напр., при феодальном строе, когда часть средств производства (земля) не принадлежала крестьянину. Но, в отличие от феодального способа производства, при капитализме полное отделение от всех средств производства характеризует свойственный ему способ и характер сочетания рабочей силы со средствами производства.

Тип производственных отношений является способом создания единства: 1) элементов материального содержания (средств производства и рабочей силы); 2) формы и содержания процесса производства.

Это единство достигается, как мы уже видели, различно на отдельных исторических этапах развития общества, отличая одну экономическую структуру от других. Напр., при феодальном способе производства общественной формой материального процесса производства являются отношения эксплоатации крестьянина со стороны феодала. Сама же эта эксплоатация, составляющая основное в социальном содержании данной экономической структуры, может производиться и исторически происходит в различных формах: барщина, натуральный оброк, денежный оброк и пр. Последние — это разные формы экономических отношений, соответствующие различным ступеням развития феодальной эксплоатации. Связывание материальных и социальных элементов процесса производства достигается здесь, во-пер-

[1]) К. II, стр. 9. Разрядка моя. *А. С.*
[2]) К. II, стр. 13. Разрядка моя. *А. С.*

вых, в силу естественной необходимости для крестьянина работать на себя и воспроизводить «фонд средств существования или рабочий фонд» (Маркс); во-вторых, внешним принуждением крестьянина со стороны феодала-собственника земли. В феодальный период также, как и «во всех формах, при которых непосредственный рабочий остается «владельцем» средств производства и условий труда, необходимых для производства средств его собственного существования, отношение собственности необходимо будет выступать как непосредственное отношение господства и подчинения, следовательно, непосредственный производитель—как не свободный: несвобода, которая от крепостничества с барщинным трудом может смягчаться до простого оброчного обязательства» [1]). Здесь «необходимы отношения личной зависимости, личная несвобода в какой бы то ни было степени и прикрепление к земле в качестве придатка последней, принадлежность в настоящем смысле слова» [2]). Личная зависимость скрепляет крестьянина с феодалом, рабочую силу крестьянина со средствами производства, принадлежащими феодалу. Это и создает единство формы и содержания (и в том и другом смысле) в феодальный период.

В будущем коммунистическом обществе единство материальных и социальных элементов труда будет достигаться через плановую сознательную связь людей друг с другом, имеющей в своей основе владение всем обществом средствами производства, и этим путем приспособления производственных отношений к производительным силам.

Феодальный строй и коммунистическое общество, несмотря на свое резкое различие в способах установления указанного единства, имеют все же общее, заключающееся в том, что и там и здесь люди устанавливают отношение друг к другу планомерно. Отношения человека к природе и отношения между людьми ясно различаются одно от другого и это понятно и для самих участников производства.

Принципиально иное мы имеем в товарном хозяйстве. В последнем соотношение между формой и содержанием процесса производства как бы перевертывается. Простой процесс труда не только остается попрежнему, как и во всех формациях, материальным содержанием способа производства, но элементы его еще становятся носителями социально-производственных отношений. Вещи оживают и начинают играть роль не только материально-техническую, но и специфически-общественную. Происходит «персонификация вещей» [3]), «олицетворение материальных основ производства» [4]). Как бы навстречу этому мы наблюдаем и другой процесс. Общественные отношения выступают уже не как непосредственное отношение людей друг к другу, а как отношение одной вещи к другим вещам. Если в других общественных формациях члены общества господствуют над вещами, то в товарном хозяйстве сами-то люди кажутся придатком вещей, лишь представителями вещей. Получается «овеществление отношений производства» [5]). «Отношения производства об'ективируются и приобретают самостоятельное по отношению к агентам производства существование» [6]). Вещи выполняют не только материально-технические функции, но и специфически-социальные, в силу чего они приобретают социальную форму, а производственные отношения «вещную форму» [7]). В результате же всего этого мы имеем «непосредственное сраще-

[1]) К. III, ч. 2, стр. 326. Разрядка моя. *А. С.*
[2]) Там же, стр. 327. Разрядка моя. *А. С.*
[3]) К. III, ч. 2, стр. 368.
[4]) Там же, стр. 419.
[5]) Там же, стр. 368.
[6]) Там же, стр. 368—369.
[7]) И. Рубин. Очерки по теории стоимости Маркса, ГИЗ, изд. 3-е, гл. I—V.

ние материальных отношений производства с их исторически-общественной формой» [1]). В этом заключается одна из отличительных черт производственных отношений между людьми и создания единства материального содержания процесса труда с его общественной формой в товарном хозяйстве. Помимо сознания людей, стихийно создается единство общества в его борьбе с природой.

Подчеркивая большое значение товарного фетишизма в установлении единства материального содержания процесса труда с его общественной формой, однако, мы не можем свести только к этому ту связь, которая имеется в товарном хозяйстве между указанными двумя моментами общественного процесса производства. По этой линии, нам представляется, проходят ошибки И. Рубина [2]), имеющие своим исходным пунктом следующее его положение: «Вообще связь между вещами и общественными отношениями людей в высшей степени сложна и многообразна. Так, например, касаясь только явлений, имеющих близкое отношение к нашей теме, мы можем заметить: 1) в экономической сфере различных общественных формаций — причинную зависимость производственных отношений людей от распределения между ними вещей (зависимость производственных отношений от состояния и распределения производительных сил); 2) в экономической сфере товарно-капиталистического хозяйства—реализацию производственных отношений людей через посредство вещей, их «сращение» (товарный фетишизм в точном смысле слова); 3) в различных сферах различных общественных формаций — символизацию отношений людей к вещам (общая социальная символизация или фетишизация общественных отношений людей). Мы изучаем здесь только второе явление, товарный фетишизм в точном смысле слова и считаем необходимым резко отличать его как от первого явления (смешение их заметно в книге Н. Бухарина, Исторический материализм, 1922 г., стр. 161—162), так и от последнего (смешением их страдает учение о фетишизме А. Богданова)» [3]).

Проводя различие между этими явлениями, И. Рубин, с одной стороны, неправильно ограничивает об'ект политической экономии только явлениями под второй рубрикой, с другой, не устанавливает, а даже разрывает связь между явлениями товарного фетишизма и причинной зависимостью от производительных сил производственных отношений. Если мы ограничимся явлениями товарного фетишизма вне связи их с движением производительных сил, материальным содержанием производственных отношений, то в самом лучшем случае нам удастся открыть под той или иной фетишистской категорией те или иные производственные отношения — и это в самом лучшем случае. Ответы же на вопросы, почему в определенное время возникают такие-то производственные отношения и соответствующие им категории, почему происходит переход и перерастание одной категории в другую, короче говоря, законы развития товарного хозяйства нам не будут даны. Выведение одной категории из другой будет производиться чисто-формальным путем, связь между ними будет установлена лишь внешняя, а не внут-

[1]) К. III, ч. 2, стр. 368.

[2]) С. А. Бессонов, Против выхолащивания марксизма, статья в журн. «Проблемы Экономики» № 1, 1929 г.

[3]) «Очерки», изд. 3-е, стр. 40, примечание. Разрядка, за исключением последних, автора. И. Рубин обижается на своих критиков («ПЗМ» № 4, 1929 г., стр. 9), дескать, где он говорит «не только», там критики приписывают ему «только». Мы намеренно подчеркнули в тексте «только». *А. С.*

[4]) «Но где же создается сама социальная форма? Откуда она возникает, под воздействием чего развивается? На эти вопросы концепция Рубина ответа не дает и дать по сути дела не может. Социальная форма, оторванная Рубиным от материального производства и перенесенная им в особую науку, оказывается висящей в воздухе, развивающейся сама из себя, без всякой связи с материальным производством» (С. А. Бессонов, указ. статья, стр. 137).

ренняя. А ведь к этому результату приводит методология И. Рубина, согласно которой производительные силы представляют собой лишь предпосылку экономического исследования [1]).

Для нас бесспорным является утверждение, что политическая экономия изучает производственные отношения товарно-капиталистического общества. Однако это не говорит о том, что производительные силы входят в поле нашего зрения только в качестве предпосылки, условия [2]). При такой трактовке об'екта исследования теряется отличие марксистов от экономистов в роде Аммона, Петри и др., рассматривающих производственные отношения в роли чистой формы, без материального содержания. Марксизм же, изучая производственные отношения, считает их формой производительных сил. Последние становятся не только предпосылкой, но и материальным содержанием социально-производственных отношений. Как содержание этих отношений, производительные силы входят в об'ект исследования политической экономии. Сами по себе, взятые отдельно, они не интересуют нас. Конкретные технические формы орудий труда вообще, машин и пр. являются предметом изучения технологии, или, если хотите, науки об общественной технике. Изучая же производственные отношения, как социальные формы производительных сил, политическая экономия рассматривает последние в качестве содержания и в то же время причины первых. В последнем случае производственные отношения включают в себя производительные силы в их снятом виде. «В снятом виде», — в том смысле, что при изучении производственных отношений производительные силы берутся не в их конкретной, определенной технической форме.

Непониманием именно этого положения об'ясняется требование, которое было пред'явлено на одном из диспутов, указать на конкретные орудия труда, приводящие к перерастанию одной категории в другую. Между тем, как из нашего положения, что производительные силы изучаются экономической наукой не сами по себе, а в роли содержания производственных отношений, ни в коем случае не вытекает выполнение указанного требования.

Для пояснения своей мысли приведем несколько примеров. Так, напр., при теоретическом изучении перехода от отношений простых товаропроизводителей к формам подчинения их торговому капиталу, нам нет надобности рассматривать конкретные технические формы производительных сил, достаточно констатировать, что рост мелкого производства, сначала рассчитанного на мелкий местный рынок, приводит к расширению рынка, требующего крупного сбыта. «И вот мелкий характер производства оказывается в непримиримом противоречии с необходимостью крупного сбыта» [3]). Это противоречие находит свое разрешение в подчинении простого товаропроизводителя торговым капиталом. Дальнейшее расширение рынка на основе крупного сбыта вызывает необходимость в повышении производительности труда, а мелкое производство препятствует росту производительных сил, что приводит к перерастанию домашне-капиталистической промышленности в мануфактуру, которая «с точки зрения самого способа производства... в начале ее развития едва ли отличается от цеховой ремесленной промышленности чем-либо иным, кроме большего количества рабочих, одновременно занятых одним и тем же капиталом. Мастерская цехового мастера лишь расширяет свои размеры. Итак, сначала разница чисто-количественная» [4]). По-

[1]) «Очерки», изд. 3-е, стр. 10, 11, 51, 52.

[2]) Правильно говорит Гр. Деборин («Под Знам. Маркс.», № 4, 1929 г., стр. 120), что «общественная форма производства может быть, в целях исследования, в известных пределах абстрагирована от материально-технической стороны (подчеркнуто мною. *А. С.*), но в каких пределах? — в этом заключается сущность спора.

[3]) Ленин, т. III, стр. 290, изд. 1-е.

[4]) К. I, стр. 309—310.

том происходит в результате мануфактурного разделения труда качестве ное изменение производительных сил, появляется частичный рабочий, к ве ствию которого приспособляется и орудие труда. Мануфактурное разде ние труда, упрощая трудовые операции, приводит в конце концов к то что эти операции передаются мертвому инструменту, машине. Последняя п рождает фабрику, как особую стадию в развитии капиталистических от шений. Последующее развитие машинного производства, находящее с выражение в повышении органического состава капитала, в увеличении осн ного капитала, масштаба производства, концентрации производства и ка тала и т. д. на определенной ступени количественных изменений создает п пятствия к уравнению нормы прибыли, приводящие к новой, монополисти ской стадии капитализма, в рамках которой происходят такие качествен изменения в производительных силах (электрификация, стандартизация пр изводства, конвейер и пр.) [1]). что требуется уже переход к новому, соц листическому способу производства.

Возможно ли понять кратко-описанное нами развитие капитали без привлечения в наше исследование роста производительных сил? Очеви нет. Но это не значит, что политическая экономия превращается в тех логию или, скажем в угоду И. Рубину, в науку об общественной техн Вопросы, подлежащие изучению технологии, нами не разрешены; техн ские формы ремесленных средств производства, различные системы паро машин в той или иной отрасли производства, техническая сторона элект фикации, конкретная эволюция сохи, плуга и пр. могут, конечно, нами п влекаться при экономическом исследовании в качестве предпосылок, из страций, но не как об'ект нашего изучения. В роли последнего произво тельные силы выступают в виде содержания производственных отноше а с этой стороны важен учет количественного роста и принципиально чественного изменения их (ремесленное орудие и его рабочая сила, част ный рабочий и частичное орудие труда, машина и соответствующая квалификация рабочей силы, электрификация, конвейер и тип рабо силы), но не их конкретных технических форм, тем более в той или и отрасли производства. Производительные силы включаются как содержа в производственные отношения, а, следовательно, становятся об'ектом т ретико-экономического исследования в своей абстрактной материалы форме (При конкретном исследовании в это положение необходимо вне поправку). Отсюда становится понятным, почему, напр., Маркс «с эконо ческой точки зрения» дает определение машины в отличие от ручного струмента, изучает простой процесс труда.

Таким образом, изучая производственные отношения товарного зяйства, мы неизбежно сталкиваемся с характерным для него способом о дания единства материального содержания процесса производства и специфически-общественной формы не только в фетишистских, вещных ф мах (стоимость, меновая стоимость, деньги и пр.), но и в их социальном держании, т.-е. в самих производительных отношениях, представляющ собою форму развития производительных сил. Именно поэтому, говор специфическом для товарного хозяйства способе сочетания материаль и социальных элементов труда, мы не можем ограничиться рассмотрен только фетишистских форм вещей и производственных отношений.

После этих предварительных замечаний переходим к постановке в роса о содержании стоимости.

---

[1]) См. интересную статью тов. Я. Берзтыса, Очерки по теории советск хозяйства, статья II: Диалектика развития производительных сил, «Под Знам Маркс.» № 1, 1928 г.

II. Постановка вопроса о содержании стоимости.

«У Маркса в «Капитале» сначала анализируется самое простое, обычное, основное, самое массовидное, самое обыденное, миллиарды раз встречающееся отношение буржуазного товарного общества: обмен товаров» [1]). Маркс начинает анализ с такой категории, в которой уже представлено единство взаимоотношений человека к природе и людей друг к другу в товарном хозяйстве. Первая сторона процесса труда дана здесь в потребительной стоимости, вторая—в меновой стоимости. Правда, сначала это единство представляется внешним. Между потребительной и меновой стоимостью внутренняя связь еще не установлена. Они пока выступают равнодушно, как два самостоятельных свойства товаров. Далее, после определения потребительной стоимости, Маркс переходит к меновой стоимости, которая представляется, прежде всего, во-первых, в виде количественного, случайного соотношения обмениваемых потребительных стоимостей, во-вторых, в виде различных обмениваемых вещей.

Но Маркс не ограничивается этим поверхностным представлением о меновой стоимости и ее связи с потребительной стоимостью, согласно которому (представлению) «внутренняя для товара, имманентная меновая стоимость (valeur intrinséque) представляет, повидимому, бессмыслицу [2]). Он приходит к выводу о необходимости за случайными, на первый взгляд, меновыми пропорциями и различными товарами, как меновыми стоимостями, найти «содержание, отличное от этих предметов» [3]). Маркс отвлекается от свойств предметов как потребительных стоимостей и рассматривает то, что является общим для них с точки зрения социальной, а «то общее, что выражается в меновом отношении или меновой стоимости товара, и есть его стоимость» [4]).

Таким образом, за видимостью (меновой стоимостью) установлена абстракная общественная форма бытия товара (стоимость) [5]) и вместе с тем поставлена задача раскрытия заключающегося в ней содержания, не материального, а социального содержания. Маркс поставил своей задачей изучить те производственные отношения, которые скрыты за всеобщей, наиболее простой, абстрактной общественной формой. Поставлена задача изучить производственные отношения товаропроизводителей.

Для того, чтобы понять решение этой задачи, необходимо уяснить, как она была поставлена перед Марксом предшествующим развитием экономической мысли. С этой целью мы коротко остановимся на связи учения Маркса о стоимости с теорией классиков.

С. Булгаков, еще будучи марксистом, в своей статье «О некоторых основных понятиях политической экономии» [6]) писал: «...В Марксовом анализе ценности, как сторонниками, так и противниками учения Маркса, совершенно игнорировалась до сих пор *самая ценная и самая важная часть* этого анализа — *форма ценности*. Зомбарт создал даже целую интерпретацию учения о ценности, основанную на игнорировании этого учения. Сам же Маркс придавал — и это вполне естественно — *наибольшее* значение именно этой части своего анализа *и в этом смысле противопоставлял себя предшествовавшим сторонникам*

[1]) *Ленин*, К вопросу о диалектике, «Под Знам. Маркс.» № 5—6, 1925 г.

[2]) К. I, стр. 3.

[3]) Там же: «содержание, отличное от этих способов выражения» (Гиз, последнее изд.).

[4]) К. I, стр. 5.

[5]) «Когда мы говорим, как стоимости, товары суть простые сгустки человеческого труда, то наш анализ сводит товары к абстрактной стоимости, но не выражает их ни в какой форме стоимости, отличной от их натуральной формы» (К. I, 18).

[6]) «Научное Обозрение», 1898 г., № 2, стр. 337, примечание.

трудовой теории ценности, именно представите
классической политической экономии»[1]). Той же то
зрения придерживается в наше время И. Рубин. «Большинство крити
Маркса, — говорит он, — утверждает, что основное различие между Р
кардо и Марксом заключается в учении последнего о труде как «субстанц
стоимости»... По мнению И. Рубина, это неправильно. «Выражение, что тр
представляет «содержание» или «субстанцию» стоимости, означает толь
что в основе изменений стоимости лежат изменения, происходящие в ма
риально-техническом процессе производства, в развитии производительно
труда. Эту сторону явлений с особой силой подчеркнул именно Рикардо
потому не в учении о «субстанции» стоимости, а в учен
о «форме стоимости» заключается основное различ
между ним и Марксом[2]). Та же мысль повторяется и в других ра
тах. Так в «Очерках по теории стоимости Маркса» (3-е изд., стр. 1
И. Рубин говорит: «Классики обратили внимание на содержание стоимос
затраченный на производство продукта труд; Маркс же исследовал прежд
всего «форму стоимости», т.-е. стоимость, как вещное выражение тру
вых отношений людей и общественного (абстрактного) труда[3]). В пр
чании к этому—ссылка на вступительную статью к работе Розенберга. М
оставляем пока в стороне неправильное положение И. Рубина, что «содер
ние» и «субстанция» стоимости означает только зависимость стоимости
материально-технической стороны труда, тем более что и сам И. Руби
своих позднейших работах от этого, хоть и робко, отказывается. Точно т
же нас не интересует вопрос о том, насколько это положение согласо
вается с толкованием И. Рубиным других вопросов теории стоимости. Зд
нам важно подчеркнуть, что и Рубин основным различием в теории ст
мости между Рикардо и Марксом считает учение о форме стоимости.

По С. Булгакову, а за ним и по Рубину выходит, что «самая ценн
самая важная часть» анализа Маркса заключается в учении о форме ст
мости и что оно является основным отличием теории стоимости Марк
от Рикардо. Нам представляется, что и первое и второе положение в та
формулировке ошибочны. Верно, что учением о форме стоимости тео
Маркса отличается от теории классиков и что отсутствие этого учения е
«один из основных недостатков классической политической экономии.
но неправильно, что это—исходный пункт их различий, так как центр
ным в теории стоимости является учение не о форме стоимости, а о тр
как содержании и субстанции стоимости, и в этой области необход
прежде всего, искать своеобразие Марксовой теории.

Различие между экономическим учением Маркса и классиков в ее
щей форме сводится к различию методов. Заслуга классиков состоит в т
что они правильно нащупали в качестве об'екта своего исследования к
талистические отношения. Пусть не всегда верно и последовательно, но
изучали именно капиталистический способ производства. «Задача эко
мистов, в роде Адама Смита и Рикардо, являющихся историками этой эп
состоит лишь в том, чтобы уяснить, каким образом приобретается богат
при отношениях буржуазного производства, возвести эти отношения в
коны и категории и показать, насколько эти законы и категории удо

[1]) Разрядка моя. *А. С.* См. также его статью: «Что такое трудовая ценно
в сборнике «Правоведение и общественные знания», 1896 г., т. VI.

[2]) «Классики политич. экон.», ГИЗ, 1926 г., стр. 276, и то же самое во вступ
статье к книге Розенберга, стр. 45 — 46.

[3]) См. также стр. 82, 85.

[4]) К., т. I, стр. 49.

для производства богатств, чем законы и категории феодального общества»[1]). Основная же беда их заключалась в том, что этот исторически-ограниченный общественный строй рассматривался ими метафизически. Они фиксировали свое внимание на бытие капитализма как на какой-то естественной форме производства. Вопрос о возникновении и уничтожении капитализма был для них бессмысленным. Изучая такие общественные отношения, которые представляют собой лишь одну из стадий развития общества, они не сознавали этого и принимали ее за вечную, естественную форму процесса труда. Короче говоря, классики были метафизиками. Поэтому они и не могли дойти до правильного понимания исследуемого ими об'екта. Маркс же был диалектиком.

Однако указание на различие методов, очень важное само по себе, еще недостаточно и слишком абстрактно тогда, когда идет речь о той или иной частной проблеме. Мы еще должны показать, что Маркс, пользуясь правильным методом, достиг по сравнению с его предшественниками несравнимо больших результатов, при чем именно в таких-то пунктах.

Поскольку у нас ставится вопрос о теории стоимости, то следует заметить, что различие между классиками и Марксом сказалось, прежде всего и главным образом, на центральном пункте теории стоимости, на учении о труде, как содержании, субстанции стоимости, а потом, что является вытекающим из предыдущего, на учении о форме стоимости. «Классики показали,—говорит И. Рубин,—что труд составляет содержание стоимости; Маркс же хотел выяснить, почему труд принимает форму стоимости»[2]). Но последнее как раз сводится не к учению о форме стоимости, а к раскрытию и уточнению характеристики содержания стоимости. «... Этот пункт является центральным, так как от него зависит правильное понимание основных вопросов политической экономии»[3]). Перед Марксом стояла задача открыть то качество труда, которое создает стоимость, определить так труд, чтобы он, как содержание, соответствовал стоимости. Ударение необходимо перенести именно на содержание (субстанцию) стоимости, так как правильное или неправильное разрешение данного вопроса приводит к верному или ошибочному представлению о форме стоимости.

Главная заслуга Маркса, по сравнению с классиками, заключается в том, что он сумел правильно вскрыть содержание стоимости в своем учении об абстрактном труде. Об этом свидетельствует и сам Маркс. В письме к Энгельсу от 24 августа 1867 г. он пишет: «Самое лучшее в моей книге (Капитале»): 1) в первой же главе подчеркнутая особенность двойственного характера труда, смотря по тому, выражается ли он в потребительной или меновой стоимости (на этой теории о двойственном характере труда покоится все понимание фактов)[4]). А в «Капитале» (т. I, стр. 8) Маркс указывает, что «эта двойственная природа заключающегося в товаре труда впервые критически указана мною». Это же подчеркивает и Ф. Энгельс в своем предисловии ко II т. «Капитала». На вопрос—«что же нового сказал Маркс о прибавочной стоимости?» (стр. XXIV)—он отвечает: «Прежде всего, необходимо было подвергнуть критике самую теорию стоимости Рикардо. Итак, Маркс исследовал труд со стороны его свойства создавать стоимость и в первый раз установил какой труд, почему и как образует стоимость, установил, что вообще стоимость есть не что иное, как кристаллизованный

[1]) Маркс, Нищета философии, стр. 102, ГИЗ, Пгр. 1920 г. Ср. И. Рубин, Очерки, стр. 53—54.

[2]) «Классики политич. экон.», стр. 277, и то же самое во вступ. статье к работе Розенберга, стр. 47.

[3]) К., т. I, стр. 8. Разрядка наша. *А. С.*

[4]) «Письма», под ред. Адоратского, изд. 2-е, стр. 168. Разрядка Маркса. *А*

труд этого рода» (стр. XXV. Разрядка Энгельса. *А. С.*). Учение об абстрактном труде представляет собой краеугольный камень при об'яснении всех вопросов политической экономии, или, как говорит Маркс, «на этой теории о двойственном характере труда покоится все понимание фактов». И в учении о труде, выражающемся в стоимости, Маркс пошел дальше классиков.

«Правда, политическая экономия исследовала — хотя и недостаточно — стоимость и величину стимости и раскрыла заключающееся в этих формах содержание. Но она ни разу даже не поставила вопроса: почему это содержание принимает такую форму, другими словами, почему труд выражается в стоимости, а продолжительность труда, как его мера, в величине стоимости продукта труда?» [1]). Последний вопрос у классиков даже не напрашивался потому, что они недостаточно раскрыли содержание стоимости. В чем выражается эта недостаточность?

Теория трудовой стоимости в своем историческом развитии прошла довольно-таки тернистый путь. На заре еще капитализма одни экономисты об'явили, что только торговля является производительной деятельностью по существу, это—тогдашняя формулировка труда, создающего стоимость, другие—труд, добывающий золото и серебро, третьи—земледельческий труд. «После того, как отдельные формы реального труда: земледелие, мануфактура, мореплавание, торговля и т. д., были по порядку об'явлены истинными источниками богатства, Адам Смит провозгласил труд вообще, и притом в общественной совокупности, в виде разделения труда, единственным источником материального богатства, или потребительных стоимостей. В то время, как здесь он совершенно упускает из виду элемент природы, поскольку он преследует его в сфере чисто-общественного богатства, т.-е. меновой ценности. Правда, Адам определяет ценность товара рабочим временем, которое заключено в нем, однако он относит реальность этого определения ценности к временам до Адама» [2]).

Здесь Маркс кратко охарактеризовал как достоинства, так и недостатки учения о содержании стоимости Адама Смита. Смит (последовательно или непоследовательно—это другое дело) признает содержание стоимости—труд и, выражаясь по-марксистски, не конкретный труд какой или иной отрасли производства, а труд абстрактный и последний у него общественный труд. «У А. Смита ценность создается всеобщим общественным трудом, совершенно независимо от того, в каких потребительных ценностях он овеществляется; создается исключительно некоторым количеством необходимого труда» [3]). Но Маркс в первой цитате указывает и на основной грехопадение Адама Смита, заключающееся в том, что «элемент природы преследует его в сфере чисто-общественного богатства, т.-е меновой ценности...». Труд сводится им лишь к материальному фактору.

Д. Рикардо не только более последователен в определении стоимости трудом, чем Адам Смит. Сохранив все ценное, что имеется у последнего, Рикардо двинул вперед эту теорию. Особенно подробно он разработал вопрос о величине стоимости и зависимости ее от производительности труда. Уже имеется в зачаточной форме и категории общественно-необходимого труда. Однако основной недостаток теории стоимости А. Смита остается и у Рикардо. «Специфическую форму буржуазного богатства · он рассматривает лишь, как нечто формальное, не затрагивающее его содержания» [5]). Ос-

[1]) К. т. I, стр. 48—49.
[2]) «К. критике», стр. 70—71.
[3]) Теории, т. I, стр. 105.
[4]) См. И. Рубин, История эконом. мысли, гл. XXVIII.
[5]) Теории, т. III, стр. 47.

мостная форма богатства им связывается непосредственно с трудом, рассматриваемым лишь, как материально-техническое содержание способа производства, тогда как эта форма пронизывает содержание, делая его свойственным только буржуазному производству. «Он превращает буржуазное производство в простое производство для потребительной стоимости. «Рикардо рассматривает буржуазную форму труда, как вечную, естественную форму общественного труда» [1]). «Ошибка Рикардо заключается в том, что он исследует только величину стоимости; поэтому он интересуется только относительным количеством труда, которое представляют различные товары; которое они содержат, как стоимости, в воплощенном виде. Но заключенный в них труд должен быть представлен как общественный труд, как отчужденный индивидуальный труд... Это превращение всех видов заключенного в товаре труда отдельных индивидуумов в одинаковый общественный труд, который поэтому может быть представлен во всех потребительных стоимостях, может быть обменен на любую из них; эта качественная сторона дела, которая содержится в выражении меновой ценности в деньгах, у Рикардо не развита. Это обстоятельство — необходимость представить заключенный в них труд одинаковым общественным трудом, то-есть в деньгах, Рикардо упускает из виду» [2]). Рикардо «не понял специфической формы, в которой труд есть элемент стоимости; именно не понял, что отдельный труд должен быть представлен, как абстрактно-всеобщий, и в этом виде, как общественный труд. Связи возникновения денег с сущностью стоимости и с определением этой стоимости рабочим временем он поэтому не понял» [3]).

Не поняв специфичности труда, создающего стоимость, особенности его, присущей только товарному хозяйству, Рикардо не видел и основного противоречия товарно-капиталистического хозяйства,—между общественным характером производства и частной собственностью, между абстрактным и конкретным трудом. Он не видел: «То, что меновая стоимость товара в деньгах получает самостоятельное существование, является продуктом процесса обмена, результатом развития содержащихся в товаре противоречий меновой и потребительной стоимости и не менее содержащегося в нем противоречия, что определенный особый труд отдельного индивидуума должен быть представлен, как его противоположность, одинаковый, необходимый, общий и в этом виде общественный труд» [4]). Ошибки Рикардо в основном сводятся к тому же, что и у А. Смита.

Классическая экономия раскрыла содержание стоимости. По ее мнению 1) труд является содержанием стоимости, 2) не труд особой отрасли производства, а «труд вообще», или, как бы мы сказали, абстрактный труд. Но это содержание было охарактеризовано недостаточно. Не была дана характеристика социального качества труда, как труда, специфического для товарного хозяйства. Классики не подозревали, что «труд вообще» есть специфический труд исторически-ограниченного буржуазного общества. Отсюда у них: смешение материального содержания с социальным, рассмотрение стоимости как внешней формы, не затрагивающей содержания,—труд как бы извне определяет стоимость [5]); непонимание сущности денег и пр.

Различие методов Маркса и классиков реализуется, прежде всего, в различном понимании труда как содержания, субстанции, имманентного ме-

[1]) Маркс, К критике, стр. 72.
[2]) Теории приб. ст., т. III, стр. 111. Разрядка Маркса. *А. С.*
[3]) Теории, т. III, стр. 117.
[4]) Теории, т III, стр. 110.
[5]) Вот почему даже у Рикардо была тенденция признать труд в качестве лишь одного из факторов, определяющих стоимость.

рила и сущности стоимости. Это—основное и исходное различие Марксо классиков.

III. Абстрактный труд—качественная характеристика содержани стоимости.

I.

Труд, как процесс между природой и общественным человеком, в варном хозяйстве не находится под непосредственным руководством во общества и как бы предоставлен в распоряжение отдельных лиц. Средс производства являются частной собственностью отдельных производите поэтому последние формально независимы друг от друга и отношение ловека к природе выступает как частное дело этих производителей. Из товляемый продукт в силу той же частной собственности принадлежит дельным лицам. Это накладывает на труд черты, которые присущи ему тол в товарном хозяйстве. «Раньше (в патриархально-родовом строе. А. каждая пара сапог, которую изготовлял наш сапожник, уже заранее на лодке представляла собой непосредственно общественный труд. Теперь сапоги представляют, в первую голову, частный труд, который никого касается» [1]). «В качестве частного лица он (сапожник) не является чле общества, и его труд, как частный труд, еще не является общественны Одна из особенностей товарного хозяйства состоит в том, что конкрет труд его членов непосредственно находит свою общественную формулиро в форме частного труда. Этот факт доступен для обыденного мышлени прежде всего бросается в глаза, находя свое отображение в теории роз зонад у буржуазных экономистов.

Мы не отождествляем конкретный и частный труд и не имеем п относить второй, так же, как первый, к материальной стороне труда. Ча ный труд характеризует товарное хозяйство, именно: ту сторону его, производство потребительных стоимостей для общества не находится прямым контролем общества и является частным делом. Частный тр принадлежность только товарного хозяйства и не может быть в орга ванных обществах, по отношению которых мы можем сказать то же, говорил Маркс про общинное производство: «Самая сущность общин производства не позволяет труду отдельного лица являться частным дом, или продукту его быть частным продуктом; напротив, она скорее и средственно делает каждое отдельное проявление труда функцией од из членов общественного организма» [3]). Отсюда, если мы исходим от ного труда, то это не значит, что мы применяем индивидуалистический тод. «Мы не исходим из труда индивидуумов, как общественного труда, наоборот, отправляемся от особенного индивидуального труда, кото только в меновом процессе, через уничтожение его первоначального ха тера, обнаруживается, как всеобщий общественный труд» [4]).

Если частный характер труда товаропроизводителей выступает вольно ясно, в натуральной форме, в качестве конкретного труда, то щественный характер их труда выступает в скрытой форме. Чтобы во ствовать на природу, необходимы средства производства и средства пот ления, которых данный товаропроизводитель, благодаря разделению т не производит. В силу того же продукт изготовляется им не для собств потребления, а для других членов общества. Возникает необходимость

[1]) Р. Люксембург, Введение в полит. эк., ГИЗ, 1926 г., стр. 256.
[2]) Там же, стр. 259.
[3]) Маркс, К критике, стр. 47.
[4]) Маркс, К критике, стр. 58. Ср. И. Дашковский, статья в «Под Маркс.» № 6, 1926 г., стр. 207; И. Рубин, Очерки, изд. 3-е, гл. XIII и др. мес

товаропроизводителя вступить в связь с другим производителем. Поскольку они формально независимы, то эта связь может быть установлена только посредством обмена продуктов труда, превращающихся в товары. Частный труд приводит к обмену. «Предметы потребления становятся вообще товарами лишь потому, что они суть продукты независимых друг от друга частных работ» [1]). Но обмен только констатирует, что труд данного члена общества является не только частным, но и общественным трудом, что частный труд превращается в общественный.

Общественный труд существует на всех ступенях развития общества, но только в товарном хозяйстве он обособляется от конкретного труда и принимает особую форму. В тех общественных формациях, где отсутствует частная собственность на средства производства, где нет стихийного разделения труда в обществе, представляющего лишь другую сторону той же собственности [2]), там обмен веществ находится под непосредственным руководством общества, труд отдельных лиц выступает в форме конкретного непосредственно как общественный, а не как частный. «Различные работы... являются общественными функциями в своей натуральной форме» (К., т. I, стр. 46). «Непосредственно общественной формой труда является здесь его натуральная форма, его особенность, а не его всеобщность, как в обществе, покоющемся на основе товарного производства» (там же, стр. 46). Между прочим, последняя цитата говорит о том, что Маркс, конечно, и в организованном обществе рассматривал труд, с одной стороны, как особенный, в его натуральной конкретной форме, с другой—как всеобщий. Но Маркс подчеркивает, что в этом обществе труд становится общественным не в его всеобщей форме. Здесь не происходит противопоставления всеобщности труда его особенной форме. «Коль скоро общество вступает во владение средствами производства и применяет их в непосредственно общественном производстве,—труд каждого отдельного лица, как бы ни был различен его специфически полезный характер, становится сам по себе и непосредственно общественным трудом» [3]). Целевая установка в производстве потребительных стоимостей в организованном обществе дается отдельным производителям от всего общества общественным органам или другим представителям общества, поэтому труд в своей конкретной форме становится общественным трудом. Но это в то же время означает, что связь между членами общества устанавливается сознательно и непосредственным образом как между лицами. Продукты труда, средства производства и средства потребления выполняют лишь материальную роль, поэтому они не принимают какой-либо особой социальной формы и существуют в организованном обществе, как общественные продукты только потому, что выполняют определенные материально-технические функции в своей натуральной форме как потребительные стоимости. «Общественные отношения людей к их работам и продуктам их труда остаются здесь прозрачно ясными как в производстве, так и в распределении» (К., т. I, стр. 47). «Общественные отношения лиц в их труде проявляются здесь как их собственные личные отношения, а не облекаются в костюм общественных отношений вещей, продуктов труда» (К., т. I, стр. 46).

В товарном же хозяйстве из наличия частной собственности и разделения труда, из того положения, что конкретный труд первоначально выступает как труд частный, вытекает необходимость особой, отличной от ма-

[1]) К., т. I, стр. 41.
[2]) «...Разделение труда и частная собственность представляют собой тождественные выражения: в одном случае говорится по отношению к деятельности то же самое, что в другом случае говорится по отношению к продукту деятельности». (Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. I, стр. 222).
[3]) Энгельс, Анти-Дюринг, «Моск. Раб.», 1922 г., стр. 175.

териальной формы труда. Труд принимает двойственный характер. С одн стороны, он является, как и во всех общественных формациях, конкретн трудом, с другой—он принимает еще специфически-общественную форм форму абстрактного труда в противоположность первому. Специфически-о щественная трудовая деятельность людей как бы отделяется от ее ма риального существования. Труд в своей конкретной форме представл собой лишь частный труд,—это то, что раз'единяет людей в товарном хо зяйстве. Но, в то же время, «частный труд должен быть представлен не средственно, как его противоположность, общественный труд; опре ленным образом примененный труд, как его непосредственная противопол ность, абстрактно-всеобщий труд, который поэтому выражается общем эквиваленте. Лишь благодаря его отчуждению индивидуальный тр действительно представлен, как его противоположность» [1]). «Труд, котор проявляется в меновой ценности, сразу выступает, как труд обособлен лица. Общественным он становится потому, что принимает форму непосре ственной своей противоположности, форму абстрактной всеобщности» [2]). Пр равнивая один товар к другому, товаропроизводители сводят все виды конкр ного труда к однородному, человеческому труду вообще, к труду абстракт му, который и составляет общественную определенность труда в меновом о ществе. «Лишь для данной особенной формы производства, для товарн производства, справедливо, что специфически общественный характер н зависимых друг от друга частных работ состоит в их равенстве, как че веческого труда вообще» [3]). «При каждой общественной форме труда, т различных индивидов отнесен так же друг к другу, как человеческий тр но здесь само это отношение является специфической общественной ф мой труда» [4]).

Во всех общественных формациях труд может рассматриваться с д кой стороны: во-первых, как особенный труд, труд конкретный—это то, о один вид труда отличается от другого вида труда; во-вторых, все конкрет виды труда являются в то же время общечеловеческим трудом; с этой с роны они представляют всеобщность труда. Но на всех стадиях разв общества, кроме товарного хозяйства, не эта всеобщность, а конкрет характер включает труд данного производителя в качестве звена в общ венный совокупный труд. В товарном же хозяйстве наблюдается проти ставление всеобщего характера труда его конкретной форме. Всеобщий т в противоположность конкретному становится абстрактным т дом, т.-е. специфически-общественным трудом для товарного хозяйства.

В докапиталистических обществах конкретный труд связывал отд ных производителей в силу того, что там различие между натураль формами труда было небольшое. В этом сказывалась низкая ступень ития производительных сил, выражающаяся в недостаточно развитой д ференциации труда. Слабое разделение труда создавало техническую м можность учитывать труд в его непосредственно-натуральной форме. Ра чие же отдельных видов труда принуждало к этому. Осуществление у конкретного труда, как общественного, могло иметь место благодаря щинной или феодальной собственности. В товарно-капиталистическом хо стве рост производительных сил проявляется в сильно развитом разде труда, как между отдельными рабочими внутри мастерской, так и между дельными отраслями производства. Далеко ушедшая дифференциация т

[1]) Теории, т. III, стр. 115. Подчеркнуто Марксом. *А. С.*
[2]) К критике, стр. 47.
[3]) К., т. I, стр. 43.
[4]) Das Kapital, B. 1, 1867, S. 32. Цитир. по статье И. Рубина: «Под з Марк.» № 7—8, 1927 г., стр. 92

находит свое выражение также в социальном раздроблении труда в силу частной собственности на средства производства. И именно потому, что здесь очень большое различие между отдельными конкретными видами труда, которые к тому же, в силу частной собственности, непосредственно выступают в форме частного труда, не конкретный, а абстрактный труд является связью производителей. Но в то же время это обнаруживает недостаточное развитие производительных сил по сравнению с коммунистическим обществом, неразвитость тенденции, которая довольно сильно проявляется уже при капитализме, тенденции нивелировки отдельных видов труда, приближения их в натуральной форме к всеобщему характеру труда. Тем более, что эта тенденция задерживается наличием капиталистической частной собственности, которая стала тормозом для развития производительных сил. В коммунистическом обществе общечеловеческий характер труда не противостоит конкретному труду, поскольку отдельные виды последнего в силу громадного развития техники, упрощения трудовых операций и технического и социального преодоления разделения труда, ничем не отличаются друг от друга. Не все ли равно, где тогда будет производитель работать—на заводе, производящем, напр., химические продукты, или на текстильной фабрике,—если и там и здесь роль рабочего сводится к наблюдению за машинами—автоматами, познание действия которых не будет привилегией отдельных лиц и слоев общества.

«Труд, реализованный в товарной стоимости, получает не только отрицательное выражение, как труд, от которого отвлечены все конкретные формы и полезные свойства действительных работ, но, кроме того, отчетливо выступает вперед и его положительная природа. Последняя состоит в сведении всех действительных видов труда к их общему характеру человеческого труда, к затрате человеческой рабочей силы.

Всеобщая форма стоимости, которая представляет продукты труда в виде сгустков безразличного человеческого труда, самым своим построением показывает, что она есть общественное выражение товарного мира. Она раскрывает таким образом, что в пределах этого мира общечеловеческий характер труда есть его специфически общественный характер» [1]). Положительная природа абстрактного труда заключается в том, что он является качественной характеристикой труда людей в товарном хозяйстве» [2]).

Но в каком же смысле и в каком качестве конкретные виды труда становятся абстрактным трудом? Что же такое «общечеловеческий характер труда», «человеческий труд вообще», который является специфически общественной формой труда в товарном хозяйстве? В самих конкретных видах труда должно быть нечто такое, что может превратиться в безличную форму связи людей при определенных общественных условиях. На эти вопросы Маркс отвечает следующим образом: «Если отвлечься от определенного характера производительной деятельности и, следовательно, от полезного характера труда», т.-е. теоретически, мысленно проделать ту же самую операцию, которая в действительности в товарном хозяйстве производится стихийно, независимо от сознания людей [3]), — то в труде «остается лишь одно,—что он является затратой человеческой рабочей силы. Как портняжество, так и ткачество, несмотря на качественное различие этих видов производительной деятельности, представляют производительную затрату человеческого мозга, мускулов, нервов, рук и т. д., и в этом смысле являются одним и тем же человеческим трудом» [4]).

[1]) К., т. I, стр. 35. Разрядка моя. *А. С.*
[2]) Ср. И. Рубин, Очерки, изд. 3-е, стр. 159—160.
[3]) Ср. А. Кон, Курс, изд. 2-е, стр. 19—20, 64—65.
[4]) К., т. I, стр. 11. Разрядка моя. *А. С.*

«Всякий труд есть, с одной стороны, затрата человеческой ра чей силы в физиологическом смысле слова,—и, в ка стве такого одинакового или абстрактного человеческого, труд образ стоимость товаров» [1]).

Таким образом, мы пришли к первому определению абстрактного тр как «затрате человеческой рабочей силы в физиологическом смысле сло Именно эта сторона труда составляет социальную однородность, качест ную тождественность всех видов конкретного труда. Лишь в качестве зиологической затраты труд отдельных товаропроизводителей станов равными в этой форме общественным трудом.

2.

И. Рубин не согласен с таким определением абстрактного труда. считает, что «изложенное упрощенное понимание абстрактного тр на первый взгляд (?! *А. С.*) опирающееся на буквальный смысл Маркса, ни в малейшей мере не может быть согласовано как с теорией с мости Маркса в целом, так и с рядом отдельных мест «Капитала» [2]). По мнению, «при таком определении, понятие абстрактного труда есть пон физиологическое, лишенное всяких элементов социальных и исто ческих. Оно присуще всем историческим эпохам, независимо от той или общественной формы производства [3]).

Совершенно правильно формулирует И. Рубин, что «труд, рассма раемый вне зависимости от той или иной социальной орга зации хозяйства, представляет материально-техническую и одно менно биологическую предпосылку всякой хозяйственной деятельност Если брать именно с этой стороны труд, т.-е. рассматривать его вне висимости от социальной обстановки, т.-е. подходить не с эко мической точки зрения, то правильны будут и другие положения И. бина, устанавливающие связь между абстрактным трудом и физиологич затратой, а именно: «Физиологический труд составляет предпосылку рактного труда в том смысле, что ни о каком абстрактном труде не мо быть речи, если не имеет места затрата людьми физиологической энерги «физиологическая однородность труда составляет биологическую пре сылку всякого общественного разделения труда»; «физиологическое ра ство труда представляет собой необходимое условие для того, чтобы во могло происходить социальное уравнение и распределение труда» [6]). И если отвлечься от социальной формы хозяйства, то все эти поло верны, и нет смысла подчеркивать еще раз, что «эта затрата физио ческой энергии остается именно предпосылкой, а не об'ектом нашего и дования» и что «эту предпосылку экономического исследования нельзя вращать в его об'ект» [7]). Разве может быть здесь об'ект экономичес исследования, если мы рассматриваем физиологическую затрату «вне з симости от той или иной социальной организации хозяйства», т.-е. за исключаем из поля нашего зрения этот об'ект?!

Однако не такова была постановка вопроса у Маркса, когда он го о физиологической затрате. Его задача заключалась, как мы говорили в

[1]) К., т. I, стр. 14.
[2]) И. Рубин, Очерки по теории стоимости Маркса, изд. 2-е, ГИЗ, 19 стр. 149. Разрядка моя. *А. С*
[3]) Там же, стр. 146. Разрядка автора. *А. С.*
[4]) Там же, стр. 151. Разрядка моя. *А. С.*
[5]) Там же, стр. 151.
[6]) Там же, стр. 152. См. всю главу XIV.
[7]) Там же, стр. 151. Разрядка моя. *А. С.*

сначала путем анализа открыть труд как специфически-социальное содержание стоимости. В первом томе «Капитала» Маркс оставался верным своему положению, высказанному еще в «К критике» [1]): «Условия труда, образующего меновую стоимость, как они обнаруживаются при анализе последней, являются общественным определением труда или определением общественного труда, но не просто общественного, а в особенном смысле. Это специфический род общественности. Однородность труда, лишенного различий, есть прежде всего равенство труда различных индивидуумов, взаимное отношение их труда, как равного, которое достигается благодаря фактическому сведению всякого труда к однородному. Труд каждого индивидуума обладает этим общественным характером постольку, поскольку он выражается в меновых стоимостях, и выражается в меновых стоимостях постольку, поскольку он относится к труду всех других индивидуумов, как одинаковому». А за несколько строк перед этим Маркс дал и то определение, которое мы находим в первом томе «Капитала»: «... Поскольку труд проявляется в меновых стоимостях, он может быть представлен как всеобщий человеческий труд. Эта абстракция всеобщего человеческого труда существует в среднем труде, который в состоянии выполнять каждый средний индивидуум данного общества; это определенная производительная трата человеческих мышц, нервов, мозга и т. п.» [2]). Здесь так же, как и в I т. «Капитала», Маркс непосредственно связывает физиологическую затрату со стоимостью.

«Однородность труда», «равенство труда различных индивидуумов заключается как раз в том, что они представляют «затрату человеческой рабочей силы в физиологическом смысле». Сам по себе физиологический труд, как естественная категория, существует, конечно, во всех общественных формациях и в этом отношении является биологической предпосылкой социального уравнения труда. Но во всех социально-экономических формациях, за исключением товарно-менового общества, физиологическая затрата существовала слитно с конкретным трудом и никакой самостоятельной специфически-общественной роли не играла. Она была естественной категорией и только. Однако такая характеристика (как биологической предпосылки, естественного содержания) физиологической затраты недостаточна для товарного хозяйства. В последнем физиологическая затрата, оставаясь попрежнему в качестве естественной (биологической) категории, кроме того, начинает выполнять, выражаясь в стоимости, еще и специфически-социальные функции связывания людей друг с другом, приобретая в этом отношении самостоятельное от конкретных видов труда общественное значение, становясь этой стороной исторически ограниченной категорией. Физиологическая затрата становится не только биологической предпосылкой, необходимым условием общественного труда в товарном хозяйстве, но и специфически-общественной материей производственных отношений товарного хозяйства и в этом качестве абстрактным трудом.

Физиологическая затрата в ее значении основного определения абстрактного труда становится об'ектом экономического исследования.

Следовательно, связь материального (биологического) с социальным в категории абстрактного труда [3]) не так проста, как предполагает И. Рубин, когда у него социальное лишь только как бы сидит на материальном. Физиологическая затрата не только предпосылка, необходимое условие, но и сам

[1]) Стр. 45—46. Разрядка Маркса. *А. С.*
[2]) «К критике», стр. 44—45. Последняя разрядка моя. *А. С.*
[3]) Мы здесь пока отвлекаемся от того, что абстрактный труд выражается в продукте конкретного труда.

абстрактный труд как социальная категория является «затратой человеческой рабочей силы в физиологическом смысле слова».

Единство материального содержания процесса труда и его общественной формы в товарном хозяйстве выражается в частности в том, что абстрактный труд, как труд этого хозяйства, есть «производительная затрата человеческого мозга, мускулов, нервов, рук и т. д.» (Маркс), в ее противоположности конкретной форме труда, такой противоположности, которая не может освободиться от своего антипода, т.-е. конкретного труда. Абстрактный труд есть рабочая сила в действии в специфической для товарного хозяйства общественной форме,— рабочая сила в ее функции связывания отдельных товаропроизводителей друг с другом.

Между прочим, неправы и те товарищи, которые считают физиологическую затрату материальным содержанием абстрактного труда в отличие от какой-то особой, отличной от нее, общественной формы этого труда. Абстрактный труд — это процесс создания стоимости. Его материальным содержанием является производство потребительных стоимостей, т.-е. конкретный труд. Физиологическая же затрата, рассматриваемая с материальной стороны, не существует самостоятельно от конкретного труда, так же, как нет в природе плода вообще в отличие от груш, яблок и пр. В качестве же определения абстрактного труда физиологическая затрата есть сама по себе специфическая для товарного хозяйства общественная форма труда.

Каким же образом И. Рубин, не выступая открыто против указанных положений Маркса, старается примирить, по его мнению, «упрощенное понимание абстрактного труда», которое дается во втором разделе I главы того «Капитала», со своей трактовкой? Различие в результатах исследования И. Рубина и Маркса здесь явное, поэтому И. Рубин старается подкрепить правильность своей интерпретации не ссылкой на Маркса, а методологическими соображениями.

«... Разногласия между социологическим пониманием абстрактного труда и физиологическим пониманием абстрактного труда, — говорит И. Рубин, — отчасти сводятся именно к различию этих двух методов, диалектического и аналитического. Если с точки зрения аналитического метода можно еще с большим или меньшим успехом отстаивать физиологическое понимание абстрактного труда, то с точки зрения диалектического метода это понятие труда заранее обречено на неудачу, из понятия труда в физиологическом смысле вы никакого представления о стоимости как о необходимой социальной форме продуктов труда, вывести не можете» [1]). Здесь так же, как и на предшествующих этому страницах [2]), И. Рубин отождествляет диалектический метод с генетическим, который, по его мнению, включает как анализ, так и синтез. Такое же отождествление мы находим в третьем издании «Очерков» [3]). В других местах «Очерков», правда, имеются несколько иные оттенки мысли. Так, напр., И. Рубин говорит: «К этому аналитическому методу Маркс для облегчения изложения [4]) прибегает на первых пяти страницах «Капитала». Но диалектический ход его мысли следует представить себе в обратном порядке». Таким образом, анализ, видимо, необходим был Марксу лишь как метод изложения, а в исследовании он выпадает. Что у И. Рубина имеется и такая тенденция, подтверждается, в частности, следующим его положением: «Ошибочно представлять себе дело таким образом, будто Маркс исходит из явле-

[1]) И. Рубин, Абстрактный труд и стоимость в системе Маркса, изд. Ин-та Экономики РАНИОН, Москва 1928 г., стр. 5.
[2]) См. начало доклада.
[3]) «Очерки по теории стоимости Маркса», изд. 3-е, ГИЗ, 1928 г., стр. 55, 15[illegible]
[4]) Последняя разрядка моя. *А. С.*
[5]) Там же, стр. 84.

ний стоимости в их вещном выражении и, анализируя их, приходит к выводу, что общим в обмениваемых и оцениваемых вещах может быть только труд. Ход мысли Маркса по существу обратный» [1]). Если Рубин хочет сказать этим, что центр тяжести теории стоимости лежит в генетическом об'яснении стоимости из труда, то это будет правильно. Если же он отбрасывает анализ, как метод исследования, а эту фразу можно и так истолковать, то это будет уже непониманием значения анализа, как предпосылки генетического метода.

Прежде всего нам представляется неправильным отождествление диалектики и генетического метода [2]). Совершенно верно, что диалектика является единством анализа и синтеза, но синтез и есть генетический метод. Синтез есть «воспроизведения конкретного путем мышления» [3]), т.-е. генетический метод. Последний представляет собой не всеоб'емлющую методологию, как диалектика, а только один из моментов ее, для которого «анализ является необходимой предпосылкой» (Маркс). Отсюда можно противопоставить анализ и синтез (генетический метод), как противоположные моменты диалектики, но не анализ диалектики. Однако и в этом случае нам необходимо помнить о единстве анализа и синтеза, тогда как у И. Рубина это единство отсутствует. Ведь по его мнению выходит, что если пользоваться анализом, то придешь к физиологическому пониманию труда, при генетическом же методе — к социологическому. Он так и пишет: «Если мы исходим из стоимости, как определенной социальной формы, и ставим себе вопрос, каково содержание этой формы, то оказывается, что эта форма только выражает вообще тот факт, что затрачен общественный труд; стоимость оказывается формою, выражающею факт социального уравнения труда, — факт, происходящий не только в товарном хозяйстве, но могущий происходить и в другом хозяйстве. Подвигаясь путем анализа от готовой формы к его содержанию, мы в качестве содержания стоимости находим социально-уравненный труд. Но к другому выводу мы придем, если за исходный пункт исследования возьмем не готовую форму, а самое содержание (т.-е. труд), из которого с необходимостью должна вытекать форма (стоимость). Чтобы от труда, рассматриваемого, как содержание, перейти к стоимости, как форме, мы должны в понятие труда включить социальную форму организации его в товарном хозяйстве, т.-е. содержанием стоимости признать абстрактно-всеобщий труд. Возможно, что именно различием обоих методов и об'ясняется кажущееся противоречие в определении содержания стоимости, которое мы встречаем у Маркса» [4]).

Это рассуждение И. Рубина не выдерживает критики как раз с методологической точки зрения. При такой трактовке анализ и синтез превращаются в самостоятельные, ничем не связанные (разве только формально) методы. Получается разрыв между аналитическим и синтетическим методом. Из его слов вытекает, что если пользоваться аналитическим методом, то придешь к физиологическому труду и что Маркс и пришел сначала к этому, хотя занимался изучением процесса труда не с физиологической и не с биологической точки зрения, и не анализом труда вне его общественной формы. Однако где же граница анализа по Рубину? Может быть право-

[1]) «Очерки», изд. 3-е, стр. 93, см. также стр. 73.
[2]) Ср. выступл. в прениях по докладу И. Рубина «Абстрактный труд и стоимость в системе Маркса».
[3]) Маркс, Введение. Сб. «Основные проблемы», изд. 2-е, стр. 23.
[4]) Доклад «Абстрактный труд...», стр. 30, и то же самое «Очерки», изд. 3-е, стр. 132, 162, 357. Ср. «Очерки», изд. 2-е, стр. 105, 84, 85, 89 и др., где Рубин содержанием и субстанцией стоимости считал материально-техническую сторону труда, хотя в то же время трактовал абстрактный труд, как категорию сверх-социологическую, выхолащивая из нее материальное содержание. Эта двойственность, вытекающая из неправильной методологической установки, правда, в менее резкой форме, осталась у Рубина и в изд. 3-м «Очерков». Так, например, если в приведенной

мочно, пользуясь этим методом, итти еще глубже, к еще более простым и абстрактным понятиям, от физиологической трудовой затраты к физиологическим или биологическим процессам вообще, к понятию жизни и т. д. По Рубину нет предела для анализа, потому что последний у него, на самом деле, не выступает в роли элемента диалектики [1]). Лишь диалектический метод, как единство синтеза и анализа, не отказываясь от последнего, определяет его границу. Забвение того положения, что анализ и синтез не только формально различные методы, но, как противоположные моменты диалектики, взаимно обусловлены и органически связаны между собой, в частности, тем, что анализ есть предпосылка генетического метода, что синтез накладывает свой отпечаток на анализ, является основной ошибкой И. Рубина, которая роднит его, особенно по изд. 2-му «Очерков», с классиками [2]), несмотря и на громадное отличие его от них.

«Классическая экономия в анализе иногда впадает в противоречие: часто она пытается непосредственно, без посредствующих звеньев, все это свести к единству, и доказать тождество источников различных форм. Но это необходимо вытекает из ее аналитического метода, с чего должна начинать критика и об'яснение. Она заинтересована не в том, чтобы генетически развить различные формы, а в том, чтобы путем анализа свести их к их единству, так как она исходит из них, как из данных предпосылок. Но анализ является необходимой предпосылкой генетического изложения, понимания действительного процесса развития в его различных фазах. Классическая экономия впадает в конце концов в ошибки, заблуждается, рассматривая основную форму капитала, производство, с целью присвоения чужого труда, не как историческую форму, а как естественную форму общественного производства; это такое понимание, для устранения которого она сама, однако, прокладывает путь своим анализом» [4]). Классики в своем анализе капитализма исходили из того положения, что различные формы его есть данные, не подлежащие сомнению, естественные формы. Поэтому они совершенно не задавались вопросом о возникновении этих форм, их развития, исчезновения. Одним словом, генетический метод ими не применялся. На это указывает и Рубин [5]). Но он и подчеркивает другой стороны. Недостатки анализа классиков заключались не только в том, что он у них не дополнялся синтезом, но что благодаря этому сам по себе анализ, отдельно взятый, был недостаточен. Основной порок заключался в том, что классики, анализируя капиталистические формы, приходили бессознательно по существу, к специфически-социальному содержанию их, но в их представлении это содержание являлось только материальным. Так, например, «... Политическая экономия исследовала стоимость и величину стоимости и раскрыла заключающееся в этих формах содержание» [6]), но недостаточно. Если брать только качественную сторону, то клас-

в тексте цитате исходной точкой при генетическом методе выступает социальное содержание, то на стр. 53—55 — материально-техническое содержание. «Маркс ставит вопрос: почему материально-техническое содержание трудового процесса в известной ступени развития производительных сил принимает именно данную социальную форму».

[1]) Понимание Рубиным анализа напоминает современных механистов в философии с их решением «проблемы сведения».

[2]) Вспомним, как понимал тогда Рубин содержание, субстанцию, сущность, имманентное мерило стоимости. «Очерки», изд. 2-е, стр. 32, 58—59, 80 и след., 84—86, 89, 91.

[3]) Разрядка моя. У Маркса, как это ясно, по поводу классиков ударение делается на «генетическом» методе. *А. С.*

[4]) Маркс, Теории, III, стр. 388—389. Подчеркнуто Марксом. *А. С.*

[5]) «Очерки», изд. 3-е, стр. 53 — 55, 135.

[6]) К., т. I, стр. 48—49.

сики путем анализа пришли к «труду вообще», но они не поняли, что этот «труд вообще» и есть характерная особенность труда при товарном производстве, как исторически особой формации. Отсюда вытекают противоречия в их системе. Но своим анализом классики, пусть непоследовательно, все же вскрыли внутреннее единство различных форм, поэтому Марксу не было надобности проходить весь этот путь анализа, который был пройден политической экономией до него.

Неправильность применения классиками анализа сводится не только в отсутствии дополнения его синтезом, но и, что вытекает из предыдущего, в неисторичности, метафизичности самого анализа. Перед Марксом стояла задача не только «генетического изложения», но и пересмотра в связи с этим того пути анализа, который предполагается синтезом и уже в основном был пройден политической экономией, освободив его от противоречий, используя анализ, как исторический же метод. Маркс прибегает к анализу не только «для облегчения изложения» [1]). «Анализ является необходимой предпосылкой генетического изложения, понимания действительного процесса развития в его различных фазах» [2]), и эта предпосылка в силу неисторичности анализа классиков, поскольку он не был обусловлен синтезом, не была полностью подготовлена для Марксова генетического изложения. Но и помимо этого Марксу приходилось пользоваться анализом и из соображений чисто-методологического порядка. Труд, в его социальной определенности, как исходный пункт генетического метода, в товарном хозяйстве не является непосредственно данным, — это одна из особенностей этого типа хозяйства, на которую не один раз обращал внимание И. Рубин. Поэтому мы вынуждены начинать свое исследование не прямо с труда, а с товара, меновой стоимости, чтобы потом дойти до абстрактного труда, как исходного пункта синтеза.

Задача теории стоимости заключается, с одной стороны, в раскрытии социального содержания, которое находит свое выражение в стоимости, меновой стоимости, с другой — в об'яснении того, почему данное социальное содержание принимает форму стоимости денег. И та и другая сторона одинаково важны для исследования и не могут быть отделены друг от друга [3]). Между тем И. Рубин подчас доходит даже до отрицания необходимости анализа, о чем мы уже говорили выше. А разве самое рассуждение И. Рубина о методах не приводит к выводу, что анализ не нужен? Посредством анализа мы приходим ведь к физиологической затрате труда, т.-е. к понятию, которое, по мнению И. Рубина, ничего общего не имеет с социальным содержанием стоимости, являясь лишь биологической предпосылкой его. Но, спрашивается, зачем пользоваться анализом, если в результате его применения получаются ошибочные понятия? Необходимо, выходит, ограничиться только генетическим методом. Правда, тогда встает перед нами затруднение: найти исходный пункт для синтеза без анализа, — задача по существу невыполнимая. Такие выводы можно сделать из методологических положений И. Рубина. На деле же Рубин, конечно, пользуется анализом, но у него результаты анализа отделяются от тех положений, которые при синтезе становятся исходными.

Если у классиков есть анализ, но отсутствует синтез, то у Рубина, при наличии того и другого, разрубается стык между ними, что опять-таки

[1]) См. цитату из Рубина, приведенную выше.

[2]) Маркс, Теории, т. III, стр. 388. Разрядка моя. А. С.

[3]) Ср. И. Рубин, Очерки, изд. 3-е, стр. 73.

приводит к метафизичности метода. Поэтому противоречия в системе Рубина носят другую форму. У классиков — смешение материального содержания с общественной формой, у Рубина — их отрыв. Содержанием и субстанцией стоимости в «Очерках», изд. 2-е [1]), является материально-технический труд. Хотя там же дается крайне-социологическое толкование абстрактного труда, который не представляет собой ничего материального. По докладу же «Абстрактный труд и стоимость в системе Маркса» и «Очеркам», изд. 3-е, при анализе содержанием стоимости становится социально-уравненный труд безотносительно к его общественной форме, при генетическом же методе — абстрактный труд, как буржуазный труд.

Во имя оправдания положения «Изложенное упрощенное понимание абстрактного труда («Всякий труд есть... затрата человеческой рабочей силы в физиологическом смысле слова» и т. д. — см. у Маркса. *А. С.*), в первый взгляд опирающееся на буквальный смысл слов Маркса, ни в малой мере не может быть согласовано как с теорией стоимости Маркса в целом, так и с рядом отдельных мест «Капитала» [2]). Или как формулируется в другом месте: «Мы пришли к парадоксальному положению, что содержанием стоимости Маркс признает то социально-уравненный труд (безотносительно к его общественной форме. *А. С.*), то труд абстрактный (специфически-буржуазный труд. *А. С.*) [3]) — во имя оправдания этих положений И. Рубин разрывает единство анализа и синтеза, иначе говоря, становится метафизиком. Невозможность согласования физиологической затраты с понятием абстрактного труда в его интерпретации вытекает у него из невозможности согласовать в его толковании анализ и синтез.

Как же применялись Марксом и должны быть использованы нами анализ и синтез в разрешении разбираемой нами проблемы?

Если производится исследование товарно-капиталистического общества, то, чтобы не стереть различий между товарной формой хозяйства и материальной стороной труда, — с одной стороны, между товарным хозяйством и другими общественными формациями, с другой — мы, необходимо пользуясь анализом, не можем в процессе его применения итти дальше труда, производящего стоимость, т.-е. абстрактного труда, как специфического для товарного хозяйства. Лишь такой труд, будучи конечным пунктом при анализе капиталистического хозяйства, в то же время может служить «предпосылкой генетического изложения» (Маркс). Путем анализа мы передвигаемся до тех пор,—как говорит сам Рубин,—«пока не доходим до наиболее абстрактных понятий в сфере данной науки или данного комплекса вопросов, который нас интересует («Абстрактный труд», стр. 3, разрядка наша. *А. С.*). В своем анализе товарно-капиталистического хозяйства мы доходим до наиболее простейшего отношения, которое «не может существовать иначе, как абстрактное, односторонне отношение уже данного конкретного и живого целого» (Маркс, Введение к критике, «Основные проблемы», изд. 2-е, стр. 24. Разрядка моя. *А. С.*). Маркс так и делает, оставаясь верным своему принципу, что «как вообще во всякой исторической социальной науке, по отношению к экономическим категориям нужно твердо помнить, что как в действительности, так и в голове здесь дан суб'ект, в нашем случае современное буржуазное общество»... (Маркс.—Введение к «К. Критике пол. лит. экон.», стр. 29). Стоит только просмотреть первые страницы I т. «Капитала», чтобы убедиться в этом. Маркс исходит из понятия товара, анализируя которое он через потребительскую и меновую стоимость, приходит

[1]) См. стр. 80, 84, 85 и др.

[2]) «Очерки», изд. 3-е, стр. 149.

[3]) «Абстрактный труд», стр. 30, или «Очерки», изд. 3-е, стр. 132.

к стоимости, от стоимости к абстрактному труду, как специфическому для товарного хозяйства труду. «Всякий труд есть затрата человеческой рабочей силы в физиологическом смысле слова,— и, в качестве такого одинакового или абстрактно-человеческого, труд образует стоимость товаров» [1]). Он ставил задачу вскрыть социальное содержание стоимости и его нашел путем анализа, именно, в производительной физиологической затрате, являющейся социальной характеристикой абстрактного труда, производящего стоимость. От этого И. Рубину не отвертеться.

То, что при анализе товарно-капиталистическое хозяйство является конечным пунктом (наиболее простейшее отношение), при синтезе становится пунктом исходным. Здесь и происходит стык анализа и синтеза, связывание их в единый диалектический метод, тогда как по Рубину, если пользуешься аналитическим методом, то приходишь к труду вообще, если же—генетическим, то начинаешь с труда, в понятие которого включается социальная форма. В первом случае—одно, во втором — другое. Необходимо еще добавить, что наш метод не только диалектический, но и материалистический, поэтому при исследовании генетического происхождения стоимости мы не можем исходить из абстрактного труда, из которого вытравлено материальное (физиологическая затрата), иначе вместо производственных отношений у нас исходной точкой при синтезе будут какие-то мифические, призрачные «социальные» отношения, соответствующие представлению о них у «современных экономистов на Западе», которых критиковал И. Рубин, но, видимо, от влияния которых он не может освободиться, поскольку ему до сего времени кажутся у Маркса противоречия в толковании абстрактного труда. Если из категории абстрактного труда выхолостить физиологическую затрату, то не остается никакого труда, ничего реального. Форма труда в таком случае сведется разве лишь к специфическому способу сведения..., но чего?! Отсюда недалеко до утверждения, что «абстрактный труд создается обменом», «рождается только в обмене», появляется только в действительном акте рыночного обмена» [2]), недалеко до отождествления процесса обращения с трудом, отнесения стоимости к обмену, т.-е. дойти до того, за что справедливо обрушивались на Рубина его критики.

Методологическое обоснование И. Рубина сверх социологического понимания абстрактного труда не выдерживает критики, и нам нет надобности отказываться от того понятия абстрактного труда, которое дал К. Маркс. Но, задает вопрос И. Рубин, можно ли из физиологической затраты генетически вывести стоимость? Конечно, если физиологическую затрату труда принимать лишь за естественную категорию, то никакая стоимость из нее не может вытекать. Однако политическую экономию, как совершенно правильно говорит тот же И. Рубин, интересуют не вещи сами по себе, а те социальные функции, которые ими выполняются в товарном хозяйстве и благодаря чему они принимают исторически-ограниченную рамками данного хозяйства форму. Подобно этому, и процесс труда важен не в его роли процесса обмена веществ между природой и обществом, а,

[1]) К., I, стр. 14. Разрядка моя. *А. С.*

[2]) Рубин, Очерки, изд 2-е, стр. 103. Мы напоминаем о старом только для того, чтобы показать связь его со всей концепцией Рубина, и если в третьем издании указанные в тексте места исправлены, то это показывает, что даже сам И. Рубин не может быть последовательным в своей интерпретации абстрактного труда.

опять-таки, в его функции связывания людей между собой в товарном хо-
зяйстве. С этой же точки зрения мы подходим и к физиологической за-
трате труда. Поскольку именно она, а не труд в конкретной форме, являетс
трудовой связью автономных товаропроизводителей, т.-е. категорией, свой-
ственной только товарному хозяйству, постольку мы из нее и выводи
стоимость.

Итак, ошибки И. Рубина сводятся к следующим пунктам:

1) неправильное отождествление генетического метода с диалектикой;

2) формально провозглашая единство анализа и синтеза, он на де
порывает связь между ними, поскольку у него конечный пункт анализа н
совпадает с исходным понятием синтеза; анализ и синтез не обуславливат
друг друга, подчиняясь диалектике;

3) в предыдущем сказывается метафизичность его метода в целом;

4) не признавая «затраты рабочей силы в физиологическом смысл
слова» (Маркс) специфическим общественным трудом товарного хозяйст
как качества абстрактного труда, он непосредственно протягивает ру
идеализму.

3.

Характеристика абстрактного труда лишь как физиологической за-
траты, являющейся специфической формой буржуазного труда, еще н
полна, недостаточна. «Для понимания того,— говорит Маркс,— каким обр
зом меновая ценность определяется рабочим временем, надлежит твер
установить следующие главные пункты: приведение труда к простому, т
сказать, лишенному качеству труду, специфический способ, п
средством которого труд, создающий ценность, т.
производящий товары, становится[1]) общественны
наконец, различие между трудом, поскольку результатом его являют
потребительные ценности, и трудом, как источником меновой ценност
Это приведение является абстракцией: однако это — абстракция, котора
общественном процессе производства совершается ежедневно» («К критике
стр. 44). Итак, необходимо еще указать, каким образом происходит о
влечение от конкретных видов труда и отвлечение не в нашем сознани
а в действительной жизни. Абстрактный труд не существует отдельно о
конкретного труда, а представляет лишь общественную сторону, общ
ственное свойство труда, как связующего звена между отдельными то
ропроизводителями. Мы уже говорили, что эта связь устанавливается п
средством связи между вещами. Через приравнивание одного товара к д
гому и происходит отвлечение от конкретных видов труда и приведение е
к однородному, бескачественному, абстрактному труду. «Конечно, портн
ный труд, создающий сюртук, есть конкретный труд, отличный от тр
ткача, который делает холст. Но приравнивание к ткачеству фактич
ски сводит портняжество к тому, что действительно одинаково в об
видах труда, к их общему характеру человеческого труда. Следовательн
этим косвенным путем утверждается, что и ткачеств
поскольку оно создает стоимость, не отличается от портняжеств
следовательно, есть абстрактный человеческий труд. Только выраж
ние эквивалентности разнородных товаров обнаруживает специф

[1]) Разрядка моя. *А. С.*

ческий характер труда, созидающего стоимость, так как оно разнородные виды труда, заключающиеся в разнородных товарах, действительно сводит к их общей основе, к человеческому труду вообще»[1]). «Люди сопоставляют друг с другом продукты своего труда как стоимости не потому, что это вещи являются для них лишь вещественными оболочками однородного человеческого труда. Наоборот, приравнивая друг друга в обмене разнородные продукты как стоимости, они тем самым приравнивают друг другу свои различные работы как человеческий труд вообще. Они не сознают этого, но они это делают»[2]).

Абстрактный труд рассматривается нами пока, как производительная деятельность, как живой труд людей в товарном хозяйстве, такая деятельность, которая находит свое выражение в стоимости товаров, как живой труд в его функции включения самостоятельных товаропроизводителей в систему производственных отношений общества. Поэтому нам важно подчеркнуть, что Маркс под приравниванием и обменом товаров, посредством которых происходит сведение конкретных видов труда к абстрактному, подразумевает в данном случае не непосредственный процесс обмена и обращения товаров, а обмен как форму общественного способа производства, форму, которой облекается и непосредственный процесс производства. Естественно, для того, чтобы обмен приобрел такое значение, предполагается известная степень его развития... «Расщепление продукта труда на полезную вещь и вещь, воплощающую стоимость, осуществимо на практике лишь тогда, когда обмен уже приобрел достаточные размеры и достаточную важность для того, чтобы полезные вещи можно было производить специально для обмена,—а потому характер вещей как стоимостей уже принимается в расчет при самом их производстве. С этого момента частные работы производителей действительно получают двойственный общественный характер»[3]). При таких условиях, когда товаропроизводитель только изготовляет свой товар, то он и тогда его оценивает, т.-е. мысленно приравнивает к другому товару, тем самым этим косвенным путем приравнивает свой труд к труду другого производителя.

Поскольку все виды конкретного труда в форме абстрактного становятся одинаковым, однокачественным трудом, постольку следствием этого мы имеем то обстоятельство, что развитие процесса приравнивания товаров должно привести к всеобщему эквиваленту, как адэкватной форме выражения абстрактного труда. Чем разнообразнее и больше конкретных видов труда, чем однороднее становится эквивалентная форма стоимости, тем, значит, вернее, более «нормально» действует специфический способ отвлечения от конкретных видов труда и сведение их к абстрактному, тем в большей степени в форме последнего труд становится общественным, тем больший охват людей абстрактным трудом, как формой связи между людьми. Развитие эквивалента отражает развитие абстрактного труда, как специфической формы буржуазного труда. Отсюда «только внешняя торговля, развитие рынка до мирового рынка превращает деньги в мировые деньги и абстрактный труд в общественный труд. Абстрактное богатство, стоимость, деньги,— следовательно, абстрактный труд развивается соответственно тому, как конкретный труд превращается в совокупность самых различных видов

[1]) К., I, стр. 18. Разрядка моя. *А. С.*
[2]) К., I, стр. 42. Разрядка моя. *А. С.*
[3]) К., I, 41. Разрядка моя. *А. С.*

труда, охватывающих внешний рынок. Капиталистическое производст основано на стоимости или на развитии заключенного в продук труда, как труда общественного. Но это возможно лишь на основе внеш торговли и мирового рынка. Последний, таким образом, является пре сылкой и результатом капиталистического производства» [1]). Абстракт труд приобретает общественный характер по мере своего развития и иначе говоря, если можно так выразиться, степень общественности а страктного труда соответствует степени его развития. Только на миров рынке абстрактный труд полностью выявляет свой специфически-об ственный характер труда, как труда менового общества.

Со специфическим способом сведения, как методом превраще частного труда в общественный, тесно связан еще один признак абстра ного труда. «Труд, создающий меновую стоимость, характеризуется тем, что общественное отношение лиц представляется наоборот, как об ственное отношение вещей» [2]). «Потребительная стоимость товара, в ко ром воплощается труд производительного рабочего, может быть самого чтожного свойства. Это вещественное свойство продукта не имеет ни общего с тем его свойством служить овеществлением производительн труда, которое, в свою очередь, выражает только определенное общест ное отношение производства. Это последнее свойство тр создается не его содержанием (материальным. *А. С.*) и не результатом, а его данной общественной формой» [3]). стихийности, как следствия частной собственности и частного труда, кает необходимость, чтобы конкретный труд отдельных производит принял форму абстрактного труда, и в этом виде труда общественно свою очередь, способ редукции приводит к тому, что отношения лиц ставляются отношением вещей, свойства общественных отношений ка передоверяются вещам.

Здесь нам могут возразить, что, дескать, овеществление труда щественных отношений является более сложным явлением, чем вопрос держаний стоимости, поэтому нельзя абстрактный труд, наипростей категорию, определять через его овеществление, т.-е. стоимость, сложную категорию. Однако такое возражение, с нашей точки зрени выдерживает критики, прежде всего, в отношении самой постановк проса. Исследование каждой категории должно показать не только то она представляет сама по себе, но и то, какие качества ее приводят к что она перерастает в другую категорию, т.-е., иначе говоря, кате должно рассматривать в их связи. Особенностью самого абстра труда является его свойство овеществляться. «Во время процесса труда постоянно переходит из формы деятельности в форму бы из формы движения в форму вещи. По окончании одного движение прядения оказывается воплощенным в известном количестве жи, следовательно, определенное количество труда, один рабочий час зывается овеществленным в хлопке. Мы говорим: рабочий час, т.-е. за рабочей силы прядильщика в течение одного часа, потому что труд ния здесь (в процессе создания стоимости. *А. С.*) имеет значение постольку, поскольку он является затратой рабочей силы, а не потому он—специфический труд» [4]). В этом месте Маркс говорит о таком

[1]) Теорий, т. III, стр. 210. Подчеркнуто Марксом. *А. С.*

[2]) К критике, стр. 47—48.

[3]) Теории, т. I, 168. Разрядка моя. *А. С.*

[4]) К., I, 166. Разрядка моя. Нам кажется, что разграничение формы движ формы бытия имеет большое значение не только для теории стоимости, но других вопросов политической экономии. В частности, из непонимания это

ходе труда «из формы деятельности в форму бытия, из формы движения в форму вещи», который присущ только товарному хозяйству. «Овеществление» в данном случае синоним «офетишизирования», которым характеризуется труд только в товарном хозяйстве. «Форма бытия», «форма вещи» в этом случае—специфическая, исторически-ограниченная только рамками товарного хозяйства общественная форма бытия труда и вещи. В другом смысле Маркс употребляет термин «овеществление», когда говорит о производстве потребительных стоимостей, об отношении человека к природе. Так, напр., в главе V первого тома «Капитала» в разделе о производстве потребительных стоимостей мы читаем: «...В процессе труда деятельность человека при помощи средства труда производит преднамеренное изменение в предмете труда. В продукте процесс изглаживается. Продукт последнего есть потребительная стоимость, вещество природы, приспособленное к человеческим потребностям посредством изменения формы. Труд соединился с предметом труда. Он овеществился, а предмет подвергся обработке. То, что для рабочего представлялось в форме движения, теперь со стороны продукта является установившимся свойством в форме бытия. Рабочий прял, и продукт есть пряжа» [1]). В последнем случае, продукт тоже представляет собой «овеществленный», «материализованный» труд, но этот процесс овеществления—материально-технический процесс, тоже, конечно, общественный, но только в широком смысле слова, в том смысле, что процесс труда может происходить только в рамках общества. Тогда как в первом случае мы говорим о специфически-социальном процессе «овеществления», «материализации», свойственным только товарному хозяйству. Оно-то и интересует нас [2]).

Труд в форме деятельности мы рассматриваем в его связи и зависимости от его формы бытия, как формы вещи, как свойства «вещи» уже в силу самой постановки вопроса. Мы ищем не просто содержание богатства, а содержание стоимости. Оставляя пока в стороне вопрос о стоимости как «форме бытия труда» и «форме вещи», мы все же изучаем труд в качестве содержания стоимости. В частности, ошибка классиков заключалась в том, что, анализируя «форму вещей», какую принимают они только в товарном хозяйстве и находя содержание ее в труде, они в то же время в определении последнего совершенно отвлекались от его общественной формы бытия, рассматривая его лишь как материальный процесс, а «форму вещи», как внешнюю форму, не затрагивающую содержания.

Если труд, как процесс, деятельность, движение, оторвать от его общественной формы бытия, следовательно, рассматривать лишь в качестве взаимодействия между человеком и природой, то он не

граничения часто возникают у нас никчемные споры. Например, стоит какому-либо экономисту сказать, что абстрактный труд есть форма труда, как сейчас же его обвинят в том, что он отождествляет труд со стоимостью. У Маркса мы находим во многих местах указание на различие этих форм. См. К., I, стр. 75, 166, 157, 153—154, 195, 539, 540, 615; К., II, 13, 14, 76, 78, 79, 81, 86, 87; 104, 117, К., III, ч. 2, 361, 362—363; Теории, I, 202, 271, 274; Теории, II, ч. 1, 86, 87; Теории, III, 106, 107, 108, 246, 335, 352.

[1]) К., I, 157. Разрядка моя. *А. С.*

[2]) Смешение того и другого овеществления заметно в статье тов. В. Лебедева «Диалектика производительных сил у Маркса и Энгельса», («Вестник Комм. Акад.», кн. 28). На стр. 168 он ссылается и на первую и на вторую цитату Маркса, приведенные нами в тексте говоря об овеществлении в широком смысле слова, тогда как у Маркса в первой цитате идет речь о товарном фетишизме. Неправ также тов. Брудный (статья «Некоторые теоретич. предпосылки к изучению советского хозяйства», «Большевик» № 19, 1928 г.) в своем утверждении, что «овеществление труда никогда не понималось Марксом технически» (стр. 84).

представит собой ничего особенного по сравнению с другими общест-
ными формациями и для товарного производства. При такой постано-
«как бы различны ни были отдельные виды полезного труда, или произ-
дительной деятельности, с физиологической стороны они являются во п-
ком случае функциями человеческого организма, и каждая такая функ-
каково бы ни было ее содержание и ее форма, является по существу сто-
тратой человеческого мозга, нервов, мускулов, органов чувств и т. д.»
Но повторяем, что такой результат получится только тогда, когда мы
влечемся от общественной формы бытия труда. Другое дело, если рассма-
вать форму деятельности в связи с его формой бытия, с его социаль-
бытием. Тогда и в форме деятельности мы найдем специфические для то-
ного хозяйства черты. Труд в качестве физиологической затраты выст-
общественным определением труда товарно-менового общества. Физиол-
ческая затрата, как специфическая форма буржуазного труда, предст-
перед нами в роли содержания стоимости. В товарном хозяйстве физиол-
ческая затрата не в форме конкретных видов труда, не в качестве це-
образного в рамках всего общества труда связывает людей между собой,
это происходит во всех организованных формациях, а в своей обезличе-
форме, в качестве физиологической затраты в ее противопоставлении ма-
риальной форме. Благодаря этому, отношения людей устанавливаются пу-
приравнивания вещей друг к другу, но это в свою очередь приводит к то-
что общественные определения труда получают вещественные черты, а веш-
общественные черты [2]).

Теперь мы имеем возможность подвести итоги характеристике а-
страктного труда. Категория абстрактного труда включает в себя след-
щие моменты:

1. «затрату человеческой рабочей силы в физиологическом см-
слова» (Маркс) в ее противоположности, что имеет место только в то-
ном хозяйстве, конкретной форме труда, и что делает физиологичес-
затрату специфически-общественной формой трудовой деятельности, сл-
вающей людей друг с другом в этом хозяйстве;

2) стихийное приравнивание товаров как специфический способ
дения конкретных видов труда к физиологически-однородному и в
форме общественному;

3) превращение труда в общественное свойство вещей, или, что то-
самое, овеществление производственных отношений;

4) вытекающее из предыдущего различие между конкретным тру-
который вместе с природой является источником потребительных сто-
стей, и абстрактным трудом как источником стоимости.

---

[1]) К., I, 39—40. Аналогично рассуждение Маркса в следующем месте: «Если
рассматриваем процесс производства с точки зрения процесса труда, то раб-
относится к средствам производства не как к капиталу, а просто как к средс-
и материалу своей целесообразной производительной деятельности. На кожев-
заводе, например, он обращается с кожей просто как с предметом своего т-
Он дубит кожу не капиталисту. Иное получится, если мы будем рассматри-
процесс производства с точки зрения процесса увеличения стоимости. Сред-
производства тотчас же превращаются в средства впитывания чужого труда, н-
не рабочий употребляет средства производства, а средства производства упо-
ляют рабочего. Не он употребляет их как материальные элементы своей про-
дительной деятельности, а они потребляют его как фермент (возбудитель)
ственного жизненного процесса, а жизненный процесс капитала заключается
в его движении как самовозрастающей стоимости» (Там же, стр. 298—299).

[2]) См. К., I, 60—61.

HOOVER LIBRARY

Абстрактный труд представляет собой не простую сумму указанных моментов. Отдельные моменты находятся во взаимодействии, вытекая из основного. Этот характер связи мы старались установить в предыдущих строках.

Абстрактный труд есть качественное единство труда производителей, изготовляющих товары. Абстрактный труд—качественная характеристика производственных отношений товаропроизводителей, социального содержания стоимости.

(Окончание следует).

О двойственной природе одного полеми ского трюка [1]).

Гр. Деборин и М. Чернин.

«Заблуждению свойственно раз зие, истине же—единство».

(Ви

Заблуждения авторов анализируемой нами статьи действительн рактеризуются большим разнообразием. Избрав себе мифическую роль мого теоретического центра происходящей ныне дискуссии в области тической экономии, авторы «раз'ясняют» сущность разногласий. В поз ретического арбитра занимаются они «консультированием» спорящих рон. Роль эта, несомненно, интересна, а главное целесообразна с точк ния «политики дальнего прицела». При любом стечении обстоят авторы смогут гордо процитировать свое произведение и заявить: «Л имеются аргументы и на этот причудливый случай жизни». С одной сто пишут они, «опасность механистической вульгаризации экономической рии сильна. Симптомы этой опасности наблюдаются в виде механистиче уклона группы марксистов, выступающих в дискуссии (тт. Бессонов и др.) [2]). Стало быть, с одной стороны, нельзя не сознаться, что... с экономическими механистами нужна. Но, с другой стороны, нельзя не знаться, что «позиции диалектического материализма в политической номии можно отстоять лишь в борьбе как против механистических т ций Кона и др., так и против тех, которым нужно рассказать, «как н бороться против механистических тенденций в политической эконом

Следовательно, в данной статье соединены разнообразные менты и возражения против... всех участников современной дискуссии. шенно правы были поэтому наши авторы, когда они писали: «как не нить при этом французскую поговорку о словах, которые вопиют соединении». Подобная политика на самом деле является теоретическ глашательством и поддержкой одной лишь из двух дискутирующих Между тем, необходима действительная критика как механистическо правления, так и методологических ошибок И. Рубина, а также от идеалистов (Кушин, Давыдов). Но эта критика должна базироваться на материалистической диалектики. Эклектизм же любого рода всегда к какому-либо одному определенному направлению. Наши авторы, мы покажем в дальнейшем, потому заняли подобную двойственную по

[1]) По поводу статьи Г. Дукора и А. Ноткина: «Как нельзя б «против механистических тенденций в политической экономии» «Боль № 18, 1929 г. (Дискуссионный отдел).

[2]) Там же, стр. 111.

[3]) Там же, стр. 130.

что их собственная точка зрения, несмотря на полемическую завесу, целиком и полностью совпадает с той из дискутирующих сторон, которая ныне себя совершенно скомпрометировала.

Перейдем к конкретному анализу двойственной стратегии «вопиющих» от имени «ортодоксального» марксизма авторов. Каким же орудием критики хотят они осуществить свой стратегический план?

1. Беспредметное „уточнение“ предмета политической экономии.

Ошибки, совершаемые А. Коном, как это отчасти признают также и Г. Дукор и А. Ноткин, в области политической экономии, весьма многочисленны. Представляя собой механистического материалиста, тов. Кон соответствующим образом искажает все основные проблемы нашей науки. Но, при всем этом, в полном и явном противоречии со всей своей концепцией, упомянутый автор в течение ряда лет придерживался как будто бы правильного определения предмета политической экономии. Длинный список подобных определений, выставленных им в его различных работах, приводится А. Коном в одной из его последних статей [1]). Этот перечень должен, по его мнению, служить в качестве послужного списка, удостоверяющего искренность его теоретических исканий.

В первом издании «Курса политической экономии» тов. Кон приводит такое определение предмета нашей науки, которое, в общем и целом может считаться правильным. Однако в нем отсутствует чрезвычайно существенный момент — указание на динамичность и преходящую сущность производственных отношений данного определенного способа общественного производства. «Политическая экономия, — писал А. Кон, — представляет собой теоретическую науку, изучающую производственные отношения капиталистического общества» [2]). Против этого определения об'екта нашей науки и выступили тогда же Абезгауз, Дукор и Ноткин. Но главные свои возражения они направили против того момента в этом определении, в котором отмечается, что политическая экономия исследует производственные отношения людей. Возражая против подобного понимания политической экономии, они тем самым выступали против Ленина, который неустанно подчеркивал данную особенность предмета нашей науки. Ленин неоднократно отмечал, что политическая экономия исследует именно производственные отношения, а не что-нибудь иное. Ныне же Г. Дукор и А. Ноткин ставят себе это свое выступление в особую заслугу, выдавая его за критику... механистических взглядов А. Кона. «Возрождение механистических тенденций в политической экономии, разработка проблем которой тесно связана с теоретическим изучением советского хозяйства, естественно, должно было вызвать резкое противодействие. Вот почему авторы настоящей статьи (вместе с т. Абезгаузом) выступили с детальной критикой взглядов А. Кона, немедленно же после появления первого издания его «Курса» [3]).

Все возражения против исследования в политической экономии общественных отношений товарно-капиталистического производства обычно основываются на беспредельном страхе перед «социальным направлением» в современной буржуазной экономической науке. Не может быть никаких сомнений в том, что это направление представляет собой такой очередной идеалистический поход против материалистической политической экономии Маркса, с которым (идеалистическим походом) необходимо вести решитель-

[1]) См. Кон, Б. Борилин как критик, «Проблемы Экономики» № 6, 1929 г., стр. 88.

[2]) Кон, Курс политической экономии, стр. 11.

[3]) Дукор и Ноткин, Как нельзя бороться «против механистических тенденций в политической экономии», стр. 111, примечание.

ную и беспощадную борьбу. Это тем более необходимо, что среди марксист всегда имеется некоторая неустойчивая часть, легко скатывающаяся в об тия буржуазных теоретиков. Но многие наши экономисты ударились в друг крайность. Не сумев обнаружить истинное различие, существующее мех марксизмом и социальным направлением, они в самом срочном порядке за лись «уточнением» в вульгарно-механистическом духе марксистской полит ческой экономии. «Уточнение» понадобилось для того, чтобы это различ «сконструировать». Вред, нанесенный марксизму «социальниками», оказал таким образом, весьма основательным, но с противоположной стороны: э направление вызвало возрождение вульгарного материализма и богдановщин в политической экономии; вызвало сильнейшую «механистическую» реакци которая была своеобразным ответом на преувеличенный страх перед возм ной опасностью. И на этом поприще одно из самых значительных ме несомненно, принадлежит нашей причудливой экономической троице, котор усердно принялась за «уточнение» марксистской экономической теории.

Продвигаясь по пути наименьшего сопротивления, Г. Абезгауз, Г. Дук и А. Ноткин решили, что производственные отношения ничем не отличают от чистых социальных отношений, исследуемых новейшим буржуазным н правлением, в частности, Францем Петри и Аммоном. Приведя определен политической экономии из «Курса» тов. Кона, гласящее, что эта наука из чает «производственные отношения капиталистического общества», на авторы с полной уверенностью заявляют, что «под определением т. Ко может подписаться, напр., проф. Аммон» [1]). По их мнению, этого определен придерживается также и другой главнейший представитель социального н правления: — «Потери охотно подписался бы под определением политическ экономии тов. Кона» [2]). Таким образом, оказывается, что как Аммон, т и Петри предлагают экономической теории заниматься исследованием пр изводственных отношений, и именно в этом, согласно точке зрения наш тройки, и заключается весь идеализм их концепции.

Подобное представление об Аммоне и Петри, как нельзя лучше дока зывает, что наши авторы совершенно не понимают материалистической сущ ности производственных отношений, не разбираются в действительном иде лизме положений, выставляемых буржуазными экономистами социологич ского толка. Судя по писаниям Г. Абезгауза, Г. Дукора и А. Ноткина, мож составить себе совершенно неправильное представление о «социальном н правлении». А между тем Аммон ни одним словом не упоминает о произв ственных отношениях. Он не знает даже о их существовании. По мнени Аммона, одни только чистые «социальные отношения, а также социальн обусловленные закономерности и правильности, составляют предмет теорет ческих социальных наук» [3]), в том числе и политической экономии. В отлич от Аммона Франц Петри упоминает об общественных отношениях прои водства. Однако и он отнюдь не предлагает политической экономии заня исследованием этих производственных отношений. Производственные отн шения должны, по его мнению, рассматриваться только со стороны их форм как чисто-формальные социальные отношения. Г. Дукор и А. Нотк чрезвычайно заинтересовались работой Петри и даже занялись ее перевод на русский язык. Однако они, тем не менее, нисколько не поняли его точ зрения. Больше того. Наши авторы фактически занимаются перекраш ванием Петри в марксиста. Памятуя же, что он является идеал

[1]) Абезгауз, Дукор и Ноткин, Свет марксовой теории в кривом з кале, «Вестник Коммунистической Академии», стр. 71.

[2]) Абезгауз, Дукор и Ноткин, Некоторые вопросы политическ экономии в освещении тов. А. Ф. Кона, «Вестник Коммунистической Акаде № 25, стр. 215.

[3]) Ammon, Objekt und Grudbergriffe der theoretischen Nationalökono S. 178.

том, наши «уточнители» не могут найти в навязываемых ими Петри марксистских воззрениях искомого идеализма. Между тем, никто иной, как Петри, упрекает Маркса в том, что последний рассматривает общественные отношения производства именно как отношения производства, как отношения производителей, т.-е. не просто «суб'ектов, а таких лиц, которые занимают строго-определенное место в общественном процессе неорганизованного производства». Так вот в чем дело, товарищи переводчики!

По мнению Петри «за вещными отношениями должны быть вскрыты идеальные социальные отношения» [1]), взаимоотношения суб'ектов права, не стоящие ни в какой необходимой связи с непосредственным процессом материального производтва. Петри считает, что экономическую систему Маркса можно было бы переделать в соответствующем (т.-е. идеалистическом) направлении лишь при том условии, если чисто-формально понимать производственные отношения людей, если только превратить их в свободное целеполагающее отношение суб'ективных носителей права. «В формальном смысле общественные отношения производства суть отношения между людьми, которые относятся друг к другу не как об'екты, а как свободные целеполагающие суб'екты. Тем самым, в общественных отношениях производства находят свое выражение не реально-причинные отношения вещей или людей, как об'ектов внешнего мира, а идеальные отношения людей, как суб'ектов, т.-е. известное взаимное ограничение и отношение их свободных сфер деятельности по отношению друг к другу. Общественное отношение производства с формальной стороны следует мыслить по типу правового отношения, а не реального отношения зависимости [2]). Только в этом сугубо формальном смысле соглашается Петри упомянуть об общественных отношениях производства. Но тем самым эти отношения перестают быть отношениями производства. В их формальной и идеалистической интерпретации «производственные отношения людей» превращаются в те же социальные отношения «свободных, целеполагающих суб'ектов, каковые фигурируют у Аммона.

Борьба с идеализмом в политической экономии должна быть решительна и беспощадна. Но плохую, попросту, «медвежью», услугу оказывают марксизму те, кто пользуется этим случаем для того, чтобы последовать рецепту А. Богданова. Последний уже давно рекомендовал «уточнить» недостаточно точную марксистскую политическую экономию. И наше дружественное трио тоже, как оказывается, далеко не прочь заняться подобной переработкой нашей науки. Отождествив взгляды А. Кона с идеалистической концепцией Аммона и Петри, наши авторы немедленно и легко приходят к желательным для себя выводам. «В связи с теми «новыми веяниями», которые теперь наблюдаются в буржуазной политической экономии и попытками при посредстве так наз.: «социологической точки зрения» открыть доступ в марксизм философскому идеализму в его современных формах, необходимо уточнение предмета политической экономии» [3]). Иначе говоря, наши авторы берут на себя приятную обязанность, заключающуюся в весьма «скромной задаче» «уточнения», «исправления» и «дополнения» того представления о предмете политической экономии, с которым мы встречаемся в работах Маркса, Энгельса и Ленина. Любопытное дело, не правда ли? Не довольствуясь определениями, данными великими учителями марксизма, наша, не страдающая отсутствием скромности, экономическая тройка предлагает себя в качестве завершителей проблемы предмета политической экономии. Можно себе представить, во что превраги-

[1]) Петри, Социальное содержание теории ценности Маркса, стр. 42.

[2]) Там же, стр. 27; в последнем случае разрядка наша.

[3]) Абезгауз, Дукор и Ноткин, Некоторые вопросы политической экономии в освещении А. Ф. Кона, стр. 216.

лась бы марксистская политическая экономия, если бы все ее основ положения следовало ревизовать в связи с появлением каждого нов «подрастающего» поколения в области буржуазной экономической мысли

Наши авторы весьма странно понимают пути и способы борьбы с «соц альным направлением». Они подвергают на первых ступенях своей крит сомнению ленинское определение предмета политической экономии. Н уже пришлось, однажды, указать на это обстоятельство. Одним из нас б замечено по адресу Г. Абезгауза, Г. Дукора и А. Ноткина, что, «настаива уточнении предмета политической экономии, утверждая, что эта наука дол изучать не только производственные отношения людей, обычно забывают, пересмотр определения, данного этой науке Марксом и Лениным, означ ревизию экономической стороны марксизма. Кроме того, подобная концепц свидетельствует о непонимании ее авторами сущности производственных ношений. Стремление отречься от производственных отношений под предлогом, что социальное направление также изучает социальные отно ния, означает признание тождества между производственными отношени людей и социальными отношениями, выдвигаемыми «новыми веяниями». Ведь ни кто иной, как Ленин, постоянно и неизменно настаивал на том, наша наука должна исследовать именно производственные отношения лю «Исследование производственных отношений данного, исто чески определенного общества в их возникновении, развитии и упад таково содержание экономического учения Маркса» [2]). Вот что утверж тов. Ленин.

Однако наши авторы продолжают упорствовать в своих ошибоч утверждениях. И в своей последней статье Г. Дукор и А. Ноткин пыта оправдать свое стремление к «уточнению». Они пытаются хотя бы factum скрыть подлинную сущность своих теоретических предложений. Н этого они только еще более запутываются. «В своих статьях против тов. мы (вместе с тов. Абезгаузом) требовали от тов. Кона уточнения п мания предмета политической экономии вовсе не из желания «уточн Маркса и Ленина, в чем нас обвиняет Г. Деборин. Для нас было ясно, что одинаковыми внешне формулами скрывается разное понимание Эти слова должны, повидимому, означать, что наши авторы еще согл пожалуй, простить Ленину его «неосторожное» определение нашей науки изучающей общественные отношения производства, не требуя от него бол уточнений. Но горе тому, кто вздумает использовать это мнение Ленин практически применить его представление о предмете марксистской пол ческой экономии. В этом случае наши авторы, как верховные судьи теор ческих споров, заявят, что ленинское определение не годится, так как может включать в себя различное содержание. Занимаясь «чтением в ц цах», они интуитивно определяют, где скрывается правильное и где нахо неправильное понимание предмета нашей науки. Определением наших ких интуитивистов не обманешь. Поэтому, если ленинское определение п тической экономии кто-либо пожелает применить, то он должен его пр рительно «уточнить», а затем уж им воспользоваться. Или иначе: оп пользуйтесь ленинским определением предмета политической эко только в уточненной переработке нашей экономической тройки. Остер тесь подделок!.. Так пытаются наши авторы оправдать свое слишком не

[1]) Гр. Деборин, Предмет политической экономии в современных с «Под Знаменем Марксизма» № 4, 1929 г., стр. 119.

[2]) Ленин, Маркс, Энгельс, марксизм, Сборник Института Ленина, с Разрядка наша.

[3]) Дукор и Ноткин, Как нельзя бороться «против механистическ денций в политической экономии», примечание на стр. 119.

рожное высказывание, столь явственно обнажающее подлинный характер их теоретических упражнений.

Подобным, в достаточной мере неуклюжим, фортелем наши вконец запутавшиеся «уточнители» пытаются произвести на читателя потрясающее впечатление: мы дескать не предлагаем «исправить и пересмотреть Ленина», а только желаем уточнить его во имя спасения марксизма от буржуазно-социологического направления. Однако нам все же представляется, что если Г. Дукор и А. Ноткин критикуют ленинское определение политической экономии, то они выступают именно против Ленина, а не против кого-либо другого. Марксистско-ленинское определением предмета политической экономии является в такой степени точным и недвусмысленным, что его отнюдь нельзя толковать и так и этак, и материалистически и идеалистически. Если же наши авторы продолжают утверждать, что здесь может скрываться различное понимание, то они, тем самым, упрекают Ленина в неточном определении, дающем повод ко всяческим кривотолкам и идеалистическим извращениям. Но, став на подобный путь, наша двойственная тройка вместе с этим выявляет свое собственное непонимание истинной сути ленинского определения нашей науки. Это очередное происшествие имеет свою печальную историю. Ведь Маркса и Энгельса также старались всячески «уточнять»—Бернштейн, Каутский и многие другие.

На грустном опыте Богдановской школы политической экономии всем уже должно быть прекрасно известно, к какой невероятной путанице и вульгарно-механистическим извращениям приводят всяческие попытки, направленные на «уточнение» марксового экономического учения. Но этот исторический опыт пропал для наших авторов даром. Повидимому, историю далеко не все запоминают. И, возомнив себя призванными «уточнять» и «исправлять» Ленина, наши авторы решительно вступили на торную дорожку его механистической вульгаризации.

Механистический характер построений Г. Абезгауза, Г. Дукора и А. Ноткина очевиден. И даже тов. Кон смог бы дать соответствующий отпор всей подобной «критике». Но в том-то и вся беда, что он сам как в «Курсе политической экономии», так и во всех других своих работах выступает в качестве механистического материалиста. Поэтому правильное, в основном, определение предмета политической экономии оставалось в его работах каким-то одиноким, искусственным привеском, полностью противоречащим всем его экономическим и философским построениям. Механистическая критика Г. Абезгауза, Г. Дукора и А. Ноткина оказалась достаточным толчком для того, чтобы тов. Кон немедленно отказался от своего прежнего определения предмета марксистской политической экономии.

Во втором и третьем изданиях «Курса политической экономии», равно как и во всех других последующих работах А. Кона, определение предмета политической экономии исправлено в соответствии с механистическими указаниями наших авторов. Это привело в связь определение предмета политической экономии со всей механистической концепцией А. Кона.

Таким образом, на нашей теоретической арене вновь появляются все буржуазные определения политической экономии. Сказать, что наша наука изучает капиталистическое производство, не подчеркивая, в дополнение к этому, в соответствии с Марксом и Лениным, ее действительного об'екта — производственных отношений — это значит безоговорочно лишить политическую экономию всего присущего ей революционного содержания.

Как же быть теперь с указанием Ленина, гласящим, что наша наука не может заниматься изучением процесса производства «материальных ценностей»? Как быть с его заявлением, что наша наука исследует вовсе не «производство материальных ценностей», как часто говорят (это предмет техно-

логии), а общественные отношения людей по производству»[1]). Как быть с многочисленными высказываниями Маркса и Энгельса, упорно игнорируемыми тов. Коном, для которого единственно достоверными являются только его собственные рассуждения.

Тов. А. Кон тщательно прикрывает совершаемое им теоретическое отступление и даже, осознав свои ошибки, попрежнему продолжает тщательно их замаскировывать. Поэтому его полный и безоговорочный переход на сторону Г. Абезгауза, Г. Дукора и А. Ноткина сопровождается печатными возражениями по их адресу. Полностью соглашаясь с этими авторами и целиком принимая все их возражения, т. А. Кон попрежнему продолжает против них тактически выступать. Из этих же соображений тов. Кон не выкинул из второго издания своего «Курса» прежних определений предмета нашей науки, несмотря на то, что им были вставлены другие определения противоположного смысла и содержания. Это обстоятельство придало данному «Курсу» невероятную двойственность, сделало его непригодным для использования.

Тов. Кон столь же некритически воспринял от тт. Абезгауза, Дукора и Ноткина свойственное им немарксистское представление о производственных отношениях, как о чем-то столь неопределенном, что их можно трактовать на любой манер, как кому вздумается. Соответствующие высказывания А. Кона, поражая своим тождеством с положениями нашего трио, как нельзя лучше свидетельствуют о мнимом характере их разногласий. По мнению А. Кона, «спор ведется о том, как понимать производственные отношения: понимать ли производственные отношения метафизически и идеалистически как пустые бессодержательные формы или же — диалектически и материалистически — как формы, исполненные реального и материального содержания»[2]). И тов. Кон, подражая тов. Бухарину, рьяно принимается за «материализацию» производственных отношений. Он пытается найти в этих отношениях вещественную, чувственно-осязаемую материю, вопреки Марксу утверждавшему, что в производственных отношениях не содержится чего-либо вещественного, вопреки Ленину указывавшему, что «стоимость есть категория, которая лишена вещества чувственности»[3]).

Тов. А. Кон, как известно, совершает свой «критический» поход против марксистской политической экономии вкупе с тов. Бессоновым. Между их теоретическими положениями нет принципиального различия. Тов. Бессонов, равно как и тов. Кон, или как наши три автора, отстаивает необходимость расширения непосредственного об'екта изучения политической экономии путем добавления к таковому производительных сил.

После нашего небольшого исторического экскурса становится очевидным, что все прежние разногласия к настоящему времени уже полностью ликвидировались. Казалось бы, поэтому, что теперь нет никакого повода для расхождений между Г. Абезгаузом, Г. Дукором, А. Ноткиным, с одной стороны и А. Коном, С. Бессоновым, с другой. В самом деле, ведь теперь «уточнение» проделано и закончено. Но не тут-то было. На смену действительным теоретическим разногласиям появились тактические и стратегические соображения. Исходя из этих последних, Г. Дукор и А. Ноткин, попрежнему, избегают солидаризироваться с А. Коном и С. Бессоновым. Они сохраняют видимость теоретических разногласий и принимают такой вид, как будто бы А. Кон своих взглядов по вопросу о предмете политической экономии совершенно не изменил. В действительности же разногласий по существу нет. Сторонники тт. Кона и Бессонова считают тт. Абезгауза, Дукора и Ноткина своими теоретическими союзниками. Приведем соответствующее доказательство. Тов. Лаптев, представитель механистической школы, пишет: «Более чем странным поэтому кажутся нападки Гр. Деборина на Абезгауза, Дукора и Ноткина за то, что последние в связи с «новыми веяниями» в буржуазной политической экономии, имея в виду социологическую школу западных экономистов, настаивали на раз'яснении и уточнении определения предмета политической экономии, считая, что только при таком условии возможна плодотворная критика «социологистов» и отчетливая формулировка позиции Маркса»[1]). Сколько иронии над марксистами и Марксом! Оказывается, что сочинения Маркса лежали в библиотеках около полустолетия неуточненными. Оказывается, что до сих пор нет отчетливых формулировок Маркса. И только теперь, когда на арену выплыл какой-то Петри, надо скорее уточнять формулировки Маркса. Иначе... размежевание с буржуазными экономистами невозможно. И до чего только люди не доходят в припадке полемического раздражения.

[1]) Ленин, К характеристике экономического романтизма, Соч., т. II, стр. 64, изд. 2-е.

[2]) Кон, Б. Борилин как критик, стр. 90.

[3]) Ленин, Конспект «Науки логики», Гегеля, Лен. сборник IX, стр. 187.

В своей последней статье, направленной против сборника, изданного под редакцией А. Леонтьева и Б. Борилина, озаглавленного «Против механистических тенденций в политической экономии», Г. Дукор и А. Ноткин пытаются представить свое выступление в виде борьбы на два фронта. Они даже заявляют, что «в этом вопросе приходится бороться с механистическими взглядами, представленными на этот раз группой товарищей во главе с Бессоновым и Коном»[2]). Но эта фраза, как и некоторые им подобные, остается бессодержательной декларацией, ибо, на самом деле, Г. Дукор и А. Ноткин отнюдь не сидят между двумя стульями. Их теоретический адрес совершенно известен. Точка зрения названных авторов по вопросу о предмете политэкономии совпадает с положениями А. Кона и С. Бессонова. Она является стереотипным изданием механистической концепции. Вот почему, в действительности, выступление Г. Дукора и А. Ноткина является сугубо односторонними, а их борьба «однофронтовой». В применении к нашим авторам полностью применимо выражение одного из героев пьесы Безыменского «Выстрел», — «партиец на два фронта бьет, а этот... кланяется на два фронта».

В статье, направленной, якобы, и против тех и против других, по вопросу о предмете нашей науки нет никаких разногласий с тов. Коном. Что же касается «расхождения» с тов. Бессоновым, то оно заняло среди весьма об'емистой статьи в 19 стр. всего лишь 2 (две!) странички. Уже из этого одного можно судить о том, как Г. Дукор и А. Ноткин «борются» «с механистическими взглядами, представленными» А. Коном и С. Бессоновым. Если же мы обратимся теперь к тексту пресловутых двух страничек, то не замедлим обнаружить, что наши авторы выступают только против тех наиболее неправильных и явно ошибочных высказываний тов. Бессонова, от которых он сам был вынужден отказаться в течение 24 часов с момента их произнесения, дабы окончательно не скомпрометировать своей точки зрения. Тем не менее, эти высказывания тов. Бессонова, хотя он и отказался от них, вполне соответствуют его точке зрения и логически из нее вытекают. Поэтому его отказ от этих положений, равно как и их критика Г. Дукором и А. Ноткиным, свидетельствует лишь о том, что экономические механисты опасаются быть последовательными. То, что встречает немедленный и всеобщий отпор, быстренько, как будто ничего не случилось, принимается обратно.

Выступая против наиболее одиозных мест их общей концепции, Г. Дукор и А. Ноткин заходят настолько далеко, что местами здраво критикуют свои

[1]) И. Лаптев, Марксистские традиции в понимании предмета политической экономии, «Проблемы Экономики» № 7—8, 1929 г., стр. 147. Разрядка наша.

[2]) Дукор и Ноткин, Как нельзя бороться «против механистических тенденций в политической экономии», стр. 113.

же собственные взгляды в их бессоновской трактовке. Приведя наиболее механистические рассуждения из доклада С. Бессонова, наши авторы вполне справедливо указывают, что «не спасается тов. Бессонов своими отговорками о «процессе» и о «пламени» от технологии. «Взаимное отношение отдельных элементов»,— это или отношение вещей к вещам, или отношение людей к вещам в процессе труда «как таковом», то-есть технические отношения — это отношение людей к природе, или технология. Как будто нарочно, чтобы обнаружить свое отличие от Маркса, тов. Бессонов пишет: «Отношения человеческого коллектива к природе (это не энергетический ли баланс между обществом и природой? *Г. Д.* и *А. Н.*) входят в предмет политической экономии так же, как и отношения людей друг к другу в процессе капиталистического производства». Сравните, читатель, эту формулировку со взглядами Маркса, цитированными выше, и вы увидите, что всуе тов. Бессонов заявляет: «Маркс не смешивал политическую экономию с технологией»,— всуе, ибо сам тов. Бессонов в этом отношении на Маркса не похож» [1]). А вы-то похожи, товарищи? Разве ваши «уточнения» ленинского определения предмета политической экономии не спутывают вопросы технологии с вопросами политической экономии? Почему же вы критикуете тов. Бессонова?

Высказав это замечание и установив, что тов. Бессонов «в этом отношении на Маркса не похож» (в остальных отношениях он, очевидно, похож), наши авторы не делают из этого утверждения соответствующих выводов для самих себя. Они прекращают на этом свою критику С. Бессонова. Больше того. После этого рассуждения Г. Дукор и А. Ноткин, испугавшись своих собственных мыслей, бросились отступать. Оказывается, что С. Бессонов не прав только потому, что «он включает производительные силы в область политической экономии в том же качестве, в каком Рубин их исключает, т.-е. в качестве техники, процесса труда вообще, отношения людей в природе» [2]). Только в этом и заключается вся его ошибка. По мнению наших авторов, С. Бессонов был бы совершенно прав и в его концепции не было бы механистических из'янов, если бы он включал производительные силы в политическую экономию в несколько ином «качестве».

В дальнейшем раз'яснении Г. Дукора и А. Ноткина выясняется, что это специфическое качество производительных сил заключается только в том, что... производительные силы неотделимы от производственных отношений. Невероятно, но факт. Все особенности производительных сил, все их качественное своеобразие сведено нашими авторами только к подобной однобокой формулировке. Ибо «обособленно от производственных отношений производительные силы превращаются в общесоциальную категорию, в процесс труда «как таковой». Они превращаются в абстрактное и изолированное экономической закономерности отношение человека к природе, являющееся об'ектом технологического исследования. Поскольку же речь идет об экономической закономерности развития производительных сил, то при ее изучении, наоборот (?!), процесс труда со всеми его элементами выступает как производительная сила данного, специфически общественного строя, т.-е. в определенном качестве» [3]). Подобной

[1]) Там же, стр. 114.

[2]) Там же.

[3]) Там же, стр. 114. Рассуждения авторов о качестве отличаются исключительной оригинальностью. Авторы несколько раз «выражаются» о качестве в политической экономии. Но увы и ах! Каждый раз, на самом интересном месте, т.-е. там, где вам кажется, что вот-вот вы постигнете качество суждений авторов о качестве в политической экономии, вы вдруг получаете настоящий адрес о местопребывании этого качества. Вот этот адрес: «По вопросу о качестве в политической экономии см. интересные замечания тов. Келлера «Англо-американская школа», глава 6 (стр. 114, примечание)». Мы сейчас не будем спорить о качестве последней

тарабарщиной пытаются прикрыть наши авторы наготу своей механистической концепции. Для этого они беспрестанно употребляют слово «качество» и применяют выражения, достойные немецких ученых профессоров от политической экономии, в роде «абстрактное и изолированное экономической закономерности»... Вот как «крепко» сказано!

Суть же всех этих рассуждений Г. Дукора и А. Ноткина о «закономерности» и «качестве» заключается в стремлении незаметно присоединиться к позиции т. С. Бессонова. Согласно их недвусмысленному раз'яснению, вся ошибка последнего заключается лишь в том, что он, утверждая «равноправие» производительных сил *и* производственных отношений, рассматривает их, как самостоятельные, отделенные друг от друга категории. Политическая экономия, по мнению Г. Дукора и А. Ноткина, должна исследовать не производительные силы *и* производственные отношения, а производительные силы, как составляющие одно нераздельное целое с производственными отношениями и от них неотделимые. В этих рассуждениях наших авторов причудливо сочетаются воедино правильные и неправильные моменты. Бесспорно, что ошибочно было бы рассматривать, подобно С. Бессонову, обе эти стороны материального производства, как совершенно самостоятельные ряды закономерностей. Правильно, что, согласно всем классикам марксизма, производительные силы связаны с производственными отношениями. Но совершенно неправильно, будто бы эта неразрывная связь производительных сил и производственных отношений превращается в тождество. Совершенно неправильно, что обе эти стороны материального производства всегда должны непременно рассматриваться совместно и не могут в целях анализа рассматриваться в известной относительной степени отдельно друг от друга. Иначе говоря, из положения о неразрывной связи между производительными силами и производственными отношениями отнюдь еще не следует, что политическая экономия обязательно должна заниматься исследованием материального процесса производства,— производства «материальных ценностей»,— в совокупности со всеми к нему относящимися моментами и определениями. Итак, вместо бессоновского определения, что предметом политической экономии являются производительные силы и производственные отношения, предлагается включить в предмет нашей науки нечто такое, что Г. Дукор и А. Ноткин выражают так: «изучение социальной закономерности развития производительных сил и есть изучение производственных отношений» [1]). «Не вмер Данило, а болячка его задавила». Да здравствуют «производственные отношения» и «производительные силы», как «равноправные» факторы в предмете политической экономии!

Г. Дукор и А. Ноткин утверждают, что «равноправие» производительных сил и производственных отношений означает ведь по существу, что в политической экономии исследуются рядом и равноправно закономерности двоякого рода. Сказать — «равноправное» изучение производительных сил и производственных отношений, значит отрицать единство об'екта политической экономии, которое декларирует и тов. Бессонов» [2]). В противоположность этому Г. Дукор и А. Ноткин, дабы не «раздваивать» единый

работы. Но мы категорически заверяем тт. Дукора и Ноткина, что по вопросу о качестве можно найти интересные замечания... у Гегеля (сочинения), у Маркса и Энгельса (сочинения), у Плеханова (сочинения), и, пожалуй, у Ленина, если его «уточнить». Со своей стороны мы заверяем читателя, и это может каждый проверить, что в критикуемой статье буквально ничего о качестве не сказано, кроме того, что существует проблема качества. Но в общем контексте козыряние с проблемой качества может произвести в первую минуту потрясающее впечатление.

[1]) Дукор и Ноткин, Как нельзя бороться «против механистических тенденций в политической экономии», стр. 114.

[2]) Там же, стр. 113.

процесс материального производства, решили слить воедино производительные силы и производственные отношения и уничтожить всякое различие между ними. Этим они, правда, добиваются требуемого «единства», но одновременно в такой степени отождествляют эти две стороны процесса производства, что делают невозможным существование какого бы то ни было противоречия между ними. Отождествляя производительные силы и производственные отношения, Г. Дукор и А. Ноткин не замечают особенностей в развитии производственных отношений. Иначе говоря, наши авторы, по сути дела, превращают производственные отношения в простой пассивный рефлекс производительных сил, в их безучастное отражение. Наши авторы отрицают какое бы то ни было самодвижение: имманентное движение производственных отношений. Они считают, что обе эти стороны материального производства всегда полностью и непосредственно совпадают друг с другом. Нечего и говорить, что, исходя из подобной точки зрения, невозможно дать теоретическое об'яснение вопросу о том, как могут производственные отношения отставать в своем развитии от производительных сил. Или как они могут противоречить друг другу и как может вообще существовать борьба классов и революций, если производительные силы и производственные отношения есть тождество? Все эти реальные моменты действительного исторического процесса развития, с точки зрения Г. Дукора и А. Ноткина, должны быть признаны несуществующими, ибо им теперь нельзя дать никакого теоретического об'яснения. Таким образом, производительные силы и производственные отношения из единства превратились в тождество. И это называется материалистической диалектикой.

Единый процесс материального производства, протекающий в специфических общественных условиях товарно-капиталистической формации, можно и должно рассматривать с двух сторон, различать в нем производительные силы и производственные отношения. Само собою разумеется, что как те, так и другие немыслимы одни без других. В реальной действительности они существуют, как органическое единство. Но производительные силы, тем не менее, отличны от производственных отношений. Это единство является единством противоположностей. Производительные силы не совпадают просто с производственными отношениями. Производственные отношения и производительные силы находятся между собой и в противоречии. Поэтому марксизм и различает обе стороны процесса производства. Только анализируя обе эти стороны, как движущиеся противоположности, Маркс и пришел к теории социальной революции, как высшей форме разрешения накопившихся противоречий.

Поэтому мы и в праве теоретически анализировать каждую из этих двух сторон в известной степени раздельно. Производственные отношения в их связи с производительными силами становятся предметом политической экономии. Однако политическая экономия не в состоянии охватить все проблемы, связанные с непосредственным процессом материального производства. Изучение последнего, со стороны развития производительных сил, может быть выделено в особую науку, исследующую эту сторону процесса непосредственного производства в ее связи с производственными отношениями. В 13 главе I тома «Капитала» мы находим утверждение о необходимости создания подобной «истории технологии» или науки об общественной технике. Данного вопроса не смогли обойти даже Г. Дукор и А. Ноткин. Они вынуждены были отметить, что «Маркс здесь ставит задачу создания истории технологии. Последняя должна показать, как конкретное развитие «производительных органов общественного человека» вело с необходимостью к смене общественных отношений и какие социальные потребности влияли на техническую логику развития средств производства,

как, например, технически была разрешена историей общественная задача создания адэкватной капиталу организации производственного процесса» [1]).

Очертив столь старательно содержание науки об общественной технике, выяснив конкретные черты ее об'екта, Г. Дукор и А. Ноткин, казалось бы, должны были заявить о необходимости подобной науки. Однако их логика полностью соответствует принципу «совсем наоборот». Вслед за этим мысль авторов приходит к еще более неожиданным выводам. Оказывается, что производительные силы потому должны исследоваться политической экономией, что их развитие всецело определяется развитием производственных отношений... Иначе говоря, авторы вступают в противоречие с самими собой. Вначале они превратили производственные отношения в пассивный рефлекс производительных сил. Теперь же они собираются превратить производительные силы в пассивный придаток производственных отношений. Так мстит за себя механистический метод, заставляющий его последователей перебегать от одной крайности к другой.

Но перейдем к анализу новейших откровений наших экономистов. Г. Дукор и А. Ноткин, отождествив производительные силы и производственные отношения, не видят никакого различия между ними. Отсюда они приходят к вполне последовательному, с их точки зрения, выводу о том, что безразлично, брать ли за исходный пункт исторического развития развитие производительных сил или же динамику производственных отношений. А так как Ленин всегда определял политическую экономию, как науку о производственных отношениях, то наши авторы приходят к выводу, который ими сформулирован в следующих выражениях: «Специфически-общественные законы развития производительных сил следует искать в развитии производственных отношений. Политическая экономия, изучая последние, как форму движения производительных сил капитализма, тем самым раскрывает социальные законы их развития» [2]). При этом наши авторы ссылаются на слова Плеханова о том, что «более глубокий анализ приводит к пониманию формы, как «закона» предмета или лучше сказать, его строения» [3]). Но, ссылаясь на эти слова Плеханова, Г. Дукор и А. Ноткин обнаруживают только непонимание этих слов. Действительно, форма представляет собой «закон» строения предмета. Но всякое положение диалектики является правильным только до тех пор, пока его применяют диалектически. Наши же авторы абсолютизируют это положение Плеханова и формально-логически его трактуют. Они не замечают того, что, говоря о «законе», автор цитаты берет это слово в кавычки, предостерегая, тем самым, от вульгарного с ним обращения. Между тем, положение, выставленное Г. Дукором и А. Ноткиным в подобной его категорической формулировке, является безусловно ошибочным, ведет к непониманию взаимоотношения между производительными силами и производственными отношениями.

В самом деле, если мы говорим, что «специфически общественные законы развития производительных сил следует искать в развитии производственных отношений», то из этого положения следует, прежде всего, что если захотеть подвергнуть подробному, специальному исследованию самые социальные закономерности развития производительных сил, то получится одна лишь годая техника, один Богдановский техницизм, и никакого вскрытия социальных закономерностей не получится. Ничего

[1]) Там же, стр. 115.
[2]) Там же, стр. 115. Разрядка цитируемых авторов.
[3]) Плеханов, Соч., т. XVII, стр. 35.

не получится. Формально-логически и механистически понимая взаимоотношение между производительными силами и производственными отношениями, наши авторы считают, что все «специфически-общественные законы» заключены в производственных отношениях, и только в них содержатся. Производительные силы лишены, следовательно, общественной характеристики. Они отдают все свои социальные моменты производственным отношениям. Отсюда наши авторы приходят к выводу, согласно которому наука об общественной технике не нужна. Раз все общественное содержится только в производственных отношениях, то попытка исследовать общественно-историческое развитие производительных сил, заранее обречена на неудачу. Наши авторы соглашаются говорить о технике, но решительно протестуют против понятия «общественная техника». Последнее, с их точки зрения, представляет собой явную нелепость.

Нечего и говорить, что точка зрения наших авторов не имеет ничего общего с марксизмом. Производительные силы, даже и в том случае, когда они исследуются особо и специально, на самом деле обладают общественным характером. Общественный характер производительных сил выражается в том, что они являются общественными производительными силами, т.-е. производительными силами определенного, исторически развивающегося общества, и как таковые входят в систему общественного разделения труда. Это вынуждены признать также и тов. Бессонов, когда он заявляет, что только «для Рубина вещи суть натуралистическая категория, предпосылка экономического феномена, простая техническая возможность для возникновения последнего. Иначе, как известно, подходил к вещам Маркс [1]). Правда, тов. Бессонов совершает ту ошибку, что он подобно Богданову переименовывает производительные силы в «вещи». Но этот момент нас сейчас не интересует. Таким образом, тов. Бессонов заявляет нам, что производительные силы («вещи») являются не только чем-то натуралистическим. Г. Дукор и А. Ноткин берут производительные силы вне их общественной хаарктеристики, считают их чисто-натуралистическим понятием.

Вопреки Г. Дукору и А. Ноткину, Ленин утверждал, что неправильно представлять себе прозводительные силы, как нечто натуралистическое. В своих замечаниях на «Экономику переходного периода» тов. Бухарина Ленин неоднократно отмечает, что Н. И. Бухарин впадает, подобно А. Богданову, в крупнейшую ошибку, когда он только технически понимает производительные силы, когда он склоняется к богдановской организационной теории и техницизму. Когда тов. Бухарин пишет: «Маркс под производительными силами разумеет, очевидно, вещественные и личные элементы производства и, сообразно с этим, категория производительных сил является категорией *не* экономической, *а* технической», то Ленин немедленно замечает: «Сообразности» как раз не вышло, ибо «личное» (неточный термин) не есть «техническое» [2]).

Формулировка наших авторов о законах развития производительных сил ошибочна еще в одном отношении. Согласно этой, столь резко и категорично сформулированной точке зрения, оказывается, что развитие производственных отношений представляет собою тот закон, которому подчиняется развитие производительных сил. Следовательно, производственные отношения выступают как примат по отношению к производительным силам. Раньше речь шла о «равноправии» производительных сил и производ-

[1]) Бессонов, Против выхолащивания марксизма, «Проблемы Экономики» № 1, стр. 140—141. Разрядка наша.

[2]) См. Ленин. Замечания на «Экономику переходного периода», стр. 371.

ственных отношений, теперь уже речь идет о примате одной из сторон «общественного развития». Вот что значит прокричать «наоборот»!

Г. Дукором и А. Ноткиным ставится на голову все марксистско-ленинское представление об общественно-экономическом развитии. Ими, по сути дела, об'являются конечной движущей причиной развития человеческого общества производственные отношения людей. Последние, между тем, представляют собой, согласно Марксу, форму развития производительных сил. Как таковая, производственные отношения об'ясняют нам социальную структуру данных производительных сил, являются «законом» их строения. Но формулировка Г. Дукора и А. Ноткина, гласящая, «что специфически-общественные законы развития производительных сил следует искать в развитии производственных отношений», является сугубо ошибочной, так как она всецело подчиняет производственные силы производственным отношениям. Как можно форму ставить в положение абсолютного гегемона по отношению к содержанию? Из этой формулировки вытекает, что производительные силы, всецело определяясь производственными отношениями, должны к ним приспособляться. Иначе говоря, противоречие между производительными силами и производственными отношениями при капитализме должно, очевидно, разрешаться посредством торможения развития производительных сил. Слова Г. Дукора и А. Ноткина о «специфически-общественных законах» являются ловушкой для доверчивого читателя. Нечего и говорить, что именно эта мысль полностью противоречит всему учению Маркса и Ленина и, в частности, ленинской теории империализма. Ленин в своей работе об империализме говорит об общественных средствах производства, существующих при частнокапиталистическом присвоении. «Капитализм,—пишет Ленин,—в своей империалистической стадии вплотную подводит к самому всестороннему обобществлению производства, он втаскивает, так сказать, капиталистов, вопреки их воле и сознанию, в какой-то новый общественный порядок, переходный от полной свободы конкуренции к полному обобществлению. Производство становится общественным, но присвоение остается частным. Общественные средства прэизводства остаются частной собственностью небольшого числа лиц» [1]). Совершенно ясна здесь общественная роль развивающихся общественных производительных сил. А наши авторы предлагают законы общественного развития искать только в одних лишь производственных отношениях.

Товарно-капиталистическое производство является стихийным производством, прежде всего, потому, что производственные отношения людей — участников этого производства — осуществляются в его пределах, через посредство товаров и акта обмена. В обмене товаров один товаропроизводитель устанавливает свое производственное отношение с другими столь же автономными товаропроизводителями и включается таким образом в систему общественного производства. «Обмен товаров есть тот процесс, в котором общественный обмен веществ, т.-е. обмен особенных продуктов частных лиц, одновременно есть установление определенных общественных производственных отношений, в которые частные лица вступают в этом обмене веществ» [2]). Но при исключительно поверхностном рассмотрении товарно-капиталистического производства, свойственного буржуазной политической экономии, эта его особенность исчезает. Товарное хозяйство предстает перед нами в виде единого целостного хозяйства, на ряду с которым существуют, не имеющие к нему прямого отношения, бесчисленные меновые сделки. Буржуазная апологетика спешит фиксировать эту внешнюю поверхность капитализма. Она

[1]) Ленин, Империализм как новейший этап капитализма, Соч., изд. 1-е, т. XIII, стр. 253—254. Разрядка наша.

[2]) Маркс, К критике политической экономии, 1929, стр. 89—90.

старается закрепить это кажущееся отсутствие всяких противоречий. Отличительная особенность данного способа общественного производства,— его анархичность и неорганизованность,— целиком и полностью исчезает. Товарно-рыночные формы его стихийного движения и регулирования остаются, при подобном рассмотрении, незамеченными. Атомистический характер производства полностью исчезает в недрах этого *кажущегося единства*.

Г. Дукор и А. Ноткин не справились с проблемой единства и атомизма товарно-капиталистического общества. Последнее есть единство, но атомистическое единство. Атомизм входит в это *единство* как *анархическое* и антагонистическое содержание этого единства. Наши же авторы делают гениальную ошибку. Они противопоставляют друг другу единство и атомизм, как два различных фактора, и думают, что это есть противопоставление диалектики механистическому методу. Но напрасно они так думают. Подобно тому, как не всякая дубина есть столб,— подобно этому, не всякое противопоставление есть диалектика. Наши авторы считают, что товарно-капиталистический способ производства должен исследоваться динамически, а не статически. Из этого вполне бесспорного положения спешат они сделать более чем ошибочный вывод о том, что стихийные особенности данного хозяйства при динамическом подходе, якобы, исчезают. Оказывается, что динамический (а стало быть, и диалектический) метод исследования заключается в игнорировании анархических и противоречивых сторон этого производства. «По мнению Рубина,— пишут наши авторы,— «в товарно-капиталистическом обществе отдельные лица связываются *непосредственно* друг с другом определенными производственными отношениями не как члены общества, не как лица, занимающие определенное место в общественном процессе производства, а как владельцы определенных вещей, как «социальные представители» различных факторов производства». Это противопоставление («не как...», «а как») людей, как владельцев вещей, людям, как участникам общественного процесса производства, основано на *статическом* подходе к производственным отношениям товарно-капиталистического общества. Если рассматривать общественный процесс производства *в движении*, то окажется, что люди вступают между собою в связь как владельцы вещей, *именно: как участники общественного процесса производства*» [1]).

Таким образом, согласно «динамической» точке зрения Г. Дукора и А. Ноткина, оказывается, что *непосредственно* уже в акте обмена товаропроизводители выступают как лица, занимающие определенное место в процессе общественного производства. Этим опрокидываются все явления товарного фетишизма и неорганизованному хозяйству придаются гармонические черты. Ибо вся теория товарного фетишизма построена Марксом как раз на том действительном факте, что в процессе обмена товаров производственные отношения людей скрыты за этими товарами и никакая «динамичность» не может доказать отсутствия этого вполне реального явления, этой «прозаически-реальной» мистификации. Маркс утверждает как раз то, что изо всех сил старательно отрицают наши авторы. «*Действительное* отношение товаров друг к другу—*это процесс их обмена*. Это — общественный процесс, в который вступают независимые друг от друга индивиды, но они вступают в него только *в качестве владельцев товаров*, их существование друг для друга — это существование их товаров, и таким образом они на деле являются лишь сознательными носителями процесса обмена» [2]). Отсюда с несомненностью следует, что «в процесс обращения

[1]) *Дукор и Ноткин*, Как нельзя бороться «против механистических тенденций в политической экономии», стр. 115 — 116. Разрядка наша.

[2]) *Маркс*, К критике политической экономии, стр. 77. В последнем случае разрядка наша.

товаровладельцы вступили просто как держатели товаров» [1]), а отнюдь не как лица, занимающие определенное место в общественном процессе производства. Слышите ли вы, тт. Дукор и Ноткин, о чем говорит Маркс?

Если бы товаропроизводители, действительно, выступили в обмене, как люди, занимающие определенное, заранее твердо установленное место в процессе товарного производства, то исчез бы не только товарный фетишизм, но и вся стихийность и антагонистичность данного способа общественного производства. «Динамическая» точка зрения Г. Дукора и А. Ноткина заключается, таким образом, в попытке потопить (и это есть диалектика!) в движении товарного производства самую анархию этого производства. Именно поэтому Маркс и отмечал фетишизм товарного мира, анализировал те социальные характеристики, в которых выступают обменивающиеся товаропроизводители. Г. Дукор и А. Ноткин попросту клевещут на материалистическую диалектику, выдавая ее за теорию преднамеренной гармонии. Любопытное зрелище. «Уточнители» Ленина оказываются гармонизаторами капиталистического способа производства. Работы Кэри и Бастиа не пропали даром.

Запутавшись в «динамических» дебрях своей теории, наши авторы прибегают к приему, свойственному всем теоретикам, пытающимся «уточнить» всю марксистскую литературу. Они приписывают одному из нас такие взгляды, которые ему никогда и нигде не приходилось высказывать по той простой причине, что он с ними не согласен. Оказывается, что «один из участников сборника утверждает, что вообще вопрос *о связи* между производственными отношениями и производительными силами *не имеет никакого отношения к предмету* политической экономии» [2]). И далее следует небольшая «цитата», долженствующая подтвердить, что один из нас действительно придерживается этого положения. Но все дело заключается в том, что, как известно, на нескольких фразах, соответствующим образом вырванных из общего контекста, можно построить самое чудовищное обвинение. В том месте, на которое ссылаются наши блюстители «уточненной» марксистской ортодоксии, не только нет подобного немарксистского положения, но прямо указывается, что «*предметом политической экономии являются производственные отношения в их связи с производительными силами*» [3]). Эта фраза, очевидно, представляет собой изложение несколько иной мысли, нежели ложное утверждение наших авторов. Почему же тт. Дукор и Ноткин посредством многоточий скрыли наше утверждение? Потому, что так гораздо легче полемизировать.

Всякому должно быть ясно, что Гр. Деборин сказал только то, что он в действительности сказал: политическая экономия изучает производственные отношения людей в их связи с производительными силами капиталистического общества. Все ударение ставится именно на необходимость исследования производственных отношений товарно-капиталистического хозяйства *в их связи с* производительными силами. В то же самое время здесь выясняется различие, существующее между политической экономией и историческим материализмом. Различие заключается в том, что наша наука исследует процесс материального производства со стороны присущих ему производственных отношений. Политическая экономия устремляет свое внимание именно на эти отношения, а не на производительные силы, хотя она исследует эти отношения в их связи с производительными силами. Между тем, исторический материализм *не делает ударения* на производствен-

[1]) Там же, стр. 138.

[2]) *Дукор и Ноткин*, Как нельзя бороться «против механистических тенденций в политической экономии», стр. 121. Разрядка наша.

[3]) *Гр. Деборин*, Предмет политической экономии в современных спорах.

ных отношениях, не исследует специально эти отношения, а интересуется всесторонним исследованием всех сторон общественной жизни в результате производства людьми своих материальных условий бытия. И политическая экономия и исторический материализм изучают одно и то же человеческое общество. Но, изучая одно и то же, они изучают не одно и то же в этом одном и том же. Как можно против этого возражать?

Теперь мы можем по достоинству оценить наших авторов. Извратив мысли одного из участников сборника, они шумно пляшут вокруг своего же собственного измышления, наполняя этим «содержанием» целые страницы своей статьи. Но, применяя подобные приемы якобы серьезной «критики», авторы явственно доказывают, что по существу они ничего дельного сказать не могут.

Точка зрения наших авторов, которую они пытаются выдать за новейшее научное откровение, одним махом разрешающее все спорные проблемы, связанные с интерпретацией основных вопросов марксистской политической экономии, является на самом деле эклектической и механистической. Г. Дукор и А. Ноткин разделяют точку зрения тт. А. Кона и С. Бессонова. Они полностью с ними солидаризируются. Популяризируя ошибочные утверждения экономических механистов, наши авторы добавили также и свои собственные ошибки. «Уточняя» ленинское определение предмета политической экономии, наши авторы, вместе с тем, отождествляют производительные силы и производственные отношения. Они уничтожают всякую возможность для какого бы то ни было противоречия или несоответствия между ними. Производительные силы представляют собой для Г. Дукора и А. Ноткина нечто сугубо натуралистическое, к чему невозможен даже общественный подход. В связи с этим, Г. Дукор и А. Ноткин передвигают все социальные функции производительных сил в область производственных отношений, передавая туда же и все те законы, которые, в конечном счете, управляют существованием и развитием общественного производства. Наконец, точка зрения «динамичности» заключается в сглаживании и уничтожении противоречий, существующих внутри товарно-капиталистического способа производства. Все эти ошибочные моменты вытекают один из другого. Эти ошибки всецело обусловлены механистичностью теоретической концепции Г. Дукора и А. Ноткина. Теперь становится очевидным, почему, декларируя ошибочность механистического подхода к политической экономии, наши авторы не могут ничего сказать против механистического мировоззрения. И это об'ясняется только тем, что методология у них одна и та же, — методология механистического материализма.

2. Проблема абстрактного труда у Маркса и у представителей „арбитражного комитета“.

«Благополучно» завершив исследование вопроса о предмете политической экономии, наши авторы переходят к проблеме абстрактного труда. Они справедливо заявляют при этом, что «дискуссия о предмете политической экономии на ее нынешнем этапе является логическим продолжением дискуссии об абстрактном труде» [1]). Очевидно, что в соответствии с этим тезисом Г. Дукор и А. Ноткин, в главе, посвященной абстрактному труду, развивают и усугубляют ошибки, вытекающие из их понимания об'екта нашей науки.

В вопросе об абстрактном труде критикуемые нами авторы, повидимому, по причине двойственной природы человеческого труда, заняли явно двойственную позицию. Всюду там же, где они пытаются сказать нечто оригинальное и самостоятельное, мы встречаем одни лишь, столь хорошо нам знакомые, механистические напевы и перепевы. В своей тщетной попытке бороться и против механистов (тт. Кона и Бессонова), и против группы диалектических материалистов они выступают в качестве эклектиков механистического толка и фактически всецело присоединяются к позиции, разделяемой всеми экономическими механистами.

[1]) Там же, стр. 122.

Декларируя двойственность своей теоретической позиции, Г. Дукор и А. Ноткин пишут: «Нельзя не согласиться с тов. Леонтьевым, когда он критикует точку зрения тов. Кона, утверждавшего, что абстрактный труд есть только затрата физиологической энергии и присущ всем общественно-экономическим формациям... Поскольку тов. Кон продолжает оставаться на старых позициях, необходимо продолжать борьбу против его попыток прикрыть их именем Маркса» [1]). Следовательно, наши авторы сами как будто бы признают, что борьба с тем течением, которое возглавляется А. Коном и С. Бессоновым, должна продолжаться и впредь. Но как же сами авторы ведут эту борьбу с механистическим течением в политической экономии? Мы увидим, что на самом деле они никакой борьбы не ведут и ограничиваются ничего не значащими декларациями. Мы увидим, что их теоретическая «борьба» против механистов представляет собой и в вопросе об абстрактном труде в такой же степени ложную теоретическую ссору, как и в вопросе о предмете политической экономии.

На первых ступенях своего анализа наши авторы вступают в мнимый теоретический «бой» с тов. Коном. Они возражают ему, когда он утверждает, что «из того, что в товарном обществе происходит сведение конкретного труда к абстрактному, совершенно не следует, что абстрактный труд является исключительно категорией товарного хозяйства». С этим внеисторически понимания абстрактного труда наши авторы, повидимому, не желают солидаризироваться. «Эта ошибка тов. Кона не случайна,— пишут они.— Она целиком увязывается с его механистическим пониманием общественного развития, энергетической концепцией исторического процесса, которой проникнуты все его работы» [2]). Несмотря, однако, на такое декларирование немарксистского характера теоретической концепции А. Кона, авторы, тем не менее, проявляют к ней исключительную терпеливость. Эта «странная» терпеливость имеет своим спутником исключительную непоследовательность наших авторов. Вследствие этого их собственная точка зрения оказывается ни чем иным, как... повторением все ошибок тов. Кона, но в более запутанной и усложненной форме.

После декларации о немарксистском характере концепции А. Кона наши авторы приступают к «краткому» изложению истории полемики, в которой они всячески пытаются убедить читателя в том, что якобы они первые сказали э-э! Эта «краткая» история самолюбования занимает четыре с половиной печатных страницы. И, наконец, мы получаем положительное определение результатов спора, что является венцом всей их критической мудрости или своего рода новейшим решением вопроса. Определение, даваемое нашими авторами абстракному труду, гласит: «Под абстрактным трудом, таким образом, Маркс понимает не просто общечеловеческий характер труда, как затрату однородной человеческой рабочей силы,— как думает тов. Кон,— а ее затрату в определенных социально-исторических условиях, при которых «всеобщий характер обособленного труда» выступает, «как его общественный характер» [3]). Таким образом, по мысли авторов, абстрактным трудом является не просто физиологическая затрата труда, как думает А. Кон, а его затрата в пределах определенного общества.

[1]) Там же.
[2]) Там же.
[3]) Там же, стр. 126.

Но ведь ради подобного результата авторам, ей-ей, не следует ссориться с тов. Коном. Разница между нашими авторами и А. Коном заключается лишь в том, что наши авторы определяют абстрактный труд только чуточку похуже тов. Кона. Они хотят несколько «уточнить» тов. Кона. Но последний как раз в своей непоследней статье, написанной предпоследними словами, дает вряд ли предпоследний и во всяком случае не последний итог своим многолетним хождениям по абстрактному труду [1]). Несмотря на некоторое различие в путях анализа, результат получился более чем тождественный. А. Кон «громит» Б. Борилина за то, что тот установил теоретическое родство тов. Кона с Н. Кажановым. При этом А. Кон, подобно нашим авторам, доказывает, что абстрактный труд представляет собою затрату физиологического труда в условиях общественного производства и, как таковой, является историко-внеисторической категорией.

Защищая свой ошибочный «Курс» на «Политическую экономию», тов. Кон приводит автоцитаты: «Абстрактный труд в его специфической меновой общественной форме или, говоря иначе, труд, создающий стоимости, есть историческая категория, свойственная только меновому обществу» [2]). Продолжая далее «разносить» тов. Борилина, тов. А. Кон восклицает: «Борилин утверждал, что Кон не признает за трудом, создающим стоимость, исторической специфичности,—оказывается, Кон всячески подчеркивает, что труд, создающий стоимость, есть историческая категория» [3]). Это с одной стороны. Но для наших экономических механистов характерна необычайная эклектичность. Они, в порядке уточнения, «соединяют» экономическую теорию Маркса с кем угодно. Поэтому, не ограничиваясь «одной стороной», т. Кон утверждает также и нечто совершенно противоположное. Чувствуя неудобства своей же собственной теоретической позиции, тов. Кон, автор статьи «Б. Борилин как критик», спрашивает у т. Кона, автора «Курса политической экономии», следующее: «Однако как примирить приведенные выше цитаты из моего «Курса», подчеркивающие историческую специфичность труда, создающего стоимость,— абстрактного труда менового общества, с другими цитатами, в роде, например, следующих: «Не следует думать, что понятие абстрактного труда применимо только к меновому обществу. Всюду, где возникает необходимость соизмерения различных видов труда, приходится прибегать к помощи понятия абстрактного труда». «Абстрактный труд вообще есть категория, свойственная не только меновому обществу, но и всякому обществу с расчлененной системой разделения труда». Не вытекает ли из этих слов, что я считаю абстрактный труд менового общества, т.-е. труд, создающий стоимости, неисторической категорией? Ни в коей мере. Из всего контекста книги ясно..., что я различаю две различные [4]) вещи—«абстрактный труд вообще» и «абстрактный труд менового общества», т.-е. «труд, создающий стоимости» [5]).

Тов. Кон обнаруживает себя хотя и не блистательным, но софистом. Он действительно различает две различные вещи: абстрактный труд и абстрактный труд. Первый абстрактный труд существует во все исторические времена, второй абстрактный труд существует только в меновом обществе. Но ведь внеисторическое понимание как раз и заключается в том, что одна и та же категория признается действительной и для менового общества, и для других обществ. И суть дела нисколько не изменится, если тов. Кон одно и то же, с его точки зрения внеисторическое, понятие будет рассматривать одно-

[1]) См. Кон, Б. Борилин как критик, «Проблемы Экономики» № 6, 1929 г.
[2]) Там же, стр. 109.
[3]) Там же.
[4]) Различить различие — нельзя. Этого у Маяковского нет, тов. Кон (Г. Д. и М. Ч.).
[5]) Кон, Б. Борилин как критик, стр. 110.

временно и как историческое, и как неисторическое. Всячески стараясь применить свою механистически-богдановскую внеисторическую концепцию к марксистской политической экономии, тов. Кон действительно начинает «различать различное». Он устанавливает два понятия: «абстрактный труд вообще», с одной стороны, и «абстрактный труд менового общества», с другой. Последний и есть по Кону абстрактный труд в его дуалистической марксистско-богдановской характеристике.

Но что же мы видим? Оказывается, что тот вывод, к которому приходит, в результате всех своих рассуждений, тов. Кон, целиком и полностью совпадает с «самоновейшей» точкой зрения тт. Дукора и Ноткина. Последние также утверждают, что физиологическая затрата труда или общечеловеческий труд, затраченный в «определенных социально-исторических условиях» менового общества, есть абстрактный труд. В чем же здесь различие между Г. Дукором и А. Ноткиным, с одной стороны, и А. Коном, с другой? Ни в чем. Наши авторы признают, что «общечеловеческий характер труда существует при всех общественно-экономических формациях» [1]), тов. Кон именно об этом и говорит все время. Ведь это он пишет: «Абстрактный труд вообще есть категория, свойственная не только меновому обществу, но и всякому обществу». Здесь, правда, имеется некоторое различие в словоупотреблении термина: абстрактный. Г. Дукор и А. Ноткин говорят все время об общечеловеческом характере труда вообще, тов. Кон говорит об абстрактном труде вообще. Заметим по этому поводу, что общечеловеческий труд вообще понимается также и нашими авторами, как абстрактный труд вообще. Для этого приведем соответствующие доказательства: «Понятие абстрактного труда в своей отвлеченности применимо ко всем эпохам» [2]). Или, если хотите, можно «выразиться» и иначе: «Абстрактный труд обозначает формально-логически, то-есть со стороны содержания своих определений, просто затрату человеческой рабочей силы в отвлеченном виде, то-есть нечто прилложимое ко всем обществам» [3]). Щегольнув несколько раз диалектическими категориями, упомянув о «динамичности» и «качестве», наши авторы впоследствии замещают всю диалектику формальной логикой. Поэтому, если для диалектика «все течет, все изменяется» и, следовательно, абстрактный труд не может быть вечной внеисторической категорией, то Г. Абезгауз, Г. Дукор и А. Ноткин подходят к вопросу формально-логически и абсолютизируют абстрактный труд, превращая его в нечто такое, что существовало и существует с момента сотворения мира, от века.

Мы видим таким образом, что и с этой стороны анализа предмета спора точки зрения тт. Кона, Абезгауза, Дукора и Ноткина полностью совпадают. Все они в полном противоречии со всеми классиками марксизма, но в союзе с А. Богдановым, Н. Кажановым, А. Финн-Енотаевским и многими другими, рассматривают нашу науку и ее отдельные категории, как понятия, пригодные для всех времен и народов.

Нужно, однако, иметь в виду и другую сторону видимости разногласий. Авторы статьи все время всячески раз'ясняют тов. Кону, что понятие абстрактного труда «становится практически истинным, т.-е. реализуется при определенных исторических условиях». Такое различие между «понятием и об'ективным осуществлением понятия вытекает из самой сути диалектического материализма» [4]). Или, иначе говоря, наши ваторы рассматривают экономические категории не как абстракции определенных обще-

[1]) Дукор и Ноткин, цитируемая статья, стр. 126.
[2]) Дукор, выступление на диспуте об абстрактном труде. См. Рубин, Абстрактный труд и стоимость в системе Маркса, стр. 49.
[3]) Абезгауз, Дукор и Ноткин, Некоторые вопросы политической экономии в освещении т. Кона, стр. 224.
[4]) Дукор, выступление на диспуте об абстракном труде, стр. 49.

ственных отношений производства, а как некие понятия, которые могут «об'ективно осуществиться» в производственных отношениях. Подобное противопоставление, по сути дела, является идеалистическим противопоставлением и полнейшим отрывом мышления от бытия. Эта же мысль о «практической» «реализации» идеального понятия абстрактного труда в несколько иной форме подчеркивается и в анализируемой нами статье. «Абстрактный труд, по Марксу,— раз'ясняют авторы,— выражает не просто общечеловеческий характер труда, как затрату однородной человеческой рабочей силы,— как думает тов. Кон,— а ее затрату в определенных социально-исторических условиях» [1]). Здесь ударение делается на определенных социально-исторических условиях, и этим ограничиваются все особенности данного определения. Но ведь тов. Кон и этого не отрицает. Наоборот. С этой стороны он целиком солидарен со своими мнимыми противниками. Ведь А. Кон неизменно утверждает следующее: «если я говорю, что понятие абстрактного труда «вообще» приложимо ко всем общественным формациям, то здесь я только повторяю мысль Маркса [2]) и что это никак не ведет к отрицанию историчности труда, создающего стоимости — абстрактного труда менового общества, а тем более не ведет к признанию стоимости внеисторической категорией» [3]). И в другом месте тов. Кон заявляет еще более определенно: «Труд, создающий стоимости, является исторической категорией, однако не потому, что это есть абстрактный труд, а потому, что этот абстрактный труд общественно-организован определенным образом» [4]).

Тов. Кон категорически подчеркивает общественно-исторические условия, в которых протекает затрата человеческого труда при товарно-капиталистическом способе производства. Критикуя в этом отношении тов. Кона, наши авторы ломятся в открытую дверь. Следовательно, и с этой стороны, разногласия между тт. Дукором и Ноткиным и тов. Коном являются мнимыми разногласиями. Критика нашими авторами положений А. Кона об абстрактном труде есть таким образом не более, как полемическая дань кон'юнктуре полемики. Полемическая кон'юнктура,— вот теоретический барометр статьи тт. Дукора и Ноткина.

В чем же заключается сущность спора об абстрактном труде? И в чем центральная ошибка тт. Дукора и Ноткина? Центральная ошибка последних, равно как и всех других экономических механистов, заключается в том, что они фактически ищут физиологическую, чувственно-осязаемую меру абстрактного труда. Несмотря на все их бесчисленные разговоры и подчеркивания «социальной» природы абстрактного труда, в последний под тем или иным полемическим соусом все время включается непосредственно-вещественно-натуралистическое содержание. Здесь и заключается узел всех разногласий. Сначала для успокоения души тт. Дукор и Ноткин соглашаются с тем, что «верно», что «Маркс не уставал повторять, что стоимость есть явление общественное. Верно, что предметность стоимости (Wertgegenständlichkeit) не заключает в себе ни одного атома природного (натурального) вещества (Naturstoff) [5]). Затем нашими авторами говорится нечто совершенно противоположное посредством беспринципного смешения разных понятий. Оказывается, что совершенно неправильно полагать, что в абстрактном труде непосредственно не содержится вещественной чувственно-

[1]) Дукор и Ноткин, цитируемая статья, стр. 126.
[2]) Это специфическое «повторение» мыслей Маркса требует соответствующей детальной проверки. В данном случае мы только демонстрируем действительный характер мнимых разногласий.
[3]) Кон, Б. Борилин как критик, стр. 113.
[4]) Кон, выступление на диспуте об абстрактном труде, стр. 57.
[5]) Дукор и Ноткин, цитируемая статья, примечание на стр. 127.

воспринимаемой, атомистической материи. Абстрактный труд должен быть «материализован» посредством включения в него чувственно-воспринимаемого вещества.

Наши авторы вначале утверждают, что «предметность стоимости не заключает в себе ни одного атома природного (натурального) вещества». Превосходно! Значит абстрактный труд, как созидатель стоимостей, также не заключает в себе непосредственно ни одного атома естественного (натуралистического), чувственно-осязаемого вещества. Следовательно, содержанием абстрактного труда является отнюдь не натуралистически-вещественная, а особенная общественная материя, не измеряемая атомно-физическими единицами. Следовательно, абстрактный труд является об'ективной общественной реальностью и потому материален в общественном смысле своего содержания, хотя его нельзя ни понюхать, ни пощупать. Речь все время идет о материальном характере абстрактного труда в социальном смысле этой материальности.

Авторы, якобы не замечая тавтологии в своих доказательствах и чувствуя, что все-таки нужно же в конце концов ответить на вопрос: из чего же (и действительно, тт. Дукор и Ноткин: из чего же?) состоит абстрактный труд, делают реверанс в сторону физиологического понимания этого абстрактного труда. «Однако,—замечают они,—если абстрактный труд по Марксу включает затрату человеческой рабочей силы, однородной в физиологическом смысле, то нельзя ли отсюда сделать вывод, что Маркс (при чем тут Маркс? *Г. Д.* и *М. Ч.*) был сторонником вульгарного грубого материализма, в чем его неоднократно упрекали буржуазные критики» [1]). Делая этот кивок в сторону вульгарно-физиологического понимания абстрактного труда, авторы тут же «спохватились» и начали немедленно отступать от своего столь неосторожного выражения. Для того, чтобы возможно лучше обезопасить себя от упреков в пользовании методом механического материализма, они действуют по тому же испытанному способу, который неоднократно применяется тов. Коном. Этот метод заключается в том, что собственные мысли выдаются за обобщение мыслей Маркса. «Маркс, таким образом,—пишут они,—рассматривал стоимость не как конденсацию мускулов, нервов, а как своеобразный, исторически определенный способ выражения общественного труда» [2]).

Вот это действительно образец классической акробатики. Можно даже воскликнуть: чудеса американской техники! Раньше утверждается, что «абстрактный труд по Марксу включает затрату человеческой рабочей силы, однородной в физиологическом смысле», а в следующем абзаце утверждается нечто не только обратное, но просто непонятное. Оказывается, что стоимость, содержанием которой является абстрактный труд, не есть конденсация мускулов и нервов. Значит и абстрактный труд не есть мускулы и нервы. Так чем же, в конце концов, является абстрактный труд, товарищи Г. Дукор и А. Ноткин?

Таким образом, ныне выясняется что абстрактный труд — эта субстанция, основа, содержание стоимости—есть нечто «своеобразное», а вовсе не мускулы и нервы. Но что же такое это «своеобразное»?

Конкретной характеристики стоимости и абстрактного труда мы, следовательно, от авторов не получили. Мы также не получили членораздельной характеристики количественной проблемы абстрактного труда. Эквивалентом, повидимому, должен служить героический призыв к защите «позиций диалектического материализма в политической экономии». Этой очередной деклара-

[1]) Там же, стр. 128.
[2]) Там же, стр. 128.

цией, этим призывом ко всем, и заканчивается «ортодоксальнейшая из ортодоксальных» статья наших авторов.

Путь к анализу анархического антагонизма капиталистического способа производства окажется отрезанным, если общественная природа абстрактного труда будет вытеснена натуралистическим его пониманием. Желание во что бы то ни стало найти физиологическую меру абстрактного труда является камнем преткновения как для экономических механистов, так и для примыкающих к ним, несмотря на призрачную видимость мнимых разногласий тт. Дукора и Ноткина. В противоположность этому «исканию» мы утверждаем, что задача определения физиологической меры абстрактного труда является попыткой утопического характера. Маркс неоднократно подчеркивает, что законы капиталистической экономики осуществляются стихийно, как слепая сила природы, среди беспрестанных противоречий и противоположностей. Одно из противоречий капиталистического хозяйства заключается в том, что «возрастающей массе вещественного богатства может соответствовать одновременно понижение величины его стоимости» [1]). Товаропроизводитель тратит *x* часов конкретного труда в качестве затраты «человеческой рабочей силы в особой целесообразной форме». «И в качестве этой конкретной полезной работы труд создает потребительные стоимости» (Маркс). Эта масса потребительных стоимостей равна *x* конкретного труда. Но в капиталистической практике это количество конкретного труда, в своей превращенной форме, может выступить и как несколько отличное число абстрактного труда. Поэтому, физиологически подходя к проблеме абстрактного труда, мы никогда не сможем определить истинную величину этого абстрактного труда. Абстрактный труд, представляя собой некоторую часть совокупного общественного труда, стихийным порядком приравненную и сопоставленную к другим частям этого труда, является значительно сложнее обычной физиологической категории и потому непосредственно не может содержать в себе этой физиологии.

Маркс потому и указывал, что к двойственной природе труда «тяготеет понимание политической экономии» [2]), что при помощи абстрактного труда он об'яснил общественную тайну движения и изменения величины стоимости, качество ее трудового содержания. И, в соответствии со всеми своими исходными положениями, он все время подчеркивал, что «в меновой стоимости содержится не больше вещества, данного природой, чем, например, в вексельном курсе» [4]). Так как стоимость представляет собой общественное отношение товарно-капиталистического производства, то понятно, что «в прямую противоположность чувственной грубой субстанции товарных тел ни один атом природного вещества не входит в субстанцию их стоимости» [5]). Товары выступают в двойной форме: натуральной и стоимостной. Форма стоимости товара отлична от его натуральной формы. Товары принимают эту двойственную форму «как предметы потребления и как носители стоимости. Следовательно, они являются товарами или имеют товарную форму лишь постольку, поскольку они обладают этой двойной формой,— натуральной формой и формой стоимости» [3]). Бытие товаров, как меновых стоимостей, «не заключает в себе ни одного атома потребительной стоимости» [6]).

В противоположность всем экономистам-механистам, Маркс постоянно подчеркивает, что стоимость не содержит в себе ни одного атома «вещества, данного природой», что «ни один атом природного вещества не входит в субстанцию их (т.-е. товарных тел. *Г. Д.* и *М. Ч.*) стоимости», что меновые стоимости «не заключают в себе ни одного атома потребительной стоимости» (Маркс). Все эти рассуждения Маркса, как нельзя лучше, выявляют его мысль. Соответствующие места, впрочем, можно было бы значительно расширить и увеличить. Сводка всех соответствующих высказываний Маркса из всех его экономических работ только подтвердила бы эту мысль: «потребительная стоимость и природное вещество не входит ни одним атомом в стоимость». Следовательно, и абстрактный труд, являющийся субстанцией стоимости, не включает в себя ни одного атома природного (натуралистического) вещества. Физиология труда есть сама по себе естественно-натуралистический процесс. В абстрактном труде мы имеем только лишь единый безразличный общественный труд. Это общественное качество абстрактного труда, настолько же противоположно натуралистическому субстрату конкретного труда, насколько натуралистическая сущность потребительной стоимости противоположна общественному качеству стоимости.

На анализе этого единства противоположностей и построен весь «Капитал» Маркса. Маркс на основе абстрактных и конкретных доказательств утверждает, что рост массы вещественного богатства не совпадает с увеличением величины его стоимостей, и может соответствовать даже понижению этой величины. Возрастающая масса вещественного богатства есть не что иное, как увеличивающаяся масса потребительных стоимостей. Понижение величины этих же стоимостей есть не что иное, как уменьшение массы меновых стоимостей. Следовательно, при наличии данной натуралистической массы (вещественное богатство), мы имеем противоположное движение двух величин внутри этого единства: количество потребительных стоимостей увеличивается, а качество меновых стоимостей уменьшается. На чем основано это противоположное движение величин? Это противоположное движение возникает из двойственного характера труда [1]).

Отсюда с несомненностью следует, что абстрактный труд отнюдь не представляет собой натуралистическую категорию. В абстрактном труде нужно видеть не натуралистические или физиологические величины, которые, конечно, являются предпосылкой и основой его существования, а общественные свойства. Это общественное свойство абстрактного труда не тождественно натуралистической и физиологической природе человеческого труда. Количественная проблема абстрактного труда есть проблема единиц труда, но таких единиц труда, которые не совпадают с данными единицы конкретного труда. Абстрактная единица труда и конкретная единица труда не одно и то же, хотя в основе абстрактного труда лежит тот же человеческий, физиологический труд.

Таким образом, движение противоположности между конкретным и абстрактным трудом есть первичная и основная противоположность товарно-капиталистического способа производства. Движение же противоположности между потребительной и меновой стоимостью есть производная от противоположности между конкретным и абстрактным трудом. Противоположное движение между абстрактным и конкретным трудом есть стихийное движение. Это движение постоянно возрастает. Темп его определяется анархией буржуазного способа производства и антагонистической стихией классового, буржуазного общества и присущего ему обмена. Сила стихии есть неопределенная, от воли и желания людей независящая, сила. Именно в этом смысл Марксовой характеристики общественного разделения труда при капитализме. Ибо это разделение труда есть классический образец стихийности и неорганизованности. Последние же качества общественной жизни буржуазного общества возникают из противоположного движения конкретного и абстракт-

[1]) Маркс, Капитал, т. I, стр. 10, 1928 г.
[2]) Там же, стр. 6.
[3]) Там же, стр. 40.
[4]) Там же, стр. 11.
[5]) Там же.
[6]) Там же, стр. 8.

[1]) Маркс, Капитал, т. I, стр. 11.

ного труда. Существование стихии осуществляется среди беспрестанных колебаний, лишь благодаря общественной природе абстрактного труда, как субстанции стоимости, которая и выступает в качестве регулятора товарного производства.

Абстрактный труд есть, следовательно, общественно уравненный человеческий труд там, где человеческий труд получает иррациональную форму своего движения, т.-е. форму проявления, противоположную своей действительной природе. Абстрактный труд есть фактор, выражающий иррациональный характер капиталистических производственных отношений. Как подобное явление, абстрактный труд есть сам противоречие, порожденное капиталистическим обществом. Вместе со смертью капитализма, вместе с гибелью буржуазных производственных отношений отмирает и порожденный этими отношениями абстрактный труд, как иррациональная форма существования и движения человеческого труда.

Попытки определения физиологической меры абстрактного труда есть, поэтому, утопические попытки. Они свидетельствуют о непонимании истинного существа производственных отношений капитализма. Попытки свести абстрактный труд к конкретно-натуралистическому человеческому труду есть механистические попытки механистических материалистов. Натуралистически-физиологическая трактовка абстрактного труда легка для обыденного понимания. Но это «легкое» понимание абстрактного труда ведет нас к до-Марксовой политической экономии и к извращению Марксовой экономической теории, несмотря на поток самых горячих заверений в любви и преданности идеям революционного марксизма.

Г. Дукор и А. Ноткин попытались занять промежуточную позицию. Но в области научной теории все попытки эклектического смешения различных теорий приводят или к бессодержательным тавтологиям, или же к сползанию данных теоретиков к тому или иному взаимо-исключающему положению. Марксистская экономическая теория несовместима с механистическим материализмом. Поэтому все попытки их эклектического соединения неизбежно оканчиваются неудачей и приводят к сползанию к политической экономии А. Богданова и И. Степанова. А. Кон и С. Бессонов попробовали заняться подобным «об'единением» и немедленно скатились к богдановщине. Г. Дукор и А. Ноткин попробовали уместиться между механистическим материализмом и марксистско-ленинским диалектическим материализмом. Однако и они не удержались на этой двойственной позиции. Начав «за здравие» марксистского понимания общественного характера абстрактного труда, они окончили «за упокой», придя к физиологическому его пониманию, свойственному всем экономическим представителям механистического материализма. Ошибки Г. Дукора и А. Ноткина в вопросе об абстрактном труде тесно связаны с их механистической концепцией и всецело ею обусловлены. Эклектическая попытка механистического соединения марксизма с экономической теорией тт. А. Кона и С. Бессонова не может не быть безрезультатной.

Теперь мы знаем, «как нельзя бороться против механистических тенденций в политической экономии». Подобная борьба немыслима, если ее осуществители сами придерживаются механистического мировоззрения. Соглашательская позиция наших авторов, их позиция — с одной стороны нельзя не признаться, с другой стороны нельзя не сознаться — разоруживает нас в борьбе с механистическим направлением в современной марксистской политической экономии и играет на-руку его представителям. Г. Дукор и А. Ноткин, призывая имена Маркса и Ленина, одновременно занимаются уничтожением действительного содержания их экономического учения. В этом громаднейший теоретический вред статьи «Как нельзя бороться».

„Простое воспроизводство" как диалектическая категория.

Н. Петров.

Определение понятия «простое воспроизводство» мы находим у Маркса в I томе «Капитала» (гл. 21):

«Как периодическое приращение капитальной стоимости, или периодический плод функционирующего капитала, прибавочная стоимость приобретает форму дохода, возникающего из капитала. Если доход этот служит капиталисту лишь фондом потребления, если он так же периодически потребляется, как и добывается, то при прочих равных условиях мы имеем перед собой простое воспроизводство» [1]).

Единственным условием, отличающим понятие простого воспроизводства от понятия расширенного воспроизводства, является непроизводительное потребление всей прибавочной стоимости капиталистом. Таким образом, получается гипотетическое, абстрактное «простое повторение процесса производства в неизменном масштабе», — предположение, очень важное для нас с точки зрения анализа расширенного воспроизводства.

Простое воспроизводство (как и расширенное) является предметом рассмотрения Маркса в двух различных томах его «Капитала», составляя самостоятельные главы (22-ю в I томе и 20-ю во II). Причина такого «повторения» заключается в том, что процесс воспроизводства рассматривается в первом случае в рамках индивидуального капитала, во втором же — в рамках капитала общественного. Разницу указывает сам Маркс в следующем абзаце:

«Пока мы рассматривали производство стоимости и стоимости продукта капитала как индивидуального капитала, для нашего анализа натуральная форма товарного продукта была совершенно безразлична, — безразлично, например, состоит ли он из машин, или из хлеба, или из зеркал. Все эти натуральные формы были просто примером для нас, и всякая отрасль производства, какую бы мы ни взяли, одинаково могла служить для иллюстрации. Нам приходилось иметь дело непосредственно с самым процессом производства, который всегда представляется процессом индивидуального капитала. Если мы рассматривали воспроизводство капитала, нам достаточно было одного предположения: что часть товарного продукта, представляющая капитальную стоимость, находит в сфере обращения возможность совершить обратное превращение в элементы ее производства и, следовательно, в форму производительного капитала; совершенно также нам достаточно было того предпо-

[1]) К. Маркс, Капитал, т. I, кн. 1, издание, подготовленное К. Каутским, перевод под редакцией В. Базарова и И. Степанова, пересмотренный И. Степановым, издание третье, Гиз, М.—Л. 1928., стр. 444.

ложения, что рабочий и капиталист находят на рынке товары, на которые они затрачивают заработную плату и прибавочную стоимость. Но этот чисто-формальный прием изложения уже недостаточен, когда мы рассматриваем весь общественный капитал и стоимость его продукта. Обратное превращение одной части стоимости продукта в капитал, вступление другой части в сферу индивидуального потребления класса капиталистов и класса рабочих, представляет внутреннее движение в той самой стоимости продукта, которая является результатом всего капитала; и это движение есть возмещение не только стоимости, но и вещества, а потому оно в одинаковой мере обусловливается как соотношением составных частей стоимости общественного продукта, так и их потребительной стоимостью, их материальной формой» [1]).

Во II томе «Капитала» Маркс ставит перед собой задачу «рассмотреть процесс воспроизводства с точки зрения возмещения, как стоимости, так и вещества отдельных составных частей T'» [2]).

Содержание II тома свидетельствует нам о том, насколько сложным является тот процесс, в котором различные части продукта по стоимости реализуются в подразделениях, образованных по признаку потребительной стоимости. Никакого нового «условия» или «предпосылки» для понятия «простое воспроизводство» Маркс во II томе не вносит; единственным «условием» у него остается, таким образом, то, которое дано как отличительный признак в 22-й главе I тома «Капитала»: прибавочная стоимость должна полностью потребляться так же периодически, как и добываться (речь идет, конечно, о потреблении непроизводительном).

Маркс сам отмечает, что категория «простое воспроизводство» есть абстракция:

«Простое воспроизводство, воспроизводство в неизменяющемся масштабе, представляет абстракцию в том смысле, что, с одной стороны, отсутствие всякого накопления, или воспроизводства в расширенных размерах, является неправдоподобным предположением при наличности капиталистического базиса, а, с другой стороны, отношения, в которых совершается производство в различные годы, не остаются абсолютно неизменными (что само собой разумеется). Наше предположение таково, что общественный капитал данной стоимости как в прошлом году, так и в текущем снова и снова доставляет прежнюю массу товарных стоимостей и удовлетворяет прежнее количество потребностей, хотя бы формы товаров и изменились в процессе воспроизводства. Впрочем, если даже совершается накопление, простое воспроизводство всегда представляет часть последнего, следовательно, его можно рассматривать обособленно, оно — реальный фактор накопления» [3]).

Другими словами: чтобы понять расширенное воспроизводство, надо сначала разобрать более простой случай, абстрактное «простое воспроизводство». Здесь мы видим у Маркса прием, совершенно аналогичный употребленному в I отделе I тома «Капитала», когда товар рассматривается как бы в рамках гипотетического «простого товарного хозяйства». Но как понятие «товар» оказалось противоречивым, полярным, диалектическим понятием, в развитии своем приведшим нас к деньгам, а затем к капиталу, так и «простое воспроизводство» оказывается далеко не «простым», т.-е. не формальным понятием. Оно содержит в себе диалектический момент, свое собственное отрицание и приводит к воспроизводству расширенному.

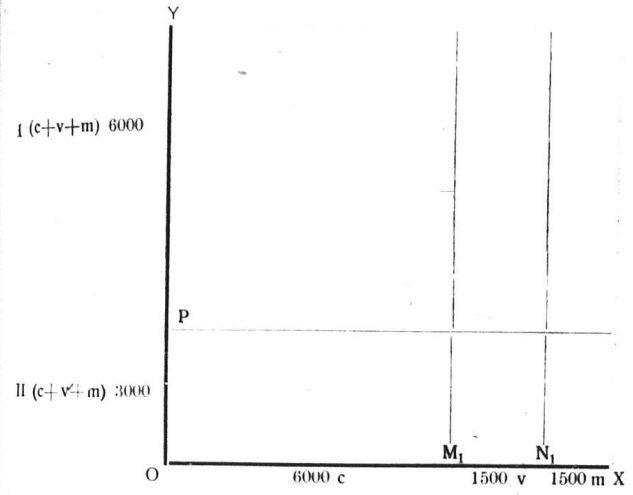
[1]) К. Маркс, Капитал, т. II, кн. 2, издание, подготовленное Ф. Энгельсом, перевод под редакцией В. Базарова и И. Степанова, пересмотренный И. Степановым, издание третье, Гиз, М.—Л. 1927 г., стр. 283.

[2]) Там же, стр. 282. Разрядка моя. *Н. П.*

[3]) Там же, стр. 283, 284.

Рассмотрим дело ближе.

Если попытаться изобразить графически соотношение составных частей стоимости общественного продукта и их потребительных стоимостей [1]), то можно представить дело в таком чертеже:



На оси абсцисс (OX) откладываем составные части общественного продукта по стоимости. Если воспользоваться схемами Маркса во II томе «Капитала», то соотношение c : v : m будет равно 4 : 1 : 1, или 6000 : 1500 : : 1500 (так как $\frac{m}{v} = 100\%$). Делим линию OX (соответствующую стоимости всего общественного продукта) в этой пропорции на отрезки OM + MN + + NX = OX.

Теперь на оси ординат (OY) мы будем откладывать отрезки, соответствующие различным частям общественного продукта, как они образуются по признаку их потребительной стоимости. Если на первое время сведем весь общественный продукт в две группы по потребительской стоимости: I. группу средств производства (производство средств производства) и II. группу средств потребления (производство средств потребления), то стоимостное соотношение обеих групп должно будет принять вид такой пропорции:

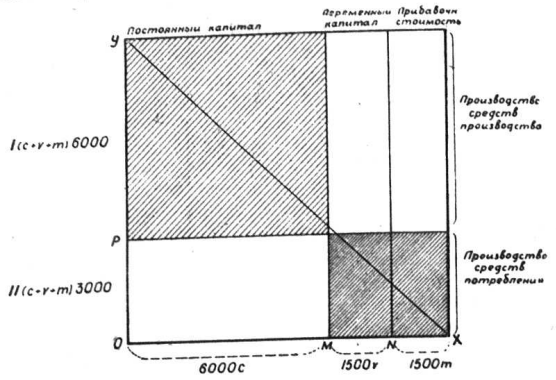
$$\text{I } (c+v+m) : \text{II } (c+v+m) = 6000 : 3000 = 2 : 1.$$

Откладываем соответственно отрезки OP+PY, при чем OP=½PY, а OX=OY.

Если на отрезках OX и OY построить квадрат, то стоимость всего годового общественного продукта у нас будет теперь изображена площадью этого квадрата. Перпендикуляры, поставленные из точек M и N, разделят эту площадь на части, пропорциональные c : v : m, а перпендикуляр к линии OY из точки P разделит ее пропорционально I (c+v+m) : II (c+v+m).

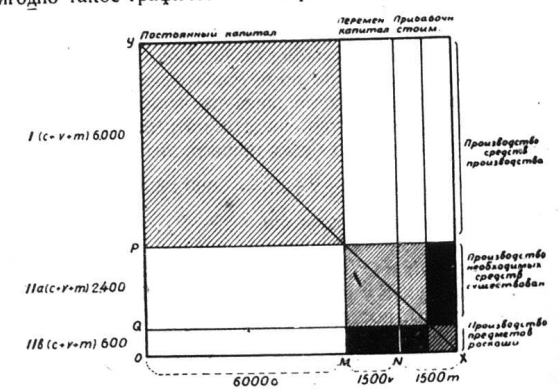
[1]) Полная условность такого приема понятна сама собой: абстрактный характер общественных отношений делает их недоступными каким бы то ни было изображениям. Лишь количественную сторону общественных отношений до известной степени можно иллюстрировать графически, но не забывая при этом, что остается еще качественная характеристика явления, его содержание.

Заштрихуем квадрат, построенный на отрезке PY и такой же квадрат, построенный на отрезке MX.



Таким образом мы отметили части годового продукта по стоимости, которые реализуются внутри основных подразделений общественного производства. Оставшиеся незаштрихованными части квадрата принадлежат к различным общественным подразделениям и являются совершенно различными частями общественного продукта по стоимости. Обменом одной части на другую реализуются и эти части, равновеликость которых доказать не трудно. Обмен здесь происходит далеко не в легкой и беспрепятственной форме, как это показывает Маркс, но он все-таки осуществляется. И лишь поскольку он осуществляется, — равновесие капиталистического общества соблюдено.

Картина становится сложнее, когда мы вводим различие в области производства средств потребления между необходимыми средствами существования и предметами роскоши. Для цифровых схем II тома «Капитала» тогда будет пригодно такое графическое изображение:



Внутри самого II подразделения возникает проблема реализации части прибавочной стоимости, которая воплощена в необходимых средствах существования на ту ее часть, которая воплощена в предметах роскоши, и здесь вполне преодолимое затруднение.

В общем итоге мы можем заключить: как бы ни был задан органический состав всего общественного капитала (v : c) при данной норме прибавочной стоимости он выльется в определенную, ему соответствующую, пропорцию главнейших подразделений общественного производства, взятого с его материальной стороны. Определенному стоимостному соотношению частей общественного продукта во всяком случае должно соответствовать какое-то соотношение вещественных элементов; второе соотношение определяется первым. После тех или других колебаний равновесие в капиталистической системе наступает, все части общественного процесса воспроизводства находят свои эквиваленты — и... никакой диалектике как будто не остается места!

Маркс, правда, вводит еще одно подразделение: I_3 — производство золота; но и это подразделение, оказывается, можно так преподнести, что будет налицо равновесие по всем правилам механики и формальной логики, и для диалектики опять-таки не будет места. Пример подобной трактовки вопроса мы находим у тов. Познякова [1]).

Тов. Позняков приписывает Марксовой схеме простого воспроизводства, поскольку речь идет о золоте как денежном материале, им самим (тов. Позняковым) сочиненную предпосылку, — а затем обнаруживает у Маркса «противоречие» с этой предпосылкой, находит у Маркса «ошибку», приведщую его «к неправильным выводам», «отрицание свох собственных предпосылок» и т. д.

Как было указано выше, единственная differentia specifica (отличительный и характерный признак) простого воспроизводства есть непроизводительное потребление всей прибавочной стоимости, отсутствие какого бы то ни было накопления. Это полностью относится и к воспроизводству, одним из элементов которого предположено воспроизводство золота, безразлично, ведем ли мы речь о нем как о денежном материале, или как о средстве производства (химическая промышленность), или даже как о предмете личного потребления. Это полностью относится к золоту даже и в том случае, если мы будем его трактовать лишь как денежный материал.

Между тем тов. Позняков сочиняет свою собственную, новую «предпосылку» и приписывает ее Марксу. Он буквально говорит следующее:

«Условием простого воспроизводства является, таким образом, постоянное и непрерывное воспроизводство золота, как денежного материала, и при том в количестве, равном изнашиванию, не большем и не меньшем, ибо иначе предпосылки простого воспроизводства не будут соблюдены» [2]).

Итак, в то время как для простого воспроизводства всякого товара вообще характерно лишь то, что вся прибавочная стоимость потребляется непроизводительно и новый производственный цикл происходит в том же самом масштабе, для воспроизводства золота, как денежного материала, тов. Позняковым поставлено новое условие: чтобы золото воспроизводилось «в количестве, равном изнашиванию, не большем и не меньшем». На первый взгляд это условие может показаться тождественным с первым, которое выдвигает сам Маркс. Однако оно является совершенно от него отличным, новым условием, авторство которого всецело принадлежит тов. Познякову.

К чему сводится Марксова предпосылка, что вся прибавочная стоимость при простом воспроизводстве потребляется непроизводительно? К тому, что

[1]) В. Позняков, Деньги в схемах воспроизводства Маркса, статья в «Трудах Института Красной Профессуры», под редакцией М. Н. Покровского, т. I: «Работы семинариев философского, экономического и исторического за 1921—1922 гг. (I курс), Гиз, Москва 1923 г., стр. 157—174.

[2]) Названная статья, стр. 158. Разрядка принадлежит тов. Познякову.

капиталист, получивший ее, полностью «с'едает» ее в непосредственном виде, без обмена, если она непосредственно из производства вышла в форме средств существования или предметов роскоши, или же (чаще всего) реализует ее на рынке: покупает нужные ему предметы личного потребления и «уничтожает» их.

Как эта предпосылка осуществляется в отношении золотопромышленника? Таким образом, что он покупает на всю массу золота, в которой выразилась его прибавочная стоимость, нужные ему предметы личного потребления и полностью «с'едает», «уничтожает» (потребляет) их. Тем самым предпосылка простого воспроизводства уже выполнена.

Между тем тов. Позняков требует соблюдения еще одного, нового условия: чтобы золота, как денежного материала, было произведено ровно столько, сколько его изношено в процессе денежного обращения, «не больше и не меньше».

Возникает вопрос: кто же это будет устанавливать размер воспроизводства золота «в количестве, равном изнашиванию, не большем и не меньшем»? Организованного распределения общественного производства при капитализме нет, рынок же не создал никакого такого средства, которое регулировало бы воспроизводство золота «в количестве равном изнашиванию, не большем и не меньшем». Следовательно, постановка вопроса тов. Познняковым совершенно метафизична. Впрочем, его можно чуточку понять с точки зрения количественной теории денег; но что же тогда остается у тов. Познякова от марксизма?

С точки зрения количественной теории денег золото может «дорожать» или «дешеветь» в зависимости от пропорции, в которой оно оказывается с остальными товарами на рынке. Если допустить этот (основной) тезис количественной теории, то понятно будет и положение тов. Познякова. Отвлекаясь от потребления золота как средства производства (напр., в химической промышленности) и как средства потребления (напр., в зубоврачевании), мы имеем, вместе с тов. Познняковым, лишь изнашивание золота в процессе денежного обращения, это «quasi-потребление».

Утверждение тов. Познякова о воспроизводстве золота «в количестве равном изнашиванию, не большем и не меньшем» останется в силе лишь при условии, что ценность золотых денег определяется их количеством. Тогда, действительно, всякое излишнее производство золота вело бы к его относительному удешевлению, т.-е. к убыточности производства, т.-е. к автоматическому сокращению золотопромышленности; только при этом условии золото в конечном итоге воспроизводилось бы «в количестве, равном изнашиванию, не большем и не меньшем».

Если же мы вместе с Марксом отбросим представление о «товарной мешанине», которая обменивается на какую-то часть «металлической горы», то должны отбросить и покоящееся в нем построение тов. Познякова.

Распределение общественного труда между отдельными отраслями производства происходит вследствие стремления капиталистов обеспечить себе по крайней мере среднюю норму прибыли, т.-е. в конечном счете под регулирующим воздействием стоимости. Между производством золота и производством других товаров есть, правда, разница, но она лежит совсем не там, где ее ищет т. Позняков. Именно: в то время, как сжимать размеры производства золота можно лишь до известных пределов, перейдя которые общество сталкивается с недостатком денежного товара, с его вздорожанием, вследствие чего вынуждено соблюдать какую-то «производственную программу-минимум», определенную для каждого данного момента, в расширении производства золота оно встретит предел лишь в ограниченности производительных сил, в ограниченности естественных богатств, доступных при каждом данном уровне техники.

Потребление золота как денежного материала действительно очень оригинально. Это quasi-потребление сводится не только к изнашиванию монеты, о котором говорит тов. Позняков, но еще к накапливанию кусков золота как возможных орудий обращения, платежа и т. д., т.-е. к накапливанию их в форме сокровища. Здесь не лишне привести несколько соображений из I тома «Капитала», из того параграфа, где говорится об образовании сокровищ:

«У источника своего производства благородные металлы непосредственно обмениваются на другие товары. Здесь имеет место продажа (со стороны товаровладельцев) без купли (со стороны владельцев золота или серебра). И позднейшие продажи без дополняющих их актов купли являются лишь средством дальнейшего распределения благородных металлов между всеми товаровладельцами. Таким образом, во всех пунктах обращения накопляются золотые и серебряные сокровища самых различных размеров. Вместе с возможностью удерживать товар как меновую стоимость или меновую стоимость как товар, пробуждается жажда золота. С расширением товарного обращения растет власть денег, этой абсолютно общественной формы богатства, всегда находящейся в состоянии боевой готовности...

«Стремление к накоплению сокровищ по природе своей безмерно. Качественно или по своей форме деньги не имеют границ, т.-е. являются всеобщим представителем вещественного богатства, потому что они непосредственно могут быть превращены во всякий товар. Но в то же время каждая реальная денежная сумма количественно ограничена, является средством купли с ограниченной покупательной способностью. Это противоречие между количественной границей и качественной безграничностью денег заставляет собирателя сокровищ все снова и снова предпринимать сизифов труд (до бесконечности возобновляемый труд) накопления. Он чувствует себя как великий завоеватель, который с каждой новой страной завоевывает лишь новую границу...

«На ряду с непосредственной формой сокровища развивается его эстетическая форма, обладание золотыми и серебряными товарами, как предметами роскоши... Таким образом, с одной стороны, образуется все более и более расширяющийся рынок для золота и серебра, независимый от денежной функции последних, с другой стороны, скрытый источник предложения денег, функционирующий особенно интенсивно в периоды общественных бурь...

«Чтобы действительно циркулирующая денежная масса наполняла всегда сферу обращения до надлежащей степени насыщенности, количество золота и серебра, находящееся в каждой стране, должно быть больше того, что требуется для фактического выполнения монетной функции. Это условие выполняется благодаря превращению денег в сокровище» [1]).

Итак, рынок золота и серебра независимы от их денежной функции как средства обращения, ибо в сокровище может уйти неограниченное количество того и другого. А потому изнашивание золота в процессе денежного обращения ни в коем случае не есть момент, стесняющий рамки воспроизводства денежного товара. Если даже совершенно оставить в стороне производительное и личное потребление золота, то остается бездонная бочка «сокровища». Вот это-то «quasi-потребление» и делает процесс воспроизводства золота совершенно своеобразным.

[1]) Там же, стр. 79—82.

В то время, как схема простого воспроизводства всех товаров (кроме золота) может быть изображена графически в виде квадрата, приведенного выше, схема воспроизводства золота эту картину механического равновесия нарушает. Золотопромышленник выступает лишь в качестве покупателя товаров, ничего не продавая. «Золотоискатели I могут во всякое время сбыть свой товар; он всегда находится в такой форме, в которой может быть непосредственно обменен» [1]). Это означает, с другой стороны, что «здесь имеет место продажа без купли». «И позднейшие продажи без дополняющих их актов купли являются лишь средством дальнейшего распределения благородных металлов между всеми товаровладельцами» [2]). Одним словом: кто-то в конечном счете совершает продажу, ничего не покупая, оставляя на руках у себя деньги в виде сокровища.

Итак, даже при простом воспроизводстве в результате каждого производственного периода происходит изменение в количестве денег, действительно или потенциально принадлежащих обращению. Каждая «лишняя» порция денег легко может превратиться в сокровище.

Лишь механистически конструируя схему простого воспроизводства, мы получаем абсолютное равновесие всех частей системы, чего столь «успешно» достиг и тов. Позняков, введя новую предпосылку в схему воспроизводства денежного материала. На самом же деле даже простое воспроизводство далеко от того механического равновесия, которое можно было бы изобразить в виде геометрического равновесия двух половин построенного выше квадрата. Когда мы привлекаем к анализу «особый товар» — золото, то наша геометрическая фигура из квадрата превращается в прямоугольный четыреугольник: нарастает лишь сторона стоимостных выражений без одновременного роста масс потребительных стоимостей в собственном смысле слова (если не принимать во внимание quasi-потребительной стоимости золота).

Золотопромышленника не тяготит забота о превращении товарной формы продукта в денежную. Золото здесь нуждается не в обмене, а лишь в чеканке.

Денежный элемент в схемах простого воспроизводства Маркса является, таким образом, моментом, в котором выразилась диалектика категории «простое воспроизводство». Часть ежегодно воспроизводимого золота не может быть потреблена в том смысле, в каком это говорится в главе о схемах воспроизводства Маркса. Она накапливается как денежное сокровище, выводя простое воспроизводство из состояния механического равновесия.

«Отсюда видно, — говорит Маркс, — как даже простое воспроизводство, хотя здесь исключается накопление в собственном смысле слова, т. е. воспроизводство в расширенном масштабе, все же необходимо предполагать накапливание денег, или образование сокровища... Такое накапливание находит себе место даже по вычете золота, утрачиваемого вследствие снашивания обращающихся денег» [3]).

Таким образом, то, что тов. Позняков считает за «ошибку» Маркса, за его «попытку, брошенную на полпути» и т. д., на самом деле есть совершенно отчетливо и до конца проведенная концепция простого воспроизводства как диалектического процесса, имеющего в самом себе противоречивые элементы, обеспечивающие диалектическое развитие данной категории («простое воспроизводство») в сторону другой более высокой и более сложной категории («расширенное воспроизводство»).

[1]) Капитал, т. II, кн. 2, стр. 343—344.
[2]) Капитал, т. I, кн. 1, стр. 79.
[3]) Капитал, т. II, кн. 2, стр. 345.

Тов. Позняков сам допустил ошибку только потому, что подошел к схемам воспроизводства Маркса с представлениями механического равновесия, столь чуждого основам Марксовой методологии.

Этот диалектический момент совершенно правильно понят и отмечен автором популярного «Изложения II тома «Капитала» Карла Маркса», Владимиром Гиршфельдом, когда он резюмирует соответствующую главу следующими словами:

«Оказывается:

1) что благодаря специфической позиции, занимаемой золотопромышленностью, сумма денежного материала в обществе постоянно пополняется, и

2) что вследствие тех же причин, даже простое воспроизводство, где сверхстоимость должна целиком потребляться, содержит в себе элемент, представляющий его отрицание—накопление сверхстоимости» [1]).

Роза Люксембург, в отличие от тов. Познякова, не рискнула выйти из пределы чисто-негативных рассуждений о «сомнительных результатах», к которым привела Маркса его «попытка подвести производство золота под подразделение I (средства производства)». Поэтому здесь достаточно ограничиться одним общим указанием, что диалектический момент в категории «простое воспроизводство» ею так же упущен из виду, как и тов. Позняковым [2]).

[1]) Владимир Гиршфельд, Изложение II тома «Капитала» Карла Маркса, под редакцией В. Базарова, книгоиздательство «Посев», Спб. 1908 г. стр. 88. Курсив автора. *Н. П.*
[2]) Роза Люксембург, Накопление капитала. К вопросу об экономическом об'яснении империализма. Гиз. 1921 г. Стр. VII+336. См. стр. 56—60.

Две критики.

(Плеханов — Переверзев).

С. Щукин.

I.

Обе теории и критики, о которых у нас пойдет речь, считают себя марксистскими, т.-е. соответствующими точке зрения пролетариата. Ход событий воочию показал и много раз подтвердил, что выразителями интересов пролетариата, его теоретиками, его вождями в борьбе являются коммунисты. Та теория, — и только та теория, — искусствоведения — марксистская, которая соответствует точке зрения коммунистической партии, вождя и организатора величайших, решающих боев, которые ныне ведет пролетариат.

Задача данной статьи—показать, какая же из двух рассматриваемых теорий имеет право считать себя марксистской, коммунистической теорией.

Метод науки определяется ее содержанием, ее сущностью. Или, как формулирует эту мысль Гегель, «метод есть сознание формы внутреннего самодвижения содержания». Стало быть, коренной вопрос всякой науки, ее первый вопрос — это установить, определить сущность явлений, которые она изучает. В применении к искусствоведению, в частности: литературоведению, вопрос ставится так: что такое искусство? В чем его сущность? Ответом на него определяется методология искусствоведения. Именно с этого коренного, исходного пункта, прямо, что называется с места в карьер, начинается расхождение, более того: непримиримая противоположность двух сравниваемых теорий.

Точку зрения первой из них, так условимся ее называть, впервые в России чрезвычайно ярко формулировал Белинский; искусство он понимал, как мышление в образах, как выражение идей в конкретных, живых образах. Известно, что свое эстетическое учение Белинский построил, опираясь на диалектическую философию Гегеля. Методу Гегеля обязан Белинский всем богатством результатов; достигнутых им в области литературной критики и искусствоведения вообще.

Но тут, прерывая Белинского, выступают на сцену представителя второй теории, второго метода в искусствоведении. «Идеалист, подходя к художественному произведению, искал заложенной в его основании идеи». Так говорит Переверзев, Заратустра основанной им школы (Сборник «Литературоведение», стр. 10). Критик материалист должен, по мнению Переверзева, действовать совсем иначе. Идей в художественном произведении он не ищет, так как самое художественное творчество он понимает совершенно иначе, чем идеалист. «Художник создает живые лица, характеры, а не систему идей, и анализ художественного произведения должен быть анализом живых образов, а не поисками взглядов и идей... Кто... пытается построить философию, якобы заключенную в... произведении, тот занимается никчемной работой, потому что он приписывает художнику то, чего у него нет, и не дает представления о том, что есть» («Творчество Достоевского», стр. 60).

Итак, в художественном произведении нет идей, их может искать там лишь идеалист. Для материалиста же это занятие — не более, чем пустая растрата времени. Верно — Белинский был идеалистом. Идеалисту так уж и на роду написано искать во всем идеи. Но тут надо внести маленькую поправку: к концу жизни Белинский перестал быть чистокровным идеалистом Он склонился к материалистической философии Фейербаха, но искать идей в художественных произведениях не перестал. Я знаю, Переверзев возразит: сам Фейербах и его последователи были материалистами лишь в своих воззрениях на природу и переходили на идеалистические позиции всякий раз, когда им приходилось иметь дело с об'яснением человеческой истории. Это я тоже знаю.

Но был такой материалист, который не мало потрудился над материалистическим об'яснением исторических фактов и многого достиг на этом пути. В частности, явления искусства он тоже об'яснял материалистически и по праву считается основателем марксистской эстетики. И вот этот материалист, когда ему случалось об'яснять явления искусства, не гнушался, представьте себе, искать в них—чего бы вы думали, проф. Переверзев?—идей! Того самого, что, по вашему утверждению, могут искать только идеалисты. Невероятно, но факт. Материалист этот был Плеханов. Так как факты — настолько упрямая вещь, что, по учению материалистов, они определяют собою мышление, то полезно с ними познакомиться. Послушаем же, что думал материалист Плеханов о сущности искусства.

«Не верно также и то,— писал он, возражая Толстому, что искусство выражает только чувства людей. Нет, оно выражает и чувства их и мысли, но выражает неотвлеченно, а в живых образах. И в этом заключается его самая главная отличительная черта» (т. XIV, стр. 2). Похоже ли это понимание искусства на понимание его проф. Переверзевым, тоже считающим себя материалистом, да еще диалектическим. Нет, не похоже. Эти два определения противоположны.

«Она (художественная литература. *С. Щ.*), — пишет Переверзев, — всегда является системой образов и только системой образов. В этом специфика литературного факта». «Искусство, — возражает Плеханов, — начинается тогда, когда человек снова вызывает в себе чувства и мысли, испытанные им под влиянием окружающей его действительности, и придает им известное образное выражение. Само собой разумеется, что в огромнейшем большинстве случаев он делает это с целью передать передуманное и перечувствованное им другим людям. Искусство есть общественное явление» (Там же, стр. 2. Курсив везде Плеханова).

Совершенно напрасно проф. Переверзев делает вид, что никаких разногласий у него с Плехановым нет, когда он пишет: «Перед современной школой, таким образом, стоит задача—провести в методику своего преподавания тот метод, который сейчас является доминирующим в нашей науке, тот метод, к которому в процессе своего исторического развития наша наука пришла, как к совершеннейшему орудию познания своего об'екта. Таким методом является марксистский метод» («Родной язык и литература в трудовой школе» 1928 г., № 1, стр. 84).

Спор идет именно о том, какой метод — марксистский, какой метод является «совершеннейшим орудием познания своего об'екта». Есть марксизм и марксизм. Между Переверзевым и Плехановым по сути дела происходит диспут. Прислушаемся к нему, чтобы решить, за кем итти. Возвратимся к определению об'екта исследования, к пониманию сущности искусства.

Переверзев, как мы помним, не ищет идей в художественных произведениях. Он считает это занятие компрометирующим истинного материалиста. К защите этого своего взгляда он возвращается постоянно. «Я не собираюсь,—пишет он,—искать в произведениях Достоевского его миросозерцания, его политических или религиозных взглядов, потому что искать всего этого у художника—это все равно, что от пирожника требовать сапог. Художник творит жизнь, а не системы, он не рассуждает и аргументирует, а живет, воображая себя с тем или иным характером, в той или другой обстановке» («Творчество Достоевского», стр. 60).

Плеханов с неменьшим упорством и энергией отстаивает «идеи» в искусстве. Он весьма категоричен на этот счет: «Без идеи искусство жить не может,—не ведет ни к чему, кроме отвлеченного и хаотического символизма» (Т. XIV, стр. 77).

Отсутствие идей в художественных произведениях губит его. Так думает Плеханов. «Безыдейность импрессионизма составляет т о т п е р в о р о д н ы й г р е х е г о, вследствие которого он так близко граничит с карикатурой и который делает его совершенно неспособным совершить глубокий переворот в живописи» (Там же, стр. 79, 80).

Переверзев утверждает: «художник не рассуждает и не аргументирует». До Переверзева так судил, между прочими, французский романтик Теофиль Готье. Тот тоже утверждал, что поэзия не только ничего не доказывает, но даже ничего не рассказывает. Плеханов не соглашался с этим учением. Он говорил: «Это огромная ошибка. Совершенно наоборот: поэтические и вообще художественные произведения всегда что-нибудь р а с с к а з ы в а ю т, потому что они всегда что-нибудь в ы р а ж а ю т. Конечно, они «рассказывают» на свой особый лад. Художник выражает свою идею образами, между тем как публицист доказывает свою мысль с помощью л о г и ч е с к и х в ы в о д о в». (Там же стр. 137).

Плеханов, исходя из своего понимания искусства, как образного выражения идеи, порицал тех художников, которые вместо образов оперируют логическими доводами или придумывают образы для доказательства определенной идеи. Тогда художник перестает быть самим собой, а превращается в публициста. Это как будто тот же самый взгляд, который защищает и Переверзев: «В произведениях Достоевского,—пишет он,—заключается жизнь с ее страстями, борьбой, чувствами, мыслями, а не философия... Поскольку Достоевский выступал в качестве публициста, он высказывал свои взгляды, развивал свое миросозерцание. Тут мы действительно имеем дело с его религиозными, политическими и социальными воззрениями» («Творчество Достоевского», стр. 60—61).

Как будто полное совпадение взглядов. Но только как будто. Плеханов отвечает: «Все это так. Но из всего этого вовсе не следует, что в художественном произведении идея не имеет значения. Скажу больше, не может быть художественного произведения, лишенного идейного содержания. Даже те произведения, авторы которых дорожат только формой, не заботятся о содержании, все - таки так или иначе выражают известную идею».

Но Переверзеву все это—нипочем. Он, не внемля гласу Плеханова, твердит свое: «Сама марксистская установка требует спецификации той идеологии, которая называется литературой, и этот спецификум с марксистской точки зрения заключается в том, что литература, будучи произведением слова, не является системой идей, не является системой мысли, не является логической системой, не относится к разряду логических систем; она всегда является системой образов, и только системой образов. В этом—специфика литературного факта, обязывающая нас к тому, чтобы изучать и делать об'ектом своего изучения именно образ. Образ и система образов

должны стоять в центре внимания того, кто подходит к изучению литературно-художественных произведений... Только там, где люди создают в словесной ткани системы образов, только там мы имеем дело с литературным фактом, и только эти литературные факты подлежат нашему исследованию» («Родной язык в школе», стр. 86).

Но Плеханов и не утверждает, что художественная литература является «логической системой» или что она «относится к логическим системам». Мы видели, наоборот, что там, где художник начинает орудовать логическими доводами, кончается, по мнению Плеханова, сфера художественного творчества и начинается публицистика. Плеханов это знал не хуже Переверзева. И, однако же, он утверждал,, вопреки Переверзеву, что художественная литература выражает идеи, хотя и выражает их на особый лад — образами. В том, что идеи в искусстве выражаются не с помощью силлогизмов, как в «логических системах», а образами, Плеханов видел отличительную черту искусства. Ему и в голову не приходило выкидывать за борт идеи, только на том основании, что они выражаются в образах. Переверзев же видит специфическую черту искусства в отсутствии в нем идей. Он, кидая камешки в огород Плеханова, продолжает развивать свою философию искусства: «Очень часто смешивали эту идеологическую надстройку с другими идеологическими надстройками, пытались перевести изучаемую нами надстройку с языка искусства на язык логики или на язык философии и пытались по поводу литературы рассуждать об идеях, мировоззрениях, миросозерцаниях и т. п. Все присутствующие здесь знают, конечно, как в этом отношении грешило наше литературоведение. Должен, впрочем, сказать, что это грех не только марксистов, а может быть, — не столько марксистов, сколько грех традиционной историко-литературной науки» («Родной язык в школе», стр. 85).

Что и говорить. Плеханов с этой точки зрения, можно сказать, сплошной и нераскаянный грешник. Как только возьмется разбирать художественное произведение, так непременно начнет рассуждать об идеях, мировоззрениях, миросозерцаниях и т. п.

Что же касается обвинения в том, что «очень часто смешивали эту идеологическую надстройку с другими идеологическими надстройками», то к Плеханову оно не относится. Никто лучше его не раз'яснил различия между искусством и другими идеологическими надстройками. Но и до него еще Белинский и Чернышевский твердо знали это отличие искусства от других видов идеологии. Белинский, например, писал: «Политико-эконом, вооружась статистическими числами, д о к а з ы в а е т, действуя на ум своих читателей или слушателей, что положение такого-то класса в обществе много улучшилось или много ухудшилось вследствие таких-то и таких-то причин. Поэт, вооружась живым и ярким изображением действительности, п о к а з ы в а е т в верной картине, действуя на фантазию своих читателей, что положение такого-то класса в обществе действительно много улучшилось или ухудшилось от таких-то и таких-то причин. Один доказывает, другой показывает, и оба убеждают, только один логическими доводами, другой — картинами» (Соч., т. XI, стр. 364).

Разумеется, между пониманием идеи у идеалистов и у материалистов существует коренная разница. Для идеалиста Гегеля идея есть изначальный фактор, созидающий своим развитием мир. Для материалистов идея — продукт деятельности человеческого мозга, форма сознания человеком, ведущим борьбу за свое существование, окружающего его мира. Идеалисты возвели эту рожденную на грешной земле идею в абсолют, имеющий вечное существование, оторвали ее от практических действий человека. Они персонифицировали процесс человеческого мышления. Одна из величайших заслуг Плеханова в том и состоит, что он с таким талантом разоблачил эту мисти-

фикацию, возвратил идею к месту ее рождения, в голову общественного человека. Но он не выплеснул вместе с водой ребенка. Отбрасывая идеализм в об'яснении явлений искусства, он сохранил идею, а Переверзев с усердием, достойным лучшего применения, стремится изгнать ее оттуда.

Но позвольте, слышу я негодующий голос проф. Переверзева, что же вы морочите добрым людям головы и клевещете, будто я отрицаю начисто всякие идеи в художественных произведениях. Я приглашаю проф. Переверзева не торопиться. Все об'яснится впоследствии, как любил говаривать Достоевский. Пока же замечу, что я не клеветал на него, а приводил дословно его собственные рассуждения об идеях в художественных произведениях и сравнивал их с рассуждениями Плеханова на ту же тему. При этом обнаружилось, что говорить об идеях, мировоззрениях и проч. по поводу произведений искусства. Переверзев наотрез отказывается, считая это смертным грехом для материалиста. Есть, однакоже, и такие идеи, наличие которых Переверзев не только признает в литературных произведениях, но и занимается их пристальным изучением, анализом. Лучше будет во избежание недоразумений предоставить ему говорить самому.

Приведя выдержку из своей работы о Достоевском, Переверзев заключает: «Цитата показывает, что в полном согласии с Плехановым Переверзев рассматривает литературу, как выражение и чувств, и мыслей». Стало быть, все, что мы до сих пор говорили о противоположности точек зрения Плеханова и Переверзева — недоразумение или вымысел. Однако, присмотримся поближе к этому «полному согласию».

Переверзев, как он сам говорит, «сводит искусство к психологии образа». А Плеханов? Для него сущность искусства — выражение идеи в образах, идеи, изгнанием которой из художественного произведения так долго и усердно занимался Переверзев. Он уверял, что художник не рассуждает и аргументирует, а создает живые лица, характеры, а не систему идей. А Плеханов утверждает, что художник рассуждает и аргументирует хоть и на свой особый лад с помощью образов. Переверзев считает, что литература есть система образов и только образов, а Плеханов ищет за образами идей, мировоззрений. Переверзев же об'являет все такие поиски никчемным делом. «Конечно,— говорит он,— нет характеров без тех или иных симпатий социально политических или философских, но в художественном произведении они не имеют самодовлеющей ценности; они служат для обрисовки характеров и сами имеют смысл в связи с живыми образами. Когда Мережковский занимается Достоевским, как религиозным мыслителем, он упускает из виду пустяк, именно то, что Достоевский никогда не был мыслителем. Высказанные там и сям отдельными персонажами его произведений религиозные взгляды важны для понимания психологии его героев, но едва ли имеют философскую ценность» («Творчество Достоевского», стр. 60).

Переверзев учит, что нет образов без идей. А Плеханов утверждает, что нет художественных произведений без идей. И вот это-то утверждение Переверзев наголо отрицает. Он, наоборот, считает поиски идей в художественных произведениях безнадежным и пустым делом. Один ли и тот же это взгляд? У Плеханова образы — это одежды идей, способ их выражения. У Переверзева, наоборот, — идеи «служат для обрисовки характеров», т.-е. для выражения образов. Для Плеханова идеи — содержание, образы — форма. Для Переверзева содержание художественного произведения — это образы, идеи лишь формы его проявления. Вот я и спрашиваю проф. Переверзева: где же тут «полное согласие» с Плехановым? Тут все навыворот, все перевернуто вверх дном. Этак ведь можно провозгласить «полное согласие» между материалистами и идеалистами на том основании, что последние опрокидывают наголову учение материалистов об определении сознания бытием.

Как выглядит согласие Переверзева с Плехановым — особенно ясно обнаруживается в следующих комментариях, которые дает Переверзев своему «согласию». По его словам, «идеологических моментов в художественной литературе... никто и не думал отрицать, если, конечно, под ними разумеется идеология образов. Очень часто, однако, когда говорят об «идеологических моментах», имеют в виду не идеологию, составляющую весьма существенный элемент художественного образа, а пресловутую «идею» произведения, сводящуюся к пониманию и оценке образов. Не следует путать эти глубоко различные по значению вещи» («Литература и Марксизм» 1929 г., № 2, стр. 13).

Вот именно: не следует путать. Почему же этот спасительный рецепт проф. Переверзев не применяет к себе, когда ему, несомненно, известна старая истина, что добродетель начинается в собственном дому? Зачем же он выдает свою точку зрения за плехановскую, хотя ему безусловно известно их глубочайшее различие, их противоположность? Ведь именно Плеханов неустанно, во всех без исключения работах по искусству толкует об идее произведения, а не только об «идеологии образов». А Переверзев называет эту идею «пресловутой»,—давая тем самым меру своего пренебрежения к основе учения Плеханова об искусстве, с которым он будто бы полностью согласен. Особенно усердно браня «пресловутую» идею Плеханова, он сам оказывается жалким рабом идеи действительно пресловутой, именно идеи, что художественные произведения не выражают никаких идей.

Переверзев указывает одному из своих оппонентов, что тот «мышление образов путает с мышлением об образах». Это, конечно, большой порок, хуже глухоты. Но свободен ли от него сам строгий судья? Мышление образов он противопоставляет мышлению об образах. Но существует еще мышление о действительности образами. Именно это последнее мышление считает сущностью искусства Плеханов. У Переверзева же речь идет о мышлении образов. А ведь он именно спутал две эти в корне различные вещи, когда говорил, что он судит в полном согласии с Плехановым. Он увидел соломинку в глазу ближнего, а в своем собственном не заметил бревна. Или он надеялся прикрыть бревно книгой, как Иван Антонович у Гоголя в «Мертвых душах» бумажку. В таком случае он дал большого маху: не такая вещь бревно, чтобы его можно было прикрыть книгой, — увидят.

В прямой зависимости от того, как решает исследователь вопрос о сущности искусства, находится его понимание содержания и формы. Внимательный читатель во всех приведенных из Плеханова замечаниях усмотрел, конечно, что для него содержанием в искусстве является общественное сознание человека, те самые чувства, настроения, идеи, против которых ведет борьбу Переверзев. Под воздействием окружающей действительности в голове человека рождаются чувства, настроения, мысли. Они и являются содержанием произведений искусства. Но форма выражения их отличается от формы выражения, например, в науке, в публицистике. Отличается тем, что они выражаются в образах, а не в понятиях, как это имеет место в науке. Стало быть, образы являются формой. Искусство отличается от других идеологий не содержанием, а формой его выражения. Именно это отличие Плеханов строго проводил в своих работах. «Содержанием художественного произведения является известная общая... идея. Но там нет и следа художественного творчества, где эта идея так и является в своем «отвлеченном» виде» (Т. X, стр. 190).

Анализируя эстетическую теорию Чернышевского, Плеханов пишет: «Недостаточно определить достоинство художественного произведения с точки зрения «отвлеченной мысли»: нужно еще уметь оценить его ф о р м у, т.-е. проследить, насколько удачно художник воплотил свою мысль в образах» (Т. VI, стр. 249).

У Гете Фауст обращается к Мефистофелю с таким замечанием: «Das Pantogramma macht dir Pein!». Такую же Pein, такое же терзание доставляют Переверзеву всякие разговоры об идеях, мировоззрениях по поводу художественных произведений. Запомним, что идеи, которые исследует он, суть идеи образов, а не идеи художника, выраженные в образах.

Содержание художественных произведений Переверзев понимает так: «Как же живут герои Достоевского, как они чувствуют и о чем думают? Что за характеры складываются в нудной обстановке городских углов, в атмосфере гнетущей человека бедности, граничащей с полным разорением и нищетой? Ответить на эти вопросы, с моей точки зрения, значит дать полное представление о содержании творчества разбираемого художника» («Творчество Достоевского», стр. 59). После того он еще раз, для вящщей крепости, подтверждает, что не собирается «искать в произведениях Достоевского его миросозерцания, его политических или религиозных взглядов». Повоевав на целой странице с идеями, Переверзев удовлетворенно резюмирует результаты сражения: «Итак, анализ содержания художественного творчества Достоевского, с моей точки зрения, сводится к анализу созданных им характеров» («Творчество Достоевского», стр. 61).

Раз для Переверзева образы являются содержанием, то ему ничего другого не остается, как об'явить формой художественного произведения их стиль, язык, структуру фраз, композицию. Он так и делает: «Спокойный, ровный стиль без лирических скачков, без лихорадочного многословия, стройность композиции, простота в развитии темы,—таковы самые общие свойства этих произведений со стороны формы. ...Ничего похожего на это не найдете вы у Достоевского, ни одной общей черты ни в стиле, ни в содержании». (Там же, стр. 17). Таким образом, содержанию, понимаемому, как образ, противостоит форма, понимаемая как стиль. Для формы, понимаемой как образное выражение содержания, в концепции Переверзева не остается места. Для него «быт, характер, язык»... составляют самую суть творчества Гоголя.

Критика должна заниматься изучением содержания и формы. В переверзевском истолковании это означает следующее: критика призвана «заняться внимательным анализом особенностей языка и содержания его произведений». («Творчество Гоголя», стр. 22). Стало быть, содержанию, опять-таки, противостоит, как форма, язык. Но и обычные логические суждения науки, философии, публицистики, суждения, оперирующие силлогизмами, а не образами, также выражаются в словах, в языке. Для них язык также служит формой выражения. Выходит, что формой выражения своего содержания искусство ничем не отличается от других идеологий. Смотрите же, что у нас получается. Искусство по Переверзеву совершенно отлично от других идеологий своим содержанием. Литература, например, представляет собою образы и только образы. По форме же она совершенно тождественна с остальными видами идеологии; именно, этой формой является язык. Так учит Переверзев. У Плеханова наоборот: содержание искусства тождественно со всеми другими идеологиями, от которых его отличает именно форма выражения этого содержания—образы.

II.

Как возникает произведение искусства? Какие причины вызывают его к жизни? Характер ответа на эти вопросы целиком обусловливается пониманием сущности искусства. Самые эти вопросы есть другое выражение всего того же коренного вопроса об определении искусства. Для Плеханова искусство возникает тогда, когда человек испытывает чувства и мысли, вызванные в нем соприкосновением с окружающей действительностью и придает им образное выражение. Переверзев понимает дело совершенно иначе. Процесс создания художественных произведений рисуется ему в таком виде: существует определенная социальная среда, определенный класс общества. Этот класс ищет эстетического оформления своего бытия, ищет своего отражения в искусстве. Художник лишь находит эстетические формы, отражающие жизнь данной среды. Так, Гоголь «нашел наиболее подходящие эстетические формы» для известной среды. Именно, «он дал эстетически законченное изображение мелкопоместной и чиновной провинции дореформенной поры» («Творчество Гоголя», стр. 45).

«Мертвые души» с небывалой широтой охватывали помещичью жизнь дореформенной провинции и до сих пор остаются лучшим художественным воплощением этой жизни (Там же, стр. 40). Ганц Кюхельгартен — «это, в сущности, неудачная, детская попытка дать эстетическое изображение русской и ,в частности, малорусской поместной патриархальности» (Там же, стр. 175). В Гоголе «определенная общественная среда нашла великого мастера художника, который сумел поразительно удачно отразить в форме и содержании своих творений форму и содержание жизни этой среды» (Там же, стр. 24).

Как обстоит дело с законами, определяющими собой развитие искусства? По мнению Плеханова, «в цивилизованном обществе эволюция изящных искусств определяется борьбой классов. Борьба классов, конечно, определяется экономической эволюцией, но действие экономической структуры, во всяком случае, посредственно» (Т. XXIV, стр. 380).

И вот этот-то механизм классовой борьбы так усложняет сущность искусства, что всякие попытки трактовать его, как просто игру, неизбежно должны терпеть крушение. Переверзев ответит нам так: все это верно. Но какое отношение имеют эти рассуждения ко мне? Что вы пристаете с классовой борьбой, когда я и без вас знаю, что она имеет место и что она определяет собой эволюцию искусства? Что же вы моим же добром да мне же и бьете челом?

Послушаем же, что думает Переверзев о классовой борьбе и ее отношении к искусству: «Тайна литературной эволюции—в принципах социальной динамики. Чем точнее и отчетливее формулируются эти принципы, тем более точной и отчетливой становится социологическая формула стиля и динамический принцип смены стилей. Мы теперь знаем, что основой социальной динамики является борьба классов. Литературным выражением этой динамики является борьба литературно-художественных стилей, к которой и сводится вся литературная эволюция... Стиль — это общественный класс, его развитие, — форма классового развития, борьба стилей — форма классовой борьбы, смена доминирующих стилей — смена господствующих классов (Сборник «Искусство и общественность», стр. 200).

Вот все, что сказал Переверзев об этом деле. Больше нигде ни слова, ни звука, хоть шаром покати по всем его писаниям. Однако не в количестве дело. Количество, как и бедность, не порок. Взгляните, так сказать, на качество. Бывает мал золотник, да дорог. Что у проф. Переверзева сказано по интересующему нас вопросу на золотник, — это верно, но — дорог ли он? С какой стороны интересует Переверзева классовая борьба? С точки зрения борьбы литературных стилей, т.-е. литературных форм, облекающих содержание. Вся литературная эволюция сводится для него к борьбе форм в художественной литературе. Мы уже знаем, что содержанием художественного произведения являются образы, а формой — стиль, язык. Так вот классовая борьба в литературе выражается не в том, что классы борются между собой, а в том, что формы, в которые облечено их классовое сознание, вступают между собой в борьбу. Образы, по Переверзеву—проекция социального ха-

рактера. «Будучи проекцией социального характера, образ представляет собой сложную органическую структуру, потому что несомненным организмом является проецированный в нем характер» («Литература и Марксизм», стр. 15).

Классовую борьбу ведут не стили, а вот эти самые социальные характеры, которые будто бы проецируют себя бесстрастно в образах. Все тот же порок, коренящийся в непонимании сущности искусства. Литература не выражает идей. Отсюда прямое следствие: в литературе борются только стили. Это — мистика. Реально обстоит дело не так. Борются настоящие живые люди, принадлежащие к разным классам, интересы которых противоречивы. И когда речь идет о классовой борьбе в применении к литературе, то вопрос идет не о том, борются ли между собой стили, формы языка, приемы творчества. Это — схоластика. Реальных живых людей, участвующих в борьбе, от исхода которой зависит их судьба, таких людей интересует вопрос, может ли быть литература применена, как средство в этой ведущейся не на живот, а на смерть борьбе. А тут им подсовывают теорийку, что литература—это такой деликатный предмет, который не может служить органом реальной борьбы, который только фиксирует, отмечает этапы этой борьбы в смене и борьбе стилей.

Для исследователя литературы вопрос стоит так: возможно ли, чтобы борющиеся классы не пустили в ход литературу, как оружие, способное нанести удар врагу? И для всякого исследователя, на глазах которого не надеты шоры предубеждения, возможен только один ответ: литература не остается нейтральной в этой борьбе, а применяется классами, как ее средство. В борьбе участвуют все силы и средства, которыми класс располагает — и материальные, и идеологические. Одним из идейных орудий борьбы является литература. А раз так, то она не может сохранить своих белоснежных одежд в непорочной чистоте. Она будет наносить удары врагу и их получать. Но в области идеологии борьба выражается в защите одних и д е й и нападении на другие, являющиеся враждебными для данного класса.

Если это так, — а это несомненно так, то — тогда куда же годится учение, что в литературе не выражается никаких идей? Как возможна борьба с миропониманием враждебного класса, если не осмеивать, не порицать одних идей и не возвышать, не защищать других? Само собой понятно, что литература делает и то и другое в образах. Но образы не будут уже представляться, как бесстрастное воспроизведение данной формы жизни. Как, например, будет воспринимать форму жизни художник, если он ненавидит ее? Повлияет ли эта «идея» на образы, в которых будет «об'ективироваться» действительность? Исследователь обязан проследить и показать, как именно вражда между классами отражается на характере содержания и формы художественных произведений.

А по Переверзеву выходит так, что где-то вдали кипит битва, а художник, играючи, воспроизводит систему поведения борющегося класса,—получается стиль. Другой художник воспроизводит иную систему поведения, враждебную. Получается другой стиль. И стили ведут уже между собой борьбу. Это — не теория классовой борьбы в применении к литературе, а теория выхолащивания классовой борьбы. Это не мешает самой теории служить несомненным орудием борьбы для той социальной группы, на базе которой она возникает. Не тому учил нас Плеханов. «Искусство воспроизводит жизнь, это так». Но посмотрите, как оно воспроизводит ее. Дело выглядит совсем иначе, и гораздо более сложным, чем это изображает Переверзев.

Стиль, структура языка, приемы творчества,—словом, форма художественных произведений,—определяется именно тем, что в ней проецируется социальный характер, — продолжает Переверзев развивать свои воззрения. Социальный характер приходит в образы с приемами. «Прием — лишь атрибут образа. Он не входит непосредственно, самостоятельно в художественную ткань, а входит туда только через образ... Социальная среда... рождает не приемы, а образы, но образы рождаются с приемами... С этой точки зрения об'яснить прием — значит понять ее как атрибут образа, как специфическую черту социального характера, воспроизведенного в искусстве. Ни о каком социологическом об'яснении изолированного приема не может быть и речи: только через социологию образа раскрывается социологическая сущность его атрибутов, которые называются приемами». Так и подходит к социологическому об'яснению приемов Переверзев, раскрывая в каждом приеме черту социального характера, один из признаков художественного образа. Говоря о насыщенности гоголевского стиля «крепкими словами», провинциализмами, амплификациями, алогизмами, Переверзев показывает, что все эти элементы составляют черты — образы характеров, из которых складывается ткань гоголевского творчества («Литература и Марксизм», стр. 18). Вот вам процесс возникновения стиля. Просто, без хлопот и удобно. Но это уж — воистину простота, которая, по народному выражению, хуже воровства.

У Плеханова — иначе. Ему опять кажется, что стиль не простая проекция атрибутов социального характера, что дело тут связано с классовой борьбой: «Знаменитый французский живописец - романтик Делякруа замечает в своем дневнике, что картины не менее знаменитого Давида представляют собой своеобразную смесь реализма с идеализмом. Это совершенно верно, и, — что для нас здесь всего важнее, — это верно не только по отношению к Давиду. Это верно вообще по отношению к искусству, выражающему собою стремление новых общественных слоев, стремящихся к своему освобождению. Жизнь господствующего класса представляется новому, — восходящему и недовольному, — классу ненормальной, достойной осуждения. А потому и приемы художников, воспроизводящих эту жизнь, не удовлетворяют его, кажутся ему и с к у с с т в е н н ы м и» (Т. VI, стр. 286—287).

Давид изображал на своих картинах не добродетельных отцов семейств, как это делал Грез, а героев античного республиканского мира. Добродетели изображенного им Брута состоят не в бережливости и благонравии, а в мужественных действиях гражданина и революционера. Брут приказал казнить собственных детей за участие в заговоре против республиканского порядка вещей, за монархические происки. Технические приемы, которыми оперировал Давид и его школа, стоят в тесной причинной зависимости от классовой борьбы. «Могучее дыхание приближающейся революции, — пишет Плеханов,—коренным образом изменило все отношение художника к своему делу. Манерности и слащавости старой школы, — смотри, например, картины Ван-Лоо, — художники нового направления противопоставили суровую простоту. Даже недостатки этих новых художников легко об'ясняются господствовавшим среди них настроением. Так, Давида упрекали в том, что действующие лица его картин похожи на статуи. Этот упрек, к сожалению, не лишен основания. Но Давид искал образцов у древних, а для нового времени преобладающим искусством древности является скульптура. Кроме того, Давиду ставили в вину слабость его воображения. Это был тоже справедливый упрек: Давид сам признавал, что у него преобладает рассудочность. Но рассудочность была самой выдающейся чертой всех представителей тогдашнего освободительного движения. Рассудочность является плодом борьбы нового со старым, и она же служит ее орудием. Рассудочность свойственна была также якобинцам» (Там же, стр. 112—113).

Согласен ли Переверзев с изложенной здесь философией? Это, впрочем, неважно. Нас интересует здесь вопрос о том, теми ли же методами

исследует Плеханов содержание и форму художественных произведений, что и Переверзев. И я думаю, что из приведенной длинной цитаты, равно как из всех других примеров, яснее ясного обнаруживается, что методологии этих двух авторов не имеют между собой ничего общего.

Для Переверзева — развитие стиля есть «лишь форма классового развития». Для Плеханова и тут дело обстоит много сложнее: «Наклонности и направления вкусов всякого класса зависят, следовательно, от степени его развития и еще больше от его отношения к высшему классу, отношения, определяемого названным развитием. Это значит, что классовая борьба играет большую роль в истории идеологий. И действительно, эта роль столь важна, что за исключением первобытных обществ, в которых не существует классов, невозможно понять историю направлений вкуса и идей какого-нибудь общества без ознакомления с классовой борьбой, разыгрывающейся внутри его» (Т. XVIII, стр. 172).

У Плеханова все время речь идет, как будто бы на зло Переверзеву, об идеях и их борьбе. И вот эту борьбу идей, выражающуюся в искусстве, в том числе и в литературе, нельзя понять без ознакомления с состоянием классовой борьбы. Классовые интересы и их защита против враждебных классов лежит в основе не только разных направлений в искусстве, но также и в основе обычаев, нравов.

На основании рассмотренных им примеров Плеханов приходит к следующему выводу: «В произведениях искусства и в литературных вкусах данного времени выражается общественная психология, а в психологии общества, разделенного на классы, многое останется для нас непонятным и парадоксальным, если мы будем продолжать игнорировать, как это делают теперь историки-идеалисты вопреки лучшим заветам буржуазно-исторической науки — взаимное отношение классов и взаимную классовую борьбу» (Там же, стр. 107).

По-моему, упрек этот целиком относится к Переверзеву. Разница, однакоже, заключается в том, что Переверзев действует вопреки не только лучшим традициям буржуазной исторической науки, но, что гораздо хуже, вопреки основным принципам марксизма. Классовая борьба в искусстве у него принимает такой вид, что все ее содержание исчезает. Остается лишь форма. Идеи, психология борющихся классов заменяются борьбой стилей. Его классовая борьба далека, как небо от земли, от классовой борьбы, как ее понимает Плеханов и марксисты.

Вот жил некогда Луи Блан. Он сочувствовал борьбе рабочего класса против буржуазии. Тоже, стало быть, понимал «классовую борьбу». А между тем, вот какой нелестной оценки удостоился он со стороны Плеханова. Луи Блан сочувствовал борьбе рабочего класса «на свой особый лад, вследствие чего Луи Блан и играл такую жалкую роль в 1848 году. Между классовой борьбой, как ее понимал «позже» Маркс, и классовой борьбой по Луи Блану лежит целая пропасть. Человек, не заметивший этой пропасти, вполне подобен мудрецу, не заметившему слона в зверинце» (Т. VII, стр. 304).

Переверзев не рискует выступить с заявлением, что в вопросе о роли классовой борьбы в истории искусства у него есть полное согласие с Плехановым. Он, видимо, заметил слона и не желает попасть в положение мудреца, над которым насмехается Плеханов. В своей работе о Гоголе Переверзев пишет: «Из всех влияний доминирующим является, несомненно, влияние социальной среды. Ведь в конце концов и личность Гоголя, и окружающая его литература, и эпоха николаевской реакции были продуктом социальной среды, ее стихийного роста, ее коллективной работы» («Творчество Гоголя», стр. 22).

«Эпоха николаевской реакции» была ничем иным, как этапом в развитии классовой борьбы. Но вы не найдете у Переверзева ни звука, ни намека на анализ психологии борющихся классов. Ему и в голову не приходит об'яснить творчество Гоголя, исходя из состояния психологии борющихся классов. Его интересуют «быт, характер, язык,—все, что составляет самую суть творчества» Гоголя. А все это создается «не личностью, не эпохой и не литературными влияниями, потому что они существовали до личности, до эпохи, до литературных влияний» (Там же, стр. 22).

Быт и характеры существовали до эпохи, т.-е. вне всякой зависимости от классовой борьбы. Никакого другого смысла слово «эпоха», кроме известного этапа в развитии классовой борьбы, не имеет. Переверзев снисходительно готов признать: «В создании великой комедии Гоголя «Ревизор», без сомнения, играла роль и Николаевская эпоха с ее ревизиями, сыпавшимися дождем... и рассказ Пушкина... и комедия Квитки: «Приезжий из столицы»» (Там же).

Но что же, собственно, определяло собою эта эпоха? А вот глядите: «Но роль всех этих влияний сводилась лишь к тому, что они давали Гоголю тему, сюжет — не больше» (Там же).

Таким образом «Николаевская эпоха с ее ревизиями», т.-е. классовая борьба, приравнивается по своему влиянию к рассказу Пушкина и к комедии Квитки. Возможно ли циничнее и откровеннее насмеяться над марксистским учением о классовой борьбе? Да, поистине, от Переверзева до Плеханова — дистанция огромного размера. Их разделяет целая пропасть.

И Переверзев похваляется, что читатель не найдет в его работе «ни изображения мрачной Николаевской эпохи и литературных течений ее, влияние которых на Гоголя уже более или менее выяснено. Мой этюд будет иметь дело только с произведениями Гоголя и ни с чем больше, стремясь проникнуть возможно глубже в изучение особенностей их формы и содержания» (Там же, стр. 23 — 24).

Переверзев здесь прямо признается в том, что по его теории возможно понять и форму и содержание, совершенно не прибегая к анализу психологии борющихся классов, не обращаясь к классовой борьбе. Плеханов сказал бы в ответ на эту великолепную филиппику: Мрачная Николаевская эпоха наложила свою неизгладимую печать на содержание и форму творчества Гоголя. Она определила собою и то, и другое. Критика ничего не поймет в них и ничего не об'яснит другим, если отвлечется от «эпохи». Ее влияние идет куда глубже «темы и сюжета». Дело критика заключается именно в том, чтобы показать, как «эпоха», «исторический момент», т.-е. состояние классовой борьбы, нашли свое выражение в художественных созданиях Гоголя.

Но Переверзева не вразумишь. Он твердо знает, что «творчество Гоголя сложилось под влиянием двух стихий: исторической — казацкой и социальной — поместной, при чем первая сводилась к влиянию литературному, книжному, а вторая была влиянием реальной окружающей жизни. Жизнь влияла неизмеримо сильнее книги... Все особенности гоголевского творчества должны об'ясняться столкновением этих двух стихий и относительной их силой. Последняя мысль получит свое обоснование и развитие в дальнейшем изложении, где я займусь анатомией гоголевского творчества, анализом составных элементов его творчества, начиная стилем и кончая психологией» (Там же, стр. 45).

Переверзев не придает значения настоятельным предупреждениям Плеханова и изучает такую важнейшую разновидность идеологии, как искусство, вне всякой связи с классовой борьбой. Плеханов же еще раз напоминает ему, как искусство отражает жизнь: «Чтобы понять, каким образом искус-

ство отражает жизнь, надо понять механизм этой последней. А у цивилизованных народов борьба классов составляет в этом механизме одну из самых важных пружин. И только рассмотрев эту пружину, только приняв во внимание борьбу классов и изучив ее многоразличные перипетии, мы будем в состоянии сколько-нибудь удовлетворительно об'яснить себе «духовную» историю цивилизованного общества: «ход его идей» отражает собою историю его классов и их борьбы друг с другом» (Т. XIV, стр. 118).

Это звучит совсем иначе, чем невнятный и косноязычный лепет о том, что влияние «исторического момента», «эпохи», «николаевской реакции» — не идет «дальше темы, сюжета». В художественной литературе находят свое отражение стремления и идеи борющихся классов. Так вот эти стремления и идеи не вырастают просто из экономических корней данного класса. Плеханов утверждает другое: «Я сказал — и этого, конечно, не опровергнут никакие «индивидуалисты»,— что в обществе, разделенном на классы, стремления новаторов, как и консерваторов, всегда определяются отношениями классов» (Там же, стр. 273).

Возникновение классов, их неизбежная борьба и ее эволюция определяют собой эволюцию зародыша искусства — игру. Они в корне изменяют ее роль в обществе и требуют от исследователя искусства иных методов изучения. Кто не хочет или не может применять этих иных методов, тот не хочет или не может понять сущности искусства в классовом обществе.

III.

В особую себе заслугу Переверзев ставит правильное понимание основного положения марксизма об отношении об'екта к суб'екту. «Марксизм,— поучает нас Переверзев,— это строго и последовательно материалистическое мировоззрение. Нельзя быть марксистом, не будучи до конца материалистом. Художественная литература, которая является об'ектом литературоведения, как всякий факт сознания, определяется бытием... Иными словами, поэтическое произведение имеет свое основание не в суб'ективном мышлении, а в об'ективной действительности. Нынче редко встретишь литературоведа, который не знал бы, хотя по наслышке, этой формулы. Но еще реже встретишь такого, который имел бы ясное представление о вытекающих из нее методологических директивах, обязательных для литературоведа марксиста» («Литературоведение», стр. 10).

Какие «методологические директивы» вытекают для Переверзева из марксистского положения «бытие определяет сознание», — мы уже отчасти видели и дальше увидим больше. Директивы эти, как оказалось, совершенно расходятся с директивами, которые вывел из этой же формулы материалистический Плеханова. Стало быть, тут что-нибудь не так. Раз директивы оказались противоположными, то не в праве ли мы предположить, что и понимание самой формулы различно? Не по наслышке ли знает магическую формулу сам Переверзев. Попробуем проверить это предположение. Переверзев пишет: «Только рассматривая бытие как диалектическое единство об'екта и суб'екта, можно говорить, что оно определяет художественное творчество» («Литературоведение», стр. 14).

Из этого видно, что ему очень крепко запала в голову мысль о единстве суб'екта и об'екта. Но еще Гегель сказал, что любую философию можно свести на бессодержательный формализм, если ограничиваться простым повторением ее основных положений. На одном повторении фразы «бытие определяет сознание» далеко не уедешь. А в своих «Необходимых предпосылках марксистского литературоведения» Переверзев дальше такого повторения, дальше бесплодного топтания на одном месте, не идет. Он ходит вокруг этой формулы, как кот около горячего сала, но схватить и раскусить ее боится. Как волшебная лампа Аладина не действовала в руках непосвященных в ее секрет, так волшебная, все об'ясняющая формула материализма в руках Переверзева оказывается довольно бесполезным инструментом.

И совершенно напрасно похваляется он: «Марксизм может и должен вывести эту науку (литературоведение. *С. Щ.*) из состояния кризиса. Стоя перед лицом литературы с диалектическим методом в руках, зная, что тайна внутренней закономерности поэтического факта лежит в диалектике бытия, в закономерном единстве суб'екта и об'екта, марксизм не чувствует той беспомощности, которая толкала исследователей поскорее покидать область литературы ради всяких разысканий «по поводу» и «в связи». Он уверенно подходит к литературным явлениям, зная, что с острым скальпелем своего метода он вскроет все ткани поэтического факта, доберется до той сердцевины его, где органически сливаются об'ект и суб'ект его, являясь изображением и выражением бытия, где открывается принцип его закономерности и необходимости» (Там же, стр. 17).

Не хвались, идучи на рать, говорит пословица. Что же принес с собой Переверзев с рати? «Острый скальпель» его метода не помог ему добраться до «сердцевины поэтического факта». Он, даже не заметив, выбросил ее совсем из литературы. Проделав эту операцию, он торжественно провозгласил сердцевиной то, что осталось в его искусных руках: форму, скорлупу, в которой была заключена сердцевина. Во всей этой самонадеянной и длинной тираде верно только одно: марксизм Переверзева «уверенно подходит к литературному явлению». Храбрость города берет. Но и тут дело так просто обстоит только в пословице. На деле же, чтобы города брать, нужен именно «острый скальпель». Скальпель же Переверзева остер только в его собственном воображении.

Обратимся к Плеханову, знавшему секрет аладиновой лампы, секрет магической формулы марксизма. Переверзев «знает по наслышке», что тайна внутренней закономерности поэтического факта лежит в диалектике бытия, в закономерном единстве суб'екта и об'екта. Но такого общего знания, являющегося, по существу, общим местом, совершенно недостаточно. Тайна так и остается тайной. А Переверзев так и остается при похвальбе, что вот он ее сейчас откроет, дайте ему только срок. Фраза о диалектике бытия так и остается пустой фразой, лишенной содержания. И так же, как скорлупу Переверзев принял за сердцевину, так и тут он принимает фразу о раскрытии тайны суб'екта и об'екта за самое раскрытие.

А Плеханов именно из этой диалектики бытия тайну вскрывает, не хвалясь заранее. Бытие развивается: на ряду с элементами старого в нем возникают и крепнут элементы нового, грядущего бытия. Отсюда получается, что суб'ект отражает эту двойственность бытия. Одни «суб'екты» «об'единяются» с уходящей, старой действительностью; другие — с вновь нарождающейся, идущей на смену старому. Тогда суб'екты вступают между собой в борьбу, группируясь в классы. Борьба их становится классовой борьбой. «Суб'ективисты,— говорит Плеханов,— слышащие это, скажут, что если я стану приспособлять мои идеалы к действительности, то я сделаюсь жалким прислужником «ликующих». Но они скажут это единственно потому, что они, в своем качестве метафизиков, не понимают двойственного антагонистического характера всякой действительности. «Ликующие» опираются на уже отживающую действительность, под которой зарождается новая действительность, действительность будущего, служить которой значит содействовать торжеству «великого дела любви» (Т. VII, стр. 224).

Видите: вместо фразы о диалектике бытия, расшифровывание этой диалектики и отражение ее в суб'екте. Суб'ект един с действительностью, но сама действительность двойственна. И суб'екты, реальные люди, носители «суб'екта вообще», раздваиваются, и не только раздваиваются, но и вступают в борьбу. Сравните с этим ясным, четким толкованием вопроса следующие глухие вещания Переверзева: «Источник закономерности поэтического сознания лежит в той необходимой и закономерной связи суб'екта с об'ектом, которая называется бытием. Раскрытие этой закономерной связи суб'екта с об'ектом в художественном произведении и составляет задачу марксистского литературоведческого анализа. Понять художественное произведение, как закономерную и необходимую связь суб'екта с об'ектом, значит марксистски его об'яснить» («Литературоведение», стр. 14).

Где тут хотя бы намек на понимание двойственности об'екта? А ведь именно эта двойственность и есть выражение той «диалектики бытия», тайну которой похваляется раскрыть Переверзев. Вместо него приходится выполнять эту задачу Плеханову. Он раз'ясняет нам, в чем состоит эта тайна: «Когда метафизик слышит, что общественный деятель должен опираться на действительность, он думает, что ему советуют мириться с ней. Он не знает, что во всякой экономической действительности существуют противоположные элементы и что помириться с действительностью значило бы помириться лишь с одним из ее элементов, с тем, который господствует в данное время. Материалисты-диалектики указывали и указывают на другой, враждебный этому, элемент действительности, на тот, в котором зреет будущее» (Т. VII, стр. 257).

Раньше Переверзев пекся о том, чтобы как-нибудь не смешали в одну кучу художественную литературу с другими идеологиями. Теперь он обнаруживает особое усердие в деле сохранения единства суб'екта с об'ектом. Самое главное,—советует он,—не разделяйте этих двух вещей, они едины. Но как именно сохранить их единство, этого ему знать не дано. Острый скальпель его метода не вскрыл ему действительного характера единства. И мы принуждены опять звать на помощь Плеханова.

Оказывается, что единство суб'екта и об'екта достигается как раз раздвоением самой действительности. Ошибка утопистов заключалась именно в противопоставлении об'екта суб'екту, в их разрыве, в отделении одного от другого. И вот, «чтобы поправить коренную ошибку утопистов, недостаточно было признать существование об'ективных научных истин. Необходимо было, кроме того, покончить с отмеченной Марксом логической ошибкой, делящей общество на две части, из которых одна — та, которая отрицает данную действительность,—стоит над обществом, а следовательно и над действительностью. А устранить эту роковую для теории ошибку можно было только одним путем: путем такого анализа, который открыл бы, что сами реформаторы, отрицающие данную действительность, являются продуктом развития этой же действительности. Этим был бы устранен из общественной науки дуализм об'екта,— т.-е. данной действительности,— и суб'екта,— т.-е. реформатора, отрицающего эту действительность и стремящегося переделать ее сообразно своим реформаторским планам. Стремления суб'екта представились бы тогда ни чем иным, как следствием и показателем хода развития об'екта. Это и было сделано Марксом в сотрудничестве с Энгельсом» (Т. XIV, стр. 289 — 290).

Дуализм, деление мира на две непримиримые и несоединимые противоположности стало возможным устранить только после того, как была обнаружена двойственность об'екта. Заслуга научного социализма в том и заключается, что он устранил этот дуализм, которым страдали все без исключения утопические системы. Возьмите опять для сравнения любую

выдержку из туманного учения Переверзева о суб'екте и об'екте. «Дело в том,—продолжает он раскрывать нам тайны суб'екта и об'екта,—чтобы прощупать в художественном произведении тот пункт, где об'ективное изображение переходит в суб'ект, где изображаемое и изобразитель образуют органическое единство. Именно в этом пункте мы подходим к тому бытию, которое лежит в основании данного художественного произведения, к той социальной действительности, где в живом, общественно-производственном процессе об'ект и суб'ект, конкретный предметный мир и конкретный человек даны в органической слитности... Решить эту задачу вовсе не так легко. Решение ее требует пристального изучения всех элементов поэтической структуры, напряженнейшего внимания к мельчайшим подробностям художественной картины, упорного размышления, исследовательского чутья, даже (?) зоркости и проницательности» («Литературоведение», стр. 15).

Ясно ли вам, читатель, где же этот таинственный пункт, в котором изображаемая действительность и изобразитель образуют органическое единство? Я думаю, и самому Переверзеву не ясно. Оттого он так туманно и выражается. Послушаем опять Плеханова. Он пишет по поводу Глеба Успенского: «Мы достаточно знаем, каким характером обладает наше земледельческое население, пока оно действительно остается земледельческим. Народники-беллетристы считают изображение этого характера главной своей задачей, и мы уже видели, как отразились на их произведениях свойства той среды, к которой принадлежат они сами. Но характер изображаемой среды, в свою очередь, не может остаться без влияния на характер художественных произведений» (Т. X, стр. 34).

По-моему — ясно. Суб'ект не обязательно принадлежит к той среде, которую он изображает. Он может быть порожден совсем другой средой, сидеть в ней всеми своими корнями, образовать с ней полное единство. Но оттого, что он изображает другую среду, единство суб'екта с об'ектом вовсе не нарушается. Дело об'ясняется просто тем, что об'ект не монолитен и не застыл в неподвижности, а многогранен и развивается. Именно свойства бытия, к которому принадлежит художник, толкают его на изображение другого бытия, черпающего свое содержание из развития все той же действительности. И дело тут не всегда складывается так, что художник стремится просто найти «наилучшее эстетическое выражение для данной формы жизни». Вернее, дело никогда так не складывается. Изображая среду, художник выражает свое отношение к ней, т.-е. известные идеи, суждения, возникающие в его сознании под влиянием действительности. Изменится суждение автора об изображаемой среде, вместе с тем изменится и характер изображения той же самой среды.

Так, например, обстоит дело с Толстым, который, по мнению Плеханова, был не только сыном нашей аристократии, но который долго был ее идеологом,—правда, не во всех отношениях. Быть идеологом—это не значит быть только орудием эстетического отражения данной формы жизни. Такова функция художника с точки зрения Переверзева. Он говорит: «Не в суб'ективном движении, а в об'ективном бытии, не в движении идей, а в движении материальной действительности обязан искать об'яснения поэтических явлений литературовед, оперирующий марксистским методом... В основании художественного произведения лежит не идея, а бытие» («Литературоведение», стр. 10—11).

Бытие определяет сознание. Но сознание есть мышление о бытии. Фейербах остроумно говорил, что думать, значит связно читать евангелие чувств. Вот это-то мышление и определяется бытием. Плеханов утверждал, что мышление выражается на ряду с логическими понятиями, также и образами. Но от этого оно не перестает быть мышлением, т.-е. известной сум-

мой идей о мире. Именно в этом смысле он считал художника идеологом класса. Для Переверзева сознание образа утрачивает свою основную черту — мышление, так как мышление без идей немыслимо. Сознание, которое выражается в образах, лишается у него своего содержания. Это — просто образы, представляющие собою социальные характеры. Художник их об'ективирует в материи внешнего мира — краске, звуке, слове. Художник является идеологом класса, лишь поскольку он выступает в качестве публициста, развивает свои взгляды, свое миросозерцание, свои политические убеждения, словом, когда он перестает быть художником. Но как только он обращается от публицистики к художественному творчеству, он отрясает с своих ног прах всяких идей, взглядов, мировоззрений; он оставляет весь этот ненужный хлам у входа в святилище искусства. Здесь, в храме художественного творчества, он предается чистым молениям, он только и заботится о том, чтобы найти наиболее совершенную эстетическую форму для бытия своего класса. Своеобразная интерпретация той самой концепции, которую развивал Пушкин:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон—
В заботах суетного света
Он малодушно погружен и т. д.

Взгляды, идеи, мировоззрения — это ведь и есть мышление; в этом и состоит сознание, и ни в чем другом. Именно идеи и взгляды определяются бытием. Именно таков смысл положения: ход идей определяется ходом вещей. Переверзев же, повторяя без конца фразу: «бытие определяет сознание», под шумок опустошает сознание, лишает его всякого содержания. Процесс художественного творчества совершенно изолируется от мышления; между ними пролагается непереходимая грань. Это — два совершенно отличные по содержанию процесса.

Поэтому судьбы мышления не связаны с судьбами художественного творчества. Какие бы перемены и перевороты ни претерпевало мышление художника — они никак не отражаются на характере его художественного творчества, которое продолжает итти определенными ему путями, воспроизводя свойственное данной форме жизни поведение. Это — два параллельных процесса, качественно различных, независимых друг от друга. Плеханов толкует нам о переворотах, происходящих в сознании художника и обусловленных ими переворотах в отношении художника к своему творчеству, после чего неизбежно должно наступить изменение самого характера творчества. Пустяки, отвечает Переверзев. Возьмите, например, Достоевского. «Только невнимательностью и можно об'яснить тот факт, что некоторые критики усмотрели перелом в развитии его творчества. Ни о каком переломе не может быть и речи. Наоборот, от первого до последнего произведения мы наблюдаем непрерывную последовательность, непрерывный рост, без всяких скачков и переломов» («Творчество Достоевского», стр. 119).

Все, как видите, шло без сучка и без задоринки, гладко и постепенно. Что в мировоззрении Достоевского произошел переворот — это так. Но он совершенно не затронул характера его художественного творчества. Даже наоборот. Каторга послужила внешним толчком к перевороту во взглядах Достоевского, к перевороту, который довел его взгляды в конце концов до уровня «ненужного хлама», по оценке самого Переверзева. Что же касается художественного творчества, то «каторга сыграла громадную роль в развитии таланта Достоевского и, с моей точки зрения, не отрицательную, а положительную» (Там же, стр. 118).

Чем же обосновывает Переверзев столь странное суждение? Тем, что каторга, не изменив характера творчества Достоевского, углубила его содер-

жание. «Каторга открыла Достоевскому богатый материал для наблюдений как раз над той психикой, изучение и творческое воспроизведение которой составило его задачу с первых же шагов на литературном поприще. Он нашел на каторге воплощенным в живых лицах то, над чем билась прежде его творческая мысль. Не каторга определяла направление его творчества, а он взял у каторги то, что ему было нужно» (Там же, стр. 119).

Создавая, например, образ Мурина, Достоевский отнюдь не выражал каких-нибудь взглядов и, тем паче, идей. Не таково художественное сознание, которое хотя и определяется бытием, но совершенно не задается целью выражать идеи в образах. Образом Мурина Достоевский, оказывается, давал ответ на вопрос «чем станет «двойник», если в нем одержит верх дух гордости и своеволия, если он из «двойника» станет «своевольным»» (Там же, стр. 118).

Мысли, идеи, их возникновение и развитие определяются бытием. Но художественное творчество остается цельным, единым, независимым ни от каких катастроф, происходящих в мышлении. Творчество едино, потому что «основа этого единства не в личности автора, а в социальной обусловленности характера, проэцирующего себя в образах» («Литература и марксизм», стр. 20).

Таким образом, сознание, понимаемое, как мышление, определяется бытием на один фасон, а как художественное творчество — на другой.

Бытие определяет собой сознание в том смысле, что оно обусловливает тот или иной характер идей, взглядов и т. д. В этом социальная обусловленность мышления. С писателем дело обстоит иначе: «Не потому произведения об'единяются в понятие творчества, что они созданы одним автором, а потому, что ткань их складывается из одних образов, что они обнаруживают яркое выраженное единство стиля, в котором... и проявляется социальная детерминированность писателя». Под творчеством Переверзев разумеет вовсе не «механическое об'единение произведений по признаку их принадлежности одному лицу, а органическое об'единение по признаку единства образов, единства стиля» (Там же, стр. 25).

Сознание, стало быть, не едино. Сознание разрывается на две части, и каждая из них определяется бытием на свой солтык. В художественном гении сознание, понимаемое, как мышление, Переверзев игнорирует в качестве дела, совершенно постороннего художественному творчеству. «Если уж определять гоголевский талант в терминах психологии,—изрекает он, то нужно было бы сказать, что из двух психических сил художественного гения — чувства и воображения — Гоголь не имел совсем первого и был в избытке одарен вторым» («Творчество Гоголя», стр. 105).

Художественный гений—это и есть суб'ект, сознание которого определяется бытием. И в этом сознании выпадает, оказывается, основная его черта — мышление. Раз возникнув, сознание образует ту точку зрения, с которой суб'ект рассматривает бытие, так сказать очки, сквозь которые он смотрит на мир. Одна и та же действительность может представиться различно, если смотреть на нее с различных точек зрения. Так думал Плеханов.

Стало быть, и изображение бытия будет различно, хотя оно по своему общему характеру осталось неизменным. Переверзев может сказать: но тут дело идет вовсе не об искусстве, а о науке. Это же две вещи, с моей точки зрения, несоизмеримые. Именно, с вашей точки зрения. Я и говорю, что все зависит от точки зрения. Но я для вас не авторитет. Поэтому опять спрячусь за широкую спину Плеханова. А вы уж с ним ведайтесь сами, как хотите. Плеханов применяет такой же метод рассуждений и по отношению к искусству: «Всякий процесс развития, всякая «история» представляется людям в различном виде, сообразно той точке зрения, с которой они на

него смотрят. Точка зрения — великое дело. Недаром же Фейербах говорил когда-то, что человек отличается от обезьяны только своей точкой зрения» (Т. XIV, стр. 259).

Плехановская формула «бытие определяет сознание» равнозначна ему же самим употребляемой форме «бытие определяет мышление». Вот тому доказательство: ««Поставить на ноги» гегелевскую диалектику мог только человек, убежденный в правильности основного положения философии Фейербаха: не мышление обусловливает бытие, а бытие мышление» (Т. XVIII, стр. 200).

Точка зрения для художника не играет никакой роли,— учит Переверзев, — так как его деятельность состоит только в том, чтоб отображать, воспроизводить поведение, социальный характер. Как воспроизводится этот характер, — это целиком и без остатка определяется свойствами самого воспроизводимого бытия. Социальный характер дан об'ективно, и он через посредство сознания художника переносится в образ, оформляется в стиле. Этот последний целиком определяется свойствами воспроизводимого характера. Ни исказить, ни изменить чего-либо в воспроизводимой действительности художник не властен. Если образ дан комичным, то это потому, что он сам по себе комичен независимо от впечатления, производимого на воспроизводящего его художника. То же самое в том случае, если социальный характер трагичен или драматичен — тогда и образ автоматически приобретает соответствующие своему прототипу черты, что бы автор ни думал о воспроизводимой действительности, какой бы точки зрения он ни придерживался. Сознание художника всегда оказывается наилучшим образом приспособленным для воспроизведения действительности такой, как она есть сама по себе.

Переверзев пишет о Гоголе: «Стоило только заговорить музыкальной, звучащей стройным аккордом периодической речью о делах такого господина, как Чичиков, и вы почувствовали лукавую улыбку на лице автора, и вы невольно откликнетесь улыбкой на улыбку» («Творчество Гоголя», стр. 52).

Какой же это господин — Чичиков? Ну — смешной сам по себе. Оттого он и вызывает лукавую улыбку у автора и смех у читателей. Дело не в том, что Чичиков вызывал смех в авторе и это свое отношение автор представил в образе. Боже упаси! Тогда бы тут были чувства, настроения и чего доброго, идеи. Чичиков был «такой господин», который должен был непременно об'ективироваться в смешной образ, независимо от отношения автора к Чичикову. «Общая родовая черта всех созданных Гоголем характеров, — говорит Переверзев, — это — никчемность их существования, выражающаяся либо в полном безделии, либо в совершении никому не нужных, бестолковых делишек и сопровождающаяся непониманием своей никчемности, а иногда, и чаще, даже самодовольным убеждением в том, что они — соль земли. В этом и заключается источник того неудержимого смеха, который вызывают они. Чем больше довольства собой и убеждения в своей способности солить землю, тем комичней и курьезней они, тем меньше сожаления к ним. Ноздрев или Плюшкин просто смешны и больше ничего... Итак, на вопрос, почему почти все, и во всяком все главные, герои Гоголя комичны, я отвечаю коротко: оттого, что они коптят небо, воображая, что они солят землю» (Там же, стр. 109—110).

Вы можете спросить: существование этих людишек никчемно и бестолково с чьей точки зрения? Комичны они для кого? На чей взгляд они коптят небо? Переверзев ответит: они комичны сами по себе, коптят небо, так сказать, об'ективно, но при этом еще воображают, что солят землю. При чем же тут автор, спросите вы? Может быть, это он обнаружил, что

изображаемые им социальные характеры коптят небо, а сами себе представляются землю солящими? Нет, ответит Переверзев, тут были бы опять взгляды, идеи. А в художественном творчестве они не имеют места. Дело автора сводится к воспроизведению людишек такими, каковы они суть сами по себе, независимо от того, какими кажутся художнику.

Ну, а если бы художник, не угомоняется читатель, вместе с изображаемым им социальным характером тоже не понимал ни своей, ни их никчемности? — Тогда все осталось бы по - старому, — успокаивает вас Переверзев. «Данная форма жизни» ищет здесь для себя эстетического выражения и его находит. И дальше Переверзев поясняет, что иначе не могло быть, так как все герои Гоголя «принадлежали к общественному классу, который сделался социально-экономической ненужностью». С чьей, опять-таки, точки зрения? — спросите вы его. С своей собственной — класс этот оставался нужным, пока его не свалила в историческую помойную яму пролетарская революция. И до самого конца его классового существования находились художники, которым казалось, что их класс не только нужен, но что он есть подлинная соль земли. И они давали иную эстетическую форму бытия мелкопоместной среды. Переверзев отрезает читателю всякую возможность предположить, что тут дело в авторе, который уразумел, что перед ним — не солители земли, а коптители неба: «Лишь исключительные люди, — пишет Переверзев, — помещичьей среды угадывали, что такая жизнь — не светильник, а коптилка неба. Но Гоголь был художником не исключений, а массового, рядового помещика, который коптил небо и озирался ясным соколом. Вот почему смех и стал основной стихией его творчества (Там же, стр. 111).

Выходит, Гоголь потому именно так удачно изобразил среду мелкого душевладения, что он сам видел в ней светильник, а не бессмысленное копчение неба. Переверзев и подтверждает это парадоксальное предположение.

«Сильная интеллектуальная жизнь осталась вообще за пределами гоголевского достижения, очевидно потому, что и сам он не был серьезно - образованным человеком, как Пушкин, Лермонтов или, впоследствии, Тургенев и Толстой. Это и было причиной его слабости, когда он брался за изображение интеллигенции. Но это же было причиной того особенно проникновенного постижения психологии рядового «существователя» из поместного и чиновного круга, которое дало ему право на вечность в качестве художника этих кругов» (Там же).

Вот как! Невежество Гоголя помогло ему особенно глубоко постигнуть психологию рядового существователя из мелкопоместной и чиновной среды! Анненков рассказывает в своих воспоминаниях, что Маркс в споре с Вейтлингом, во время которого присутствовал Анненков, сердито заявил в ответ на аргументацию Вейтлинга, что «невежество, чорт возьми, еще никому и нигде не помогало!». Переверзев не согласен тут с Марксом, он, как будто, завидует лаврам славной памяти полковника Скалозуба. Тот высказался однажды так: «По моему сужденью, пожар способствовал ей (Москве. *С. Щ.*) много к украшенью».

По суждению Переверзева, каторга помогла Достоевскому глубже постигнуть психологию своевольных и тем самым оказала благотворное влияние на развитие творчества Достоевского. А будь Гоголь немного пообразованнее, так ведь мы, пожалуй, и не имели бы законченного эстетического отображения мелкопоместной среды. Переверзев так прямо и пишет всеми словами: «Обладай Гоголь большей интеллигентностью, он слишком ушел бы от поместной и чиновной толпы и обнаружил бы не больше силы в ее изображении, чем обнаружил ее даже титан Пушкин в своих обра-

щениях к этой среде. Этого, к счастью русской литературы, не случилось» (Там же).

Чтоб удачно отразить эстетически быт мелкопоместной среды, художник должен был быть «недостаточно интеллигентным». Гоголь как раз и обладал этим драгоценным качеством. Но ведь в среде, им изображенной, были еще менее интеллигентные представители, которые несли «на своих плечах груз обывательской психологии поместно-чиновной среды» еще в большей, или во всяком случае не в меньшей, мере, чем Гоголь. Она, ведь, кишела такими типами. В чем же особое счастье русской литературы? Не Гоголь, так другой нашел бы для этой среды эстетическое оформление ее быта. Ведь всякая «данная форма жизни, как бы то ни было, «воспроизводит вне непосредственной борьбы за жизнь свойственную ей систему поведения». А тут вдруг такое маловажное обстоятельство, как большая интеллигентность художника, могло бы испортить все дело. Тогда Гоголь «слишком далеко ушел бы от поместной и чиновной толпы».

Но, чтобы постигнуть ее бессмыслицу, нужно было именно сбросить с плеч своих груз обывательской психологии поместно-чиновной среды. Иначе, не выйдя за ее пределы, нельзя ни самому понять, что это бессмыслица, а не соление земли, ни дать понять это другим.

Мелки и ничтожны не только люди мелкопоместной среды. Сама природа около них такова же. Так уверяет Переверзев. Гоголь «искусно пользуется приемами высокой торжественной речи для более выпуклого изображения убогости и мелкости вида (Там же, стр. 83).

Вид убог и мелок сам по себе, независимо от впечатления, производимого им на зрителя. Отчего же не замечали этого самоочевидного обстоятельства сами небокоптители? Как они не видели своего небокоптительства? А ведь сама комичность гоголевских типов состоит, по словам Переверзева, именно в том, что они этого не замечают. Очевидно, потому, что они смотрят на самих себя и окружающие их виды иными глазами, или, если Переверзеву больше нравится его собственное выражение, оттого, что они менее интеллигентны, чем Гоголь. Об'ект, действительность одни и те же, а воспроизведение их в сознании человека различно. Будет ли в таком случае эстетическая форма одинаковой?

«Смешные, нелепые характеры, смехотворность, пустяковинная жизнь, жалкие фигуры, расчетливая бессмыслица, никчемность, об'ективная бессмыслица, несимпатичные и курьезные люди, ничтожная маниловщина, бесцветный и безвкусный корень мелкопоместного быта, небокоптительство, пустомыслие и пустословие, примитивность и несложность жизни» — таковы эпитеты, которыми переполнена вся книга Переверзева о Гоголе. Щедрою рукой рассыпает их автор по своим страницам. Я мог бы без малейшего труда почти произвольно увеличить число таких эпитетов и аттестаций. Но чтобы не злоупотреблять терпением читателя, которому может надоесть их однообразие, я удовлетворюсь всего лишь одной, нужной для моих целей цитатой. «На почве социальной ненужности поместного класса, бессмысленности и никчемности его существования в лучших представителях его рождается тоска, жажда уйти подальше от своей среды, хоть в мечтах пожить с иными живыми людьми, и поэт, следуя за своим тоскующим героем, незаметно переходит к изображению картин, далеких и чуждых окружающему его миру» (Там же, стр. 176).

Из этого ясно, что бессмысленность и никчемность — это свойство самого бытия, существовавшее до того, как появилось сознание их в головах лучших представителей среды. Эти черты существуют в самом об'екте, независимо от того, как они воспринимаются суб'ектом. Но эту свою позицию Переверзев не выдерживает до конца. Так он пишет: «Для понимания красоты Кавказа нужно было обладать высокой интеллигентностью и той усталостью от бессодержательной жизни, которыми были проникнуты лучшие представители крупнопоместной, великосветской среды (Там же, стр. 73).

Итак, для понимания красоты Кавказа нужна высокая интеллигентность, а специфическим условием глубокого постижения психологии поместно-чиновной среды является недостаточная интеллигентность и груз этой самой психологии. Очень хорошо. Но чего же в таком случае стоят разговоры о том, что социальные характеры проэцируются в образы такими, каковы они суть сами по себе, независимо от восприятия их автором? Красивый, трагичный, комичный, пошлый, бесцельный и т. д. — все это — термины, обозначающие не свойства предметов внешнего мира самих по себе; они служат обозначением тех впечатлений, которые об'ект вызывает в суб'екте. Этими словами выражается известное отношение суб'екта к об'екту.

Такому именно пониманию дела учит нас Плеханов. Он тут следует целиком за своими учителями, основателями научного социализма. Так, Энгельс пишет: «Пробудившееся сознание неразумности и несправедливости существующих общественных отношений, убеждение в том, что «безумством мудрость стала, злом — благое», служит лишь указанием на то, что в способах производства и обмена постепенно совершились изменения, настолько значительные, что им не соответствует более общественный порядок, выкроенный по мерке старых экономических условий» («Развитие научного социализма»).

Неразумность и несправедливость — это не свойства самих общественных отношений, присущие им самим по себе. Лишь на определенной ступени развития они начинают восприниматься угнетенным классом, как несправедливые и неравные. Вне этого отношения угнетенного класса эпитеты «несправедливый» и «неразумный» — теряют всякий смысл. Классам господствующим эти же общественные отношения продолжают казаться и справедливыми, и разумными. Точно так же дело обстоит с комичностью характеров, пошлостью, бесцельностью жизни и прочим в этом роде. Сознание всего этого наступает в результате развития производительных сил и нарастания противоречия между их состоянием и общественной формой, в которой совершается процесс производства. И художник, у которого возникает сознание неудовлетворительности старого общественного порядка, именно это свое сознание выражает в образах, а не просто и безучастно, как летописец, «не ведая ни жалости, ни гнева, добру и злу внимая равнодушно», воспроизводит социальный характер.

Переверзев утверждает, что этот характер комичен и пошл сам по себе, что миргородский вид мелок сам по себе, что собачий лай непременно должен проэцироваться в комические приемы, а помещичий дом пошл также в силу своих свойств. Переверзев в этом случае не оригинален. Он имел многих предшественников, и в их числе такого великана, каким был Чернышевский. Но эти воззрения Чернышевского были слабой стороной его эстетической теории, которую Плеханов критиковал. «Он ошибался, говоря, что хотя содержание возвышенного и может наводить нас на различные мысли, усиливающие то впечатление, которое мы от него получаем, но что сам по себе предмет, производящий такое впечатление, остается возвышенным, независимо от этих мыслей. Отсюда следует тот вывод, что возвышенное существует само по себе, независимо от наших о нем мыслей. По мнению Чернышевского, возвышенным нам представляется самый предмет, а не вызываемое им настроение. Но его опровергают им самим приводимые примеры. Он говорит, что Монблан и Казбек — величественные горы, но никто

не скажет, что они бесконечно велики. Это так; но никто не скажет также, что они величественны сами по себе, независимо от производимого ими на нас впечатления. То же приходится сказать и о прекрасном. По Чернышевскому выходит, с одной стороны, что прекрасное в действительности прекрасно само по себе; но, с другой стороны, он сам же об'ясняет, что прекрасным нам кажется только то, что соответствует нашему понятию о «хорошей жизни», о «жизни, как она должна быть». Стало быть, предметы прекрасны не сами по себе» (Т. VI, стр. 288—289).

Видите, т. Переверзев, опять ненавистные вам мысли и идеи. Заметьте, не идеи, свойственные характерам. Нет, речь идет об идеях, вызываемых этими социальными характерами в сознании соприкасающегося с ними суб'екта, будь то художник или простой смертный. Социальные характеры выступают по отношению к суб'екту, как об'ект, действующий определенным образом на суб'ект, вызывающий в нем то или иное настроение, те или иные мысли, которые суб'ект и обозначает терминами: возвышенный, комичный и т. д.

Художник же, мыслящий образами, дает понять свои мысли именно тем, что соответственным образом конструирует свои художественные образы. Это, как видите, совсем не то, что утверждаете вы: образы проэцируются из действительности со всеми своими атрибутами, создающими в своей совокупности стиль.

Плеханов дальше об'ясняет, чем были вызваны ошибки Чернышевского. Вот, не угодно ли вслушаться: «Эти ошибки нашего автора об'ясняются—кратко говоря — уже указанным нами отсутствием у него диалектического взгляда на вещи (Т. VI, стр. 289). А Переверзев нас уверял, что он стоит «пред лицом литературы с диалектическим методом в руках». Как же это с ним случился такой пассаж, что он впал в ошибку, обусловленную именно отсутствием диалектического метода?

Но слушайте Плеханова дальше: «Он (Чернышевский. *С. Щ.)* не умел найти истинную связь между об'ектом и суб'ектом, об'яснить ход идей ходом вещей» (Там же). А Переверзев похвалялся, что он раскрыл тайну внутренней закономерности поэтического факта, которая лежит в диалектике бытия, в закономерном единстве суб'екта и об'екта. Плеханов уличает Переверзева как раз в отсутствии диалектики, в неуменьи понять истинную связь суб'екта и об'екта, т.-е. в отсутствии всего того, чем так кичится, идучи на рать, Переверзев.

Но Плеханов еще не кончил: «Поэтому он по необходимости пришел к противоречию с самим собой и, вопреки всему духу своей философии, придал об'ективное значение некоторым идеям» (Там же). В противоречие с самим собой впал и Переверзев. Но отсюда начинается различие между ним и его великим предшественником. Чернышевский впал в ошибку, придал об'ективное значение некоторым идеям, вопреки духу своей философии. С Переверзевым все это случилось именно благодаря «духу» его собственной философии. Противоречия и ошибки заложены в ней, «имманентны» ей.

Но дослушаем Плеханова: «Эта ошибка могла быть замечена только тогда, когда философия Фейербаха, лежащая в основе эстетической теории Чернышевского, стала уже превзойденной ступенью. А для своей эпохи диссертация нашего автора все-таки была в высшей степени серьезным и замечательным произведением» (Там же).

В эпохе все дело. Во времена Чернышевского методы, которыми он оперировал в искусстве, были огромным шагом вперед. Теперь же философия Чернышевского стала в свою очередь превзойденной ступенью. Как раз Плеханов и превзошел ее. Возврат к точке зрения Чернышевского в наше время есть безусловный и большой шаг назад.

Раз социальный характер, свойственный данной форме жизни проэцируется «вне непосредственной борьбы за существование», в образе со всеми своими атрибутами, то суб'ект в художественном творчестве может и должен быть целиком выведен из об'екта. Но такое понимание тайны закономерной связи суб'екта и об'екта Плеханов считал искажением не только диалектики, но даже и материалистических воззрений Фейербаха. «Кто захотел бы о б' я с н и т ь суб'ективный мир п о с р е д с т в о м об'ективного,— говорит Плеханов, — в ы в е с т и первый из второго, тот показал бы, что в материализме Фейербаха он ровно ничего не понял. Это учение, — как и учение Спинозы, — не в ы в о д и т одной указанной стороны из другой, а только устанавливает их сопринадлежность к единому целому. Впрочем, в этом отношении с материализмом Фейербаха совсем не расходились и другие главнейшие разновидности, по крайней мере, материализма нового времени» (Т. XVIII, стр. 168). Но Переверзев разошелся с Фейербахом, хоть он и считает себя материалистом нового времени.

Тайна суб'екта и об'екта разрешается у него таким образом, что первый исчезает вовсе, растворяется во втором. Суб'ект перестает существовать. Это — не единство, а тождество суб'екта и об'екта. Диалектический же материализм учит, что единство как раз заключается в том, что ни одна из его сторон не уничтожается, обе сохраняются. У идеалистов об'ект отождествляется с суб'ектом, растворяется в нем. У Переверзева наоборот. И та, и другая концепция искажают действительное положение вещей.

Именно на этом слиянии суб'екта с об'ектом основываются «методологические директивы» Переверзева об устранении из литературоведческого анализа авторской личности. Раз сознание, т.-е. чувства и мысли автора, ничего не в состоянии переменить в характере эстетического воспроизведения действительности, как бы ни изменялись они сами, то ясно, что сознание художника оказывается не при чем в процессе создания художественного произведения. Но тогда незачем тащить его и в литературоведение. Переверзев верен «духу» своей философии, когда он упрямо отрицает всякое значение личности художника. «В основании художественного произведения,—твердит он,—лежит не идея, а бытие, стало быть, литературоведческое исследование и должно обнаружить не идею, а бытие, лежащее в основании поэтического явления».

Замыслами поэта ничего не об'ясняется,—пишете вы. Это уж знакомое нам утверждение, что чувства, идеи, миросозерцание поэта не имеют никакого влияния на характер художественного произведения. Я уже об'яснял вам, что вне всего этого не существует суб'екта. Но в этом пункте наиболее очевидна фальсификация, которую вы допускаете в марксизме. Сами замыслы поэта, его сознание обусловлено об'ектом, оно создается развивающейся действительностью. Но оно не устраняется, не приравнивается к нулю. В зависимости от характера сознания сам об'ект представляется различным, при чем это не мешает тому, что все различные сознания обусловливаются об'ектом. Все дело в том, что об'ект изменяется и ставит различных суб'ектов в различные к себе отношения, оставляя в них неодинаковые впечатления, мысли. Ясно, что и воспроизведение об'екта будет различно.

«Литература — надстроечная система, которую мы определили, как систему образов», — повторяет Переверзев свое излюбленное определение. Образы представляют собою социальные характеры со всеми их атрибутами. Образы ничего, кроме самих себя, не выражают. И в их системе настроения, идеи художника не властны ничего изменить. Все это остается в стороне от художественного творчества. Раз так, то самую личность автора можно совершенно устранить из литературоведения, незачем ее привлекать, раз она ничего не изменяет, ничему не служит причиной, и, следовательно, апел-

ляция к ней ничего не об'ясняет. Переверзев и приходит к выводу о необходимости устранения личности из критического анализа: «Если система образов оказывается детерминированной социально-экономически, если она подчиняется в своем развитии социально-экономической закономерности, то из об'ектов исследования литературоведа, из поля его зрения и поля его внимания выпадает совершенно авторская личность» («Родн. яз. в школе», стр. 87).

Иначе рассуждал о роли суб'екта Плеханов: «Что касается собственно «личности философа» и вообще всякого деятеля, оставляющего свой след в истории человечества, то весьма ошибаются те, которые воображают, будто теория Маркса - Энгельса не оставила для нее места. Место для нее она оставила, но она сумела в то же время избежать непозволительного противопоставления деятельности «личности» ходу событий, определяемому экономической необходимостью... Коренное положение исторического материализма гласит, как мы повторяли уже не раз, что история делается людьми» (Т. XVIII, стр. 228–229).

Марксизм заключается, оказывается, вовсе не в том, чтоб исключить личность и ее деятельность. Тогда можно, по выражению Фейербаха, провозгласить природу бумажным фабрикантом, хотя в последнем счете производство бумаги, несомненно, восходит до растительного мира. Человек является составной частью природы; однако нельзя отождествлять законы природы с законами человеческого общества. По мнению таких «материалистов», «десять заповедей написаны той же самой рукой, которая посылает громовые стрелы», как образно выражается тот же Фейербах.

А Переверзев именно это утверждает, когда он говорит, что быть, помимо личности автора, помимо суб'екта, определяет непосредственно материал и структуру художественных произведений. По его суждению, «Мертвые души» написаны той же самой рукой, которой созданы сами социальные характеры Собакевичей и Маниловых, т.-е. непосредственно производительными силами.

«Совсем иначе представляется дело новейшим материалистам, — возражает Переверзеву Плеханов, по мере того, как развиваются производительные силы общества, изменяются и существующие внутри его отношения между людьми. Однако новые общественные отношения не сразу и не сами собой возникают на основе новых производительных сил. Это приспособление должно явиться делом людей, результатом борьбы между охранителями и новаторами. Тут-то и открывается широкое поле для личной инициативы» (Т. X, стр. 299).

Для личной инициативы художника также открывается широкое поле. Личность художника сводится у Переверзева к роли простого орудия отражения действительности. Ее понятия, настроения, симпатии и антипатии, стремления, желания, словом все, что делает ее существование реальным, все это, по словам Переверзева, никак не влияет на характер художественного творчества. И в этом смысле художник творит, скрестив руки на груди. Такая личность, действительно, не нужна в литературоведении и ее непременно нужно убрать с дороги литературоведа, как помеху.

Все об'яснять свойствами личности — это идеализм. Но стремиться все об'яснить свойствами самого об'екта, сводя к нулю роль суб'екта, это — вульгарный материализм. Плеханов равно далек от того и от другого. Он старается об'яснить Переверзеву: «Если некоторые суб'ективисты, стремясь отвести «личности» как можно более широкую роль в истории, отказывались признать историческое движение человечества законосообразным процессом, то некоторые из их новейших противников, стремясь как можно лучше

оттенить законосообразный характер этого движения, повидимому, готовы были забыть, что история делается людьми и что поэтому деятельность личностей не может не иметь в ней значения. Они признали личность за quantité negligeable. Теоретически такая крайность столь же не позволительна, как и та, к которой пришли наиболее рьяные суб'ективисты. Жертвовать тезой антитезе так же неосновательно, как и забывать об антитезе ради тезы. Правильная точка зрения будет найдена только тогда, когда мы сумеем об'единить в синтезе заключающиеся в них моменты истины» (Т. VIII, стр. 282).

Переверзев не может не знать этой точки зрения Плеханова. Но его понимание искусства, как образов и только образов, должно было его непременно привести к этой непозволительной теоретической крайности, к ликвидации суб'екта, к устранению личности из художественного творчества и научного анализа литературного произведения. Но эта теоретическая крайность выбрасывает за борт ту долю истины, которая содержится в противоположном взгляде и именно тем самым дает ему право на существование.

«Столкновение этих двух взглядов,—продолжает об'яснять Плеханов,— приняло вид антиномии, первым членом которой являлись общие законы, а вторым — деятельность личностей. С точки зрения второго члена антиномии история представлялась простым сцеплением случайностей; с точки зрения первого члена казалось, что действием общих причин были обусловлены даже индивидуальные черты исторических событий. Но если индивидуальные черты событий обусловливаются влиянием общих причин и не зависят от личных свойств исторических деятелей, то выходит, что эти черты определяются общими причинами и не могут быть изменены, как бы ни изменялись эти деятели. Теория принимает, таким образом, фаталистический характер» (Т. VIII, стр. 303).

Переверзев как раз и доказывает, что, как бы ни изменялись свойства личности автора, от этого не наступает никаких изменений в результате ее деятельности — в художественном произведении. Обвинение в фатализме, которое Плеханов бросает такой точке зрения, есть обвинение, целиком относящееся к Переверзеву. Переверзев растворяет суб'ект в об'екте, устраняет личность и тем самым придает своей теории фаталистический характер.

Плеханов думал, что фатализм всегда имеет место там, где допускается такого рода растворение. «Фатализм, — пишет он, — явился бы здесь, как результат исчезновения индивидуального в общем. Говорят: «если все общественные явления необходимы, то наша деятельность не может иметь никакого значения» (Там же, стр. 303).

Именно так думает Переверзев и только при этом условии позволительно сбрасывать личность со счетов. Но Плеханов добавляет: «Такой вывод правилен, только им неправильно пользуются. Он не имеет никакого смысла в применении к современному материалистическому взгляду на историю, в котором есть место и для единичного» (Там же, стр. 304).

В концепции Переверзева совершенно не оставлено места для «единичного», но тем самым она ставит себя вне пределов «современного материалистического взгляда на историю».

Советую Переверзеву справиться у такого «идеалиста», каким был Энгельс, как он понимал историю: «История развития в человеческом обществе существенно отличается от истории развития в природе. Именно: в природе (поскольку мы оставляем в стороне обратное влияние на нее человека) действуют одна на другую лишь слепые, бессознательные силы, и общие законы проявляются лишь путем взаимодействия таких сил. Здесь нигде нет сознанной, желанной цели: ни в бесчисленных кажущихся случайностях, ... ни в окончательных результатах... Наоборот, в истории обще-

ства действуют люди, одаренные сознанием, движимые убеждением или страстью, ставящие себе определенные цели. Здесь ничто не делается без сознанного намерения, без желанной цели» («Людвиг Фейербах»).

Видите: тот же самый взгляд, что и у Плеханова. Ход истории определяется общими законами, на фоне и в пределах которых действуют люди с их сознанием, целями, убеждениями, стремлениями. Все эти «идеальные силы», будучи продуктом общих законов, в свою очередь, являются необходимыми звеньями общей цепи событий. Исследование этих «идеальных сил» не только не стоит за пределами научного анализа, но, наоборот, является важнейшим для него делом. Но ни с Энгельсом, ни с Плехановым Переверзев не согласен. «Замыслами художника ничего не об'ясняется в поэтическом факте», — твердит он.

Но пусть все же он еще раз прислушается к тому, что думает об этом Энгельс.

Марксист, стало быть, не отбрасывает замыслов, желаний, страстей, убеждений (в применении к искусству, речь идет о художнике), как нечто ненужное и мешающее исследованию. Он признает их значение в истории. Но марксист идет дальше: он стремится об'яснить все эти элементы человеческой психологии влиянием более глубоких причин.

Энгельс считает, что старый, до-марксовский материализм неудачно об'яснял исторические явления именно потому, что он не сумел найти этих конечных причин. «Не в том состояла его непоследовательность, — пишет Энгельс, — что он признавал существование идеальных побудительных сил, а в том, что он остановился на них, не стремясь проникнуть дальше, дойти до причин, создавших эти силы» (Там же).

Но в свою очередь последовательность марксизма заключается вовсе не в том, что он будто бы отрицает идеальные силы, а в том, что, признавая их роль в истории, марксизм ищет и находит более глубокие причины исторических явлений в развитии производительных сил, причины, действием которых создаются сами идеальные силы. Плеханов на примере самого Энгельса растолковывает истинную связь об'екта с суб'ектом, значение роли личности в историческом процессе. «Люди неразвитые, — говорит он, — могут спросить нас: если все дело в свойствах действительности, то при чем же тут Энгельс, чего он вмешивается в неотвратимый исторический процесс с своими идеалами? Разве без него не обойдется дело? С об'ективной стороны положение Энгельса представляется так: в процессе перехода из одной своей формы в другую действительность захватила его, как одно из необходимых орудий предстоящего переворота. С суб'ективной стороны выходит, что Энгельсу приятно это участие в историческом движении, что он считает его своим долгом и великой задачей своей жизни. Законы общественного развития так же мало могут осуществляться без посредства людей, как законы природы без посредства материи» (Т. VIII, стр. 398).

По Плеханову выходит, что точка зрения, сводящая влияние личности на ход исторического процесса к quantité negligeable, есть точка зрения неразвитых людей. А именно ее придерживается Переверзев. Исключение личности из об'екта литературоведения ничего другого не означает, как полагать, что художественное творчество может совершаться без посредства людей, в данном случае художника. А раз роль людей признается, то она состоит в их деятельности под влиянием идеальных сил: целей, стремлений, убеждений, страстей, идей и т. д.

Плеханов прямо вопреки тому, что проповедует Переверзев, признает безоговорочно значение личности в истории: «Но я ведь и не отрицаю значения личности в истории вообще и в истории литературы в частности. Без

без личности не было бы и общества, а значит не было бы и истории» (Т. XIV, стр. 211).

Сравните с этим категорическим утверждением положение Переверзева о том, что «из об'екта исследования литературоведа, из поля его зрения и поля его внимания выпадает совершенно авторская личность», — и вы получите меру расхождения Переверзева с Плехановым в этом вопросе, вы уразумеете, как своеобразно и бесцеремонно наш ученый литературовед истолковывает термин: полное согласие.

Из плехановского определения искусства вытекает его социальная роль: искусство служит средством общения людей, средством передачи в образной форме человеческих желаний, настроений, мыслей. Именно в этом смысле оно представляет собою общественное явление. Плеханов пишет: «Само собой разумеется, что в огромнейшем большинстве случаев он (художник, придающий образное выражение своим мыслям и чувствам. *С. Щ.*) делает это с целью передать передуманное и перечувствованное им другим людям. Искусство есть общественное явление» (Т. XIV, стр. 2).

Если принять определение искусства Переверзева, то надо признать, что оно не может служить средством общения людей, не может выполнять этой своей функции. Если чувства и мысли художника не заложены в его произведениях, не относятся к области художественного творчества, то что же, собственно, может передать он другим людям чрез посредство создаваемых им образов? Переверзев так и отвечает: ничего художник не передает другим людям. Он только воспроизводит социальные характеры, дает их образы. Сообщить ни врагам, ни друзьям по классу художник ничего не может. Он целиком связан по рукам и по ногам точным воспроизведением действительности, как она есть. А если уж ему непременно хочется передать что-то своим ближним, тогда он покидает на время надзвездные сферы искусства и обращается к публицистике.

«Литература есть игра в жизнь, а социальный смысл этой игры, — подготовка, воспитание для жизненной борьбы» («Литература и Марксизм», стр. 5). Только игра в жизнь и только подготовка к ней. Если художник испытывает потребность принять участие в самой жизненной борьбе, тогда он от игры, от художественного творчества обращается к публицистике. Но с помощью самого искусства он этого сделать не может. Оставаясь художником, он не может выйти за пределы игры, предварительного упражнения, подготовки к жизни.

Но Плеханов учит нас, что мысли и чувства передаются не только при посредстве публицистики, но также в образах, при посредстве искусства. Следовательно, художник может, и не прибегая к публицистике, принять участие в жизненной борьбе, в борьбе классов. Сущность художественного творчества именно в том и заключается, что оно выражает мысли не в силлогизмах, как публицистика, а в живых конкретных образах. Художник может за всю свою деятельность ни разу не прибегнуть к публицистическому выражению своих мыслей и чувств. Достоинство его художественных произведений от этого не только не пострадает, но, наоборот, возрастет. И все же пред ним не только не закрывается арена общественной борьбы, он не только не обрекает себя на суррогат жизненной борьбы — игру, но, наоборот, он не может сохранить этой своей замкнутости, он неизбежно вынуждается принимать участие в самой разыгрывающейся борьбе именно потому, что его образы не просто образы, но специфическая, свойственная только искусству форма выражения мыслей и чувств.

Переверзев усиливается создать из художественного творчества запретную область и делает это ценой отказа от того понимания его сущности, которое дано Плехановым вслед за Чернышевским, Белинским, Гегелем.

Функция искусства, как средства общения между людьми, вытекает про из того понимания его сущности, которое мы имеем у Плеханова. Он пише «Искусство есть одно из средств духовного общения между людьми. И чем выше чувство, выражаемое данным художественным произведением, тем с большим удобством может, при прочих равных условиях, это произведение сыграть свою роль указанного средства. Почему скряге нельзя петь о потерянных деньгах? Очень просто: потому, что если бы он запел о своей утрате, то его песня никого не тронула бы, т.-е. не могла бы служить средством общения между ним и другими людьми» (Т. XIV, стр. 138).

Переверзеву все эти соображения должны представляться праздной болтовней, не имеющей никакого отношения к искусству. Раз ни мысли ни чувств своих художник не выражает, то, следовательно, он ничего не сообщает другим людям посредством своих образов. Нет, не согласен, решительно не согласен Переверзев с Плехановым.

М. Планк и его борьба с физическим идеализмом.

А. Максимов.

В печатаемых ниже речах Планка и Шредингера, как в капле воды, отражается все современное состояние естествознания. Здесь мы видим и тот кризис, в который попадает современное естествознание в результате ломки всех прежних понятий, и тот противоречивый путь (с одной стороны, скатывание к идеализму, с другой, попытка защищать материалистическую позицию, исходя из примитивных, по существу метафизических посылок), которые так характерны для развития современного естествознания. Планк выступает перед нами в данном случае на стороне материализма, а Шредингер на стороне идеализма.

Планк является одним из весьма немногих естествоиспытателей нашего времени, которые сознательно защищают материалистическую позицию в естествознании. Он уже многие годы борется с «физическим идеализмом», по преимуществу с «махизмом» (учение Маха, энергетика Оствальда и т. д.).

К началу двадцатого столетия махизм во всех своих разновидностях завоевал несомненное большинство среди естествоиспытателей. Это соответствовало тому сдвигу к реакции, который характеризует настроения буржуазной интеллигенции и который произошел в последние десятилетия. Планк сам должен был в одной из позднейших своих речей констатировать этот факт в виде распространения веры в чудеса, в виде оккультизма, спиритизма, теософизма и т. д. [1]).

Поэтому заслуга Планка в его выступлении против идеализма чрезвычайно велика. Нужно было иметь мужество, чтобы пойти против течения и против одного из крупнейших вождей этого течения — Э. Маха.

Планк открыто пошел против махизма, и одному из его выступлений теперь как раз исполнилась двадцатилетняя давность. В 1909 году он прочел в Лейденском университете лекцию, направленную персонально против Маха [2]). В этой лекции он не только защищал основное положение материализма о независимом от нашего сознания существовании реального мира действительности, но и об'ективность закона сохранения энергии, атомистической гипотезы и т. д. Одновременно с этим он выступил и против маховского принципа «экономии мышления».

Это выступление Планка для нас интересно также и потому, что оно вызвало бурю бешенства со стороны самого Э. Маха, который не преминул тогда же (1910 г.) ответить Планку в статье: «Руководящие мысли моей

[1]) См. его речь: «Kausalgesetz und Willensfreiheit». 1923 г., стр. 44.

[2]) «Единство физической картины мира». См. его сборник: «Физические очерки», Гиз, 1925 г.

естественно-научной теории познания и прием ее современниками. В этом ответе Мах буквально вышел из себя и истерически верещал по поводу утверждения Планком реальности атомов: «... Физики находятся на прямом пути, чтобы сделаться церковью, и усваивают уже обычнейшие предрассудки таковой. На это я отвечаю теперь просто: Если для вас вера в реальность атомов столь существенна, то я отказываюсь от физического образа мышления, я не хочу быть настоящим физиком, я отрекаюсь от всякого естественно-научного признания, коротко, я премного благодарен за общение с верующими. Ибо для меня свобода мышления дороже» [2]).

Заслуга Планка перед материализмом однако далеко не ограничивается только защитой его. Одновременно с защитой материализма им дается ценного для дальнейшего развития материализма, для преодоления прежних форм материализма XVII, XVIII и XIX вв. Это происходит у Планка двояким путем: путем сознательной критики старых представлений и стихийным путем — путем соучастия в исследовательской работе современных естествоиспытателей.

В отношении критики старых представлений наиболее ценным у Планка является подчеркивание неизбежности крушения старых теорий под влиянием открытия новых фактов, постоянная необходимость перестройки теорий. «Повод к пересмотру или изменению какой-нибудь физической теории, пишет он [3]), почти всегда вызывается установлением одного или нескольких фактов, которые не укладываются в рамки прежней теории». Но «один факт еще не дает теории» [4]). Поэтому начинается новая теоретическая работа: «старые, прочно укоренившиеся взгляды подвергаются сомнению, общепринятые законы опровергаются, а на их место вводятся новые гипотезы» [5]).

В своей речи «Новые пути физического познания», произнесенной в 1913 году, Планк иллюстрирует приведенное общее положение на крушении трех метафизических понятий: неизменности химических атомов, взаимозависимости времени и пространства и непрерывности всех динамических явлений. В речи «Новейшая физика и механистическое мировоззрение» критика метафизики распространяется и на категорию массы.

В тех случаях, где Планк не ставит вопрос о метафизичности тех или иных категорий с той определенностью, которую мы имеем в приведенных выше примерах, он к критике метафизики в физике приводит читателя путем рассмотрения исторического развития различных физических категорий. В этом отношении мы находим у него чрезвычайно много ценного, прежде всего в отношении истории закона сохранения энергии, истории теории квант [6]) и в отношении ряда других физических теорий и отдельных понятий.

Весьма ценным свойством всех этих исследований Планка является то, что он, критикуя метафизику, в отличие от махистов не скатывается в философский релятивизм. Относительность физических категорий, временности естественно-научных теорий по Планку отнюдь не говорят за то, что «абсолютное, как принимают некоторые из теоретиков учений о познании, можно найти только в собственном переживании» [7]). Наоборот, это «абсолютное» есть вне нас, лежащая и независимая от нас реальная действительность.

[1]) E. Mach, Die Leitgedanken meiner naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und ihre Aufnahme durch die Zeitgenossen, Leipzig, Barth, 1919.

[2]) В указанном выше издании, стр. 11—12.

[3]) «Физич. очерки», стр. 56.

[4]) Там же.

[5]) Там же, стр. 55.

[6]) См. его речь «Возникновение и развитие теории квант» в «Физических очерках», а также работу: «Das Prinzip der Erhaltung der Energie» в серии «Wissenschaft und Hypothese».

[7]) M. Planck, Vom Relativen zum Absoluten», 1925, L 22. Есть русск. перевод.

История развития физики и естествознания вообще приводит Планка к оценке естественнонаучных воззрений в их целом, в виде мировоззрений. Здесь опять-таки им делается положительный вклад в науку. Для нас особенно интересно отметить его критику механистических воззрений прежних эпох.

Планк многократно подчеркивает и разбирает причины кризиса механистического воззрения в физике. Этот кризис претерпел два этапа соответственно двум исторически известным в новое время формам механистического материализма. Более ранняя форма механистического мировоззрения — это форма Галилея—Декарта—Ньютона. Это мировоззрение опиралось на механику Декарта—Ньютона, нашедшую завершение в лице Эйлера и Лагранжа.

Второго этапа механистическое мировоззрение достигло в XIX веке, при чем опорными столбами этого мировоззрения в XIX веке были закон сохранения энергии и естественно-научная атомистика.

По отношению к обоим этим этапам механистического мировоззрения Планком указываются причины, приведшие к кризису этого мировоззрения. Он пытается решить вопрос, «стоим ли мы действительно на пороге нового мировоззрения» [1]) или нет выхода из создавшихся противоречий?

Решение этой проблемы дается развитием самого естествознания. Если нового мировоззрения нет, как сознательного мировоззрения, то элементы такового стихийно накопляются в современном естествознании путем новых открытий, созданием новых теорий. Планку также не удалось, как это не удается всем современным буржуазным естествоиспытателям, сколько-нибудь отчетливо уловить общие черты нового мировоззрения. Зато ему принадлежит большая заслуга в подготовке создания этого мировоззрения своими научными работами.

Планку принадлежит одно из величайших открытий в физике XX столетия — открытие квант, празднующее теперь свое тридцатилетие. Теория квант была первой физической теорией XX века, которая привела естествоиспытателей к признанию односторонности, недостаточности абстрактных категорий. Старая гюйгенсова волновая оптика и оптика на основе электромагнитной теории световых явлений одинаково исходили из категории непрерывности в области оптических явлений. Диссонансом в этом применении односторонней категории непрерывности было открытие Планком квант, т.-е. момента прерывности световых явлений.

Самым непонятным для естествоиспытателей, заскорузших на формальной логике, было то, что и оптика на основе непрерывности и квантовая оптика на основе категории прерывности, оказались практически необходимыми и существовали рядом друг с другом, не уничтожая одна другую. Это внешнее, казалось, сосуществование двух различных принципиальных подходов в трактовке одних и тех же явлений неожиданно для современных естествоиспытателей разрешилось в органическом слиянии этих теорий в одну, которая таким образом уже принципиально обосновывала необходимость единства категорий непрерывности и прерывности. Такой теорией явилась теория волновой механики.

Важнейшим общим результатом волновой механики явилось доказательство того, что не только оптические явления являются единством прерывности и непрерывности, но и явления движения корпускул-электронов, атомов и т. д. — также должны рассматриваться с этой двуединой точки зрения. Кроме того, в уравнениях волновой механики в скрытом виде мы имеем и единство конечного и бесконечного. Наконец, трактовка движения в волновой механике неизбежно приводит к признанию единства категорий качества и количества, целого и части, заменяя старое понимание движения,

[1]) «Физические очерки», стр. 53.

как простого перемещения более конкретным, включающем в себя изменение вообще.

Значение теории волновой механики может быть понято, если сравнить то, что по вопросу о единстве противоположных категорий в естествознании говорили Кант и Гегель. Как ни глубоки были соображения этих мыслителей по указанному вопросу, однако, для убеждения эмпирически настроенных естествоиспытателей недоставало строго обоснованных естественно-научных теорий, где бы единство противоположных категорий могло бы быть ощупано даже закоренелыми эмпириками и формалистами. Необходимость диалектической логики и ее торжество демонстрируется теперь с принудительностью в таких теориях, как теория волновой механики. Если к сказанному добавить, что теория относительности также принудительно доказывает единство категорий пространства и времени, относительного и абсолютного, что развитие термодинамики и статистической механики доказывает единство категорий случайности и необходимости и т. д. и т. п., то мы должны будем сказать, что диалектическая логика стихийно в виде отдельных элементов уже дана современным развитием естествознания. Недостает лишь осознания этого факта, недостает того обобщающего мировоззрения, о котором говорил и которое искал Планк [1]).

В этом процессе вызревания естествознания до диалектического естествознания Планк играет на ряду с другими крупнейшими естествоиспытателями (Лоренцом, Эйнштейном и т. д.) определенную роль. Современные физические теории, если их освободить от метафизической и идеалистической шелухи, по существу диалектичны. Однако этого, главнейшего момента в развитии современной физики Планк не только не видит, но сам его затемняет своей непоследовательностью, своими уступками старым воззрениям. Он, борясь против идеализма, метафизики, механистических воззрений на одних участках естественно-научного идеологического фронта, на других участках, сам вступает с ними в союз.

Действительно, если проследить взгляды Планка по всем вопросам, где, как мы это отметили выше, ему принадлежит положительная заслуга, то по всем этим же вопросам им делаются и отступления от последовательной материалистической точки зрения.

Первое и важнейшее отступление от последовательного материализма, которое делает Планк, заключается, как это ни странно, в утверждении агностицизма. Несмотря на то, что он неоднократно заявляет, что существует независимый от нас мир действительности, что законы физики имеют об'ективное значение, когда он переходит к определению своей основной гносеологической позиции, он не только избегает термина материализм, но и по существу делает уступки идеализму. В конце речи «Единство физической картины мира» Планк ставит вопрос: «есть ли заметная разница между их «миром» (их, т.-е. ученых, защищавших материалистическую позицию *А. М.*) и нашей «картиной мира будущего»? И отвечает: «Разумеется, нет: ведь еще со времен Канта стало общепризнанным, что не существует метода, при помощи которого можно было бы установить такое различие. Сложное выражение — «картина мира» стали употреблять только из осторожности, чтобы с самого начала исключить возможность иллюзий. Но мы можем снова заменить его простым словом «мир», если заранее решим быть осторожными и понимать под этим словом только идеальное миросозерцание будущего» [2]).

[1]) «Физические очерки», стр. 35.
[2]) Там же, стр. 32.

«Осторожность», о которой здесь дважды говорит Планк, не что в сущности иное, как боязнь открыто выступить за материализм, как уступка господствующей буржуазной идеологии. Фактически на всем протяжении своей деятельности, защищая материализм, Планк не решается принять иной формы материализма, кроме формы агностицизма, т.-е. стыдливого, трусливого материализма.

Приведенный пример агностического высказывания Планка отнюдь не единственный. Такие высказывания мы находим у него вплоть до последнего времени. В одной из своих последних речей «Картина мира новой физики» он снова повторяет, что мир «принципиально непознаваем», что исчерпывающее познание «реального мира останется в действительности принципиально недостижимым» [1]).

Такая агностическая позиция Планка в общей проблеме отношения мышления и бытия тотчас же сказывается у него и по вопросу о том, в чем же видеть об'ективность нашего знания. Если мир непознаваем, то что заставляет всех сходиться на признании тех или иных теорий правильными, что является по Планку критерием истины?

«Реальность» мышления Планк находит в нахождении такой картины мира, которая содержала бы в себе «некоторые черты, которых больше не изгладит никакая революция ни в природе, ни в мире человеческой мысли» [2]). Таким образом задачу науки Планк видит в «стремлении найти постоянную, независящую от смены времен и народов картину мира» [3]).

В соответствии с этими утверждениями и путь познания Планк понимает, как путь от чувственного познания к познанию все более и более абстрактному. Идеал такого познания один единый закон, охватывающий все явления физического мира. «Структура физической картины мира,— пишет он [4]), — при ее идущем вперед усовершенствовании удаляется в возрастающей степени от мира чувств и принимает все более абстрактные формы». Главная цель всякой науки,—пишет он в другом месте [5]),—состоит в слиянии всех возросших в ней теорий в одну единственную, в которой все научные проблемы занимали бы определенное место и получали бы однозначное решение».

Видя положительное явление в возрастающей абстрактности физического мировоззрения, Планк остается только последовательным, когда положительное видит и в «сведении всех качественных различий на различия количественные» [6]).

Абстрактная точка зрения сказывается у Планка в метафизической трактовке некоторых из категорий, играющих большую роль в физике: категории причинности, случайности и необходимости и некоторых других.

Планк исключает из естественно-научного мировоззрения понятие случайности, приравнивая его к чуду: «Случай в абсолютном смысле,— пишет он [7]),—или, что сводится к тому же самому, чудо физиологии знает так же мало, как и физика»... Случайность, как форма необходимости, Планку неизвестна. Поэтому он скатывается к признанию лишь абстрактной необходимости... «Принятие не имеющей исключений причинности, абсолютного де-

[1]) M. Planck, Das Weltbild der neuen Physik, 1929, Barth, стр. 45, 52.
[2]) «Физические очерки», стр. 31.
[3]) Там же.
[4]) «Das Weltbild der neuen Physik», стр. 50.
[5]) «Физические очерки», стр. 98 и 83.
[6]) «Das Weltbild der neuen Physik», стр. 17 и 15.
[7]) M. Planck, Kausalgesetz und Willensfreiheit, стр. 34.

терминизма образует предпосылку и предварительное условие научного познания» [1],— пишет он далее.

Однако случайность играет большую роль в физике и вообще естествознании, идет ли при этом речь о статистических методах исследования, или об определении случайных отклонений от некоторой нормы и т. д. Перед Планком встает вопрос о том, что же из себя представляет эта случайность, с которой естествоиспытатели имеют дело в столь многих областях природных явлений. Противопоставляя метафизическую необходимость случайности, Планк рассматривает закономерности, основанные на методе статистики, как закономерности временные, несовершенные, подлежащие замене закономерностями, основанными на «абсолютном детерминизме». «Если бы мы были в состоянии,— пишет он,— проследить движение каждой отдельной молекулы, то мы бы в нем нашли подтверждение точного значения динамических законов». Страницей далее отклонения от эмпирически найденных статистических закономерностей Планк об'ясняет «недостатком наших знаний об условиях, которые лежат в основе применения правила» [2]...

Раз статистические закономерности основаны лишь на недостаточном знании всех обстоятельств исследуемых явлений, то, естественно, перед наукой стоит задача в дальнейшем эти закономерности свести к закономерностям, покоящимся на метафизической необходимости, к закономерностям динамическим. «В то время, как динамический закон,— пишет Планк в речи «Динамическая и статистическая закономерность»,— вполне удовлетворяет потребности причинного об'яснения и имеет простой характер, всякий статистический закон представляет собой нечто сложное, на чем исследование не может остановиться, так как всегда еще остается проблема сведения его к простым динамическим элементам» [3]).

Элементы такого же абстрактно-метафизического подхода мы находим у Планка и при трактовке ряда физических проблем: взаимоотношения первого и второго законов термодинамики, обратимых и необратимых процессов и т. д.

То же явление мы наблюдаем у Планка и при его трактовке общественных явлений. Абстрактное, метафизическое, механистическое понимание причинности приводит его к тому, что он, признавая материализм «внизу», т.-е. в области природных явлений, «вверху», т.-е. в области душевных явлений и в области общественных, открывает двери идеализму в виде религии. При этом он совершенно не в состоянии, именно благодаря своей механистической метафизической позиции, решить проблему свободы воли [4]).

Подводя итоги, мы можем констатировать, что у Планка еще нет того «нового мировоззрения», к которому стихийно толкает развитие современного естествознания естествоиспытателей. Диалектичное по существу современное естествознание заставляет этих естествоиспытателей порой говорить диалектическим языком. Но это у них происходит лишь спорадически, в целом же они еще крепко сидят в оковах классовой, буржуазной идеологии. И в этом величайшее противоречие современного естествознания. Естествознание в его стихийном росте переросло рамки мышления буржуазных ученых.

Благодаря этому создается своеобразное взаимоотношение между идеализмом и материализмом и естествознанием. Естествознание в бурном своем росте выдвигает все новые и новые проблемы, приводит к кризису

[1]) Там же, стр. 40; то же—«Физич. очерки», стр. 81, 21, 69.
[2]) Kausalgesetz und Willensfreiheit, стр. 33—35.
[3]) «Физическ. очерки», стр. 79.
[4]) «Kausalgesetz und Willensfreiheit; то же—см. «Динамическая и статистическая закономерность» в «Физических очерках».

еще недавно признававшихся правильными теорий. Начиная с Маха нескончаемая плеяда писателей трудится над проблемами философского обоснования современного естествознания в целом и его частей (математики, физики, биологии). Однако им не удается правильно решить вопрос, и они скатываются в идеализм. Материализм в лице немногих буржуазных ученых (Планк, Ленар, Каммерер и др.) правильно критикует ошибочность основной идеалистической установки противного лагеря, но сам неспособен к иному решению проблем кроме того, которое уже дано было в классический период развития естествознания. Поэтому материализм в лице этих писателей нередко тянет естествознание назад, к уже пройденным этапам. Этот материализм силен лишь постольку, поскольку он занимает оборонительную позицию, поскольку защищает основную гносеологическую посылку материализма о независимом от нас существовании об'ективного мира. Но естествознание не может удовлетвориться старыми ответами на новые вопросы.

Если классическая физика удовлетворялась абстрактной трактовкой физических категорий, то теперь этого недостаточно. Всюду проявляется потребность в новом понимании основных проблем естествознания. Но этого понимания не дает ни идеализм, который вообще лишает науку какой бы то ни было почвы, ни современный непоследовательный материализм, который не в силах повести науку за собой, как он ее вел не один раз в некоторые периоды развития естествознания (в XVII, XVIII и XIX веках, не говоря уже о древности).

Это бессилие современной буржуазной теории в естествознании мы и видим в речах Шредингера и Планка.

В печатаемой ниже полемике между Планком и Шредингером последний защищает разновидность махистского идеализма в духе Пуанкаре и ради «удобства», ради разрешения тех противоречий, в которых развивается теория квантовой механики, готов отказаться от принципа причинности. Планк снова и снова здесь повторяет свои доводы против идеализма и совершенно правильно говорит, что науке не только нет основания отказываться от принципа причинности, но что этот отказ был бы отказом от науки. Однако то решение вопроса, которое предлагает он по случаю конкретного примера, выдвинутого Шредингером, несомненно никого удовлетворить не может. И здесь мы сталкиваемся с слабой стороной той формы материализма, которую представляет Планк.

Шредингер на конкретном примере ставит вопрос о значении абстрактной категории причинности, об абсолютной детерминированности внешними условиями поведения атома или молекулы. Так как он не понимает того, что он оперирует абстрактным, односторонним понятием причинности, и так как этого понятия для современной физики оказывается совершенно недостаточно, чтобы правильно понять явления, то Шредингер готов признать существование беспричинных явлений и закрепляет эту точку зрения махистской философией в лице учения Пуанкаре.

Шредингеру невдомек, что категория абстрактной необходимости может быть превращена в конкретное понятие причинности, если будет употреблена в единстве с категорией случайности, что категория внешнего («внешние условия», «внешнее воздействие» и т. д.) также недостаточна, если не выступает перед нами вместе с категорией внутреннего и т. д.

Но если это невдомек Шредингеру, то это невдомек и Планку. Он здесь снова в сущности повторяет то положение, которое он выдвинул еще в своей речи о «Динамической и статистической закономерности» [1]). Признавая

[1]) См. «Физические очерки», стр. 79.

ценность за статистическим методом в области физики, он противопоставил его динамическому и таким образом разорвал эти два метода, оперирующие один с категорией случайности, другой абстрактной необходимости. Он утверждал, что в конечном случае статистическая закономерность должна быть сведена к динамической. Таким образом он сводил и категорию случайности к категории суб'ективной, а причинность понимал как механическую, абстрактную причинность.

Этот ответ он дает и в приводимой ниже речи. Здесь он снова настаивает на исключительном значении категории «строгой причинности» сводя ее к абстрактной необходимости, т.-е. отвергает случайность. На прямо поставленный Шредингером вопрос: влечет ли определенное внешнее воздействие на атом совершенно определенное поведение такового, он не отвечает прямо, а старается его заменить вопросом о том, насколько внешние условия могут быть абсолютно точно воспроизведены экспериментально. Для всякого ясно, что такой ответ не ответ, а лишь отодвигание ответа другим вопросом.

Правильный материалистический ответ был бы дан лишь при том условии, если бы было указано, что одни внешние условия никогда не определяют поведения какого бы то ни было «образа» (молекула, атом, электрон, человек, общество и т. п.), что внешнее всегда проявляется через внутреннее, в свою очередь влияющее на внешнее и до некоторой степени от последнего независимое.

Но Планк такого ответа не дает и не в состоянии ничего предложить, кроме того, что дало уже старое механистическое естествознание [1]).

Так вскрывается снова перед нами то противоречие, которое существует в современном естествознании между накопленным и далее растущим фактическим материалом, и тем теоретическим одолением этого материала, которое превращает его в органически и последовательно развивающуюся науку. Мы видим наличие определенных «ножниц» между эмпирическим ростом естествознания и его теоретическим оформлением. Такое состояние приводит к непродуктивному, стихийному расходованию сил. Естествоиспытатели идут вперед слепо, и каждое новое открытие приводит их в замешательство, приводит к колебаниям, к сомнениям в прочности основ научного знания—материализма.

Единственный выход из такого положения для современного естествознания заключается в усвоении той формы материализма, которая является наивысшей формой такового — диалектического материализма. Только диалектический материализм способен разрешить все те противоречия, в которых бьется современное естествознание, окончательно победить антинаучную идеалистическую точку зрения и взять инициативу в свои руки. Только под руководством марксистской теории естествознание безболезненно и в кратчайший срок придет к тому еще невиданному расцвету, который его несомненно ждет и залогом которого является невиданный рост производительных сил в рамках общества, навсегда освобождающегося от классовых форм своего развития.

[1]) См. по вопросу о внешнем и внутреннем: его «Kausalgesetz und Willensfreiheit, I. 38.

О причинности [1]).

Речь Шредингера

Позвольте мне, прежде всего, насколько можно кратко, выполнить неприятный долг, который налагает вступительная речь, именно говорить о самом себе [2]).

Старый венский институт, из которого незадолго перед тем вырван был трагическим образом Людвиг Больтцманн, учреждение, в котором работали Фриц Газенорль и Франц Экснер и в который входили и из которого вышли много других из учеников Больтцманна, дал мне возможность непосредственно ознакомиться с идеями этого колоссального ума. Круг его идей играет для меня роль научной возлюбленной поры юности: никто другой не оказал больше такого влияния, и никто другой, пожалуй, не окажет когда-либо его.

К современной атомной теории я подошел лишь очень медленно. Ее внутренние противоречия звучали как кричащий диссонанс по сравнению с чистым, неумолимо ясным ходом мыслей Больтцмана. В течение некоторого времени я буквально ударился в бегство и спасался, побуждаемый Францем Экснером и К. В. Ф. Кольраушем, в области учения о цветах. Иные собственные и иные чужие попытки достигнуть в атомной теории снова ясности, хотя бы путем радикальных изменений, были испробованы и отброшены. Только мысль де-Брольи об электронных волнах, которую я развил в волновую механику, принесла некоторое облегчение. Но мы еще довольно далеки от действительного понимания проложенного, с одной стороны, волновой механикой, а с другой,—квантовой механикой Гайзенберга, способа уразумения природы.

Теоретическая физика ставит себе целью найти в эмпирическом многообразии явлений общие черты или закономерности так, что в пестром изобилии действительно пережитого каждый отдельный случай является следствием этих немногих простых закономерностей, в то время как вначале необозримое многообразие отдельных случаев сводится к вполне необозримому многообразию условий опыта. Типичный, дающий определенное направление для формирования нашей науки пример такого понимания происходящего при посредстве законов дает классическая механика, которая выражает поведение некоторого образа при всех мыслимых обстоятельствах в немногих основных уравнениях и сводит специфическое поведение при особом случае к особым начальным условиям, говоря математически, к особым численным значениям постоянной интегрирования.

В течение долгого времени пытались распространить на всю физику не только метод классической механики, но и ее самую, именно, ради ее

[1]) Речи Шредингера и М. Планка, произнесенные на заседании Прусской Академии наук 4 июля 1929 г.

[2]) Эта речь Шредингером была произнесена по случаю его избрания в члены Прусской Академии наук. Ред.

простоты и математической ясности; пытались понять все явления при посредстве механических моделей. Это оставлено уже давно и теперь тем более, что новая фаза теории квант снижает классическую механику на положение первого приближения. Один из самых жгучих вопросов, который занимает нас теперь в этой связи, есть вопрос, нужно ли вместе с классической механикой отказаться также и от ее метода, от основного положения, что постоянные законы в соединении с случайными начальными условиями однозначно определяют происходящее в отдельном случае. Это вопрос о целесообразности ненарушимого постулата причинности.

В действительности практически должны были уже в рамках классически-механистического об'яснения природы отказываться от причинности. У меня лично этот факт связан с одним глубоким впечатлением юности при вступительной лекции Фрица Газенорля, вырванного у нас преждевременно войной, которому я благодарен за основу моей научной личности. Не было бы нарушения законов природы, так пояснял нам Газенорль, если бы этот кусок дерева поднялся внезапно без видимой причины в воздух. Согласно механистическому об'яснению природы такое чудо, как обращение противоположных процессов, не невозможно,—оно только чрезвычайно мало вероятно.

Но понимание законов природы с точки зрения вероятности, имевшееся Газенорлем при этих словах в виду, действительно еще не нарушает постулата причинности. Неопределенность при этом проистекает только из практической невозможности определить начальное состояние из биллионов атомов составленного тела. Напротив того, сегодня сомнение в однозначной определенности явлений природы высказывается совсем в ином смысле. Трудность при определении начального состояния оказывается не только практической, но и принципиальной, она имеется налицо не только для более сложного образа, но уже для отдельного атома или молекулы. Так как для естествоиспытателя не существует ничего не могущего быть принципиально не наблюдаемым, то смысл этого мнения таков: уже состояние элементарного образа не является строго определенным настолько, чтобы совершенно определенное воздействие влекло за собой совершенно определенное поведение образа.

Франц Экснер (которому я лично обязан за чрезвычайно большое содействие) был первый, кто раз'яснил в лекциях, которые он опубликовал в 1919 году, возможность и преимущества акаузального понимания природы. С 1926 года этот вопрос снова поднялся под новым углом зрения в квантовой механике. Этот вопрос в действительности оказывается чрезвычайной важности. Но я не думаю, что на него когда-либо будет отвечено в этой форме. По моему мнению, в этом вопросе речь идет не о решении о действительном строении природы, как она выступает перед нами, но о целесообразности или удобстве той или иной установки нашего мышления, с какой мы подходим к природе. Анри Пуанкаре раз'яснил, что мы можем по отношению к действительному пространству применять как эвклидову, так и любую неэвклидову геометрию, не боясь того, что мы будем опровергнуты со стороны фактов. Физические же законы, которые мы находим, суть функции применяемой нами геометрии, и может быть, что одна геометрия ведет за собой запутанные, другая же значительно более простые физические законы. Тогда одна геометрия является удобной, другая же неудобной, без того, чтобы имели место слова «правильный» или «ложный». Аналогичным образом можно трактовать и постулат ненарушимой причинности. Едва ли мыслимы такие опытные факты, которые бы окончательно решили, является ли происходящее в природе в действительности абсолютно детерминированным или частью неопределенным, самое же большее лишь

то, дает ли одно или другое понимание более простой взгляд на наблюдаемое. Но для того, чтобы достигнуть этого последнего решения, нужен большой срок. Разве мы не стали тем менее уверены и в отношении геометрии мира с тех пор, как мы вместе с Пуанкаре убедились в свободе нашего выбора?

Ответ М. Планка

Задача ответить вам, господин коллега Шредингер, на ваши обращенные к Академии слова, имеет для меня многостороннюю привлекательность прежде всего уже потому, что я принадлежу к тем из ваших товарищей по специальности, которые могут самым непосредственным образом судить, какое обогащение испытал состав Академии благодаря вовлечению ваших молодых сил. Но, затем, как раз достойное благодарности самообладание, которое вы обнаружили, чтобы дать нам возможность бросить несколько более глубокий взор на ваш научный мир мыслей, побуждает нас к обмену мнениями относительно некоторых из возбужденных вами вопросов. При этом вы снова показали нам ту самую независимость суждения и ту самую свежую смелость, которая вам уже рано позволила итти самостоятельным путем и которую мы знаем по вашим до сих пор известным работам из самых различных областей физики, включаете ли вы при этом в круг ваших интересов динамику эластически связанной системы точек, или теорию броуновского движения, или капиллярное давление в газовых пузырях, или акустику атмосферы, или возможность точной метрики цветов, или способность к интерференции сильно расходящихся лучей, или законы газового вырождения, или основы квантовой механики.

Теперь именно высказанная вами, тяжелая по вытекающим последствиям мысль, не поведет ли современный кризис теоретической физики может быть также и к тому, чтобы вместе с классической теорией лишить строгой значимости и закон причинности, вызывает на ближайшее рассмотрение. И так как вы относитесь к упомянутой мысли не только не отрицательно, но скорее, как мне кажется, с некоторым благосклонным нейтралитетом, то я не могу не устоять пред обольщением здесь с своей стороны в немногих словах не вступиться за строго каузальную физику, пренебрегая даже опасностью того, что я могу вам показаться ограниченным реакционером. К этому побуждает меня тем более, что мы здесь ведь имеем дело с обстоятельством, которое касается не одной только физики и которое, если оно не будет исчерпывающе разрешено физикой, могло бы, пожалуй, оказать прямо роковое действие за пределами таковой.

Вопрос, обладают ли закономерности, на которые мы натыкаемся в природе, в сущности вообще лишь характером случайности, следовательно, суть лишь статистического характера, может быть формулирован также следующим образом: должны ли мы искать об'яснения для действительно всюду проявляющейся неопределенности и неточности, каковые присущи каждому отдельному физическому наблюдению, всегда только в специфических особенностях имеющегося налицо случая, будет ли это заключаться в сложном строении рассматриваемого физического об'екта, или в несовершенстве применяемых измерительных приборов, включая сюда и наши органы чувств, или мы должны неопределенность отодвинуть далее вглубь в понимание элементарных основных законов физики?

Прежде всего, я вполне соглашаюсь с вами, что этот вопрос в сущности есть вопрос о целесообразности. Ибо каждая отдельная физическая теория есть леса, которые возводит мысль исследователя по свободному усмотрению, настолько хорошо, насколько она на это способна, и, как бы таковые ни удовлетворяли хорошо своей цели, представить возможно точ-

ное отображение природы, то все же никогда нельзя будет доказать, что они не способны к дальнейшему улучшению.

Но леса во всяком случае нуждаются в наличии твердого грунта, если только они не должны висеть в воздухе, и если постулат ненарушимой причинности не должен более, как было до сих пор, служить основой, то мы, прежде всего, становимся пред встречным вопросом, что же теперь должно быть введено в качестве основы для «акаузальной» физики. Ибо ведь совершенно без какой-либо предпосылки не может вообще быть развита никакая физическая теория, если не полагать, что одно голое регистрирование фактов наблюдения хотят выдать уже за теорию.

Однако я не хочу в данном случае итти столь далеко, чтобы требовать ответа на этот вопрос. Для меня было бы уже достаточно, если бы мог быть указан какой-либо довод, принуждающий к признанию того, что причинной физики недостаточно, чтобы удовлетворять фактам опыта, что, следовательно, может быть, рамка, в которую она хочет заключить события природы, является слишком узкой. Но как раз теперь пример, который вы привели, взяв его у вашего слишком рано отнятого от науки учителя Фрица Газенорля, указывает противоположное направление. Ибо то, что атомы обрубка дерева при их быстрых беспорядочных движениях случайно как раз все полетят однажды вверх, не есть с точки зрения каузальной физики не только нечто невозможное, но нечто такое, что нужно ожидать с некоторой вероятностью в течение достаточно долгого промежутка времени [1]), и как раз количественное экспериментальное подтверждение такого рода законов колебания означает в моих глазах выдающуюся опору в пользу постулата строгой причинности, с помощью которого они всегда и были выведены.

Но все же в прежней физике имеется один пункт, который нуждается в пересмотре, и это как раз тот пункт, который, как можно полагать, и вызвал все сомнения в достоверности закона причинности. Мы должны в будущем отбросить до сих пор молчаливо делавшееся допущение, что мы можем осуществить условия, которые причинно определяют какой-либо процесс, также всегда экспериментально, вплоть до принципиально неограниченной степени точности. Это допущение в действительности несовместимо с законами квантовой механики. Но это не есть в точном естественном знании нечто неслыханное. В биологии, например, принимают это, как нечто само собой разумеющееся, и однакоже биология работает исключительно на основе постулата строгой причинности. Я полагаю, что не сказал слишком много, если буду утверждать, что в биологии наука начинается только там, где в нее вводится закон причинности.

Как мне кажется, в будущем также и в физике признают необходимость совершенно отделять вопрос об условиях, которые однозначно причинно определяют протекание какого-либо процесса природы, от дальнейшего вопроса, могут ли и в какой степени эти условия осуществлены экспериментально.

Если мы поразмыслим о том, что в новейших проблемах подходящая формулировка задачи, как известно, обозначает часто уже полпути к ее разрешению, то мы можем надеяться, что, стоя на этой точке зрения, иные теперешние трудности некогда будут разрешены и может быть иное расхождение в мнениях разоблачит себя просто, как спор о словах.

---

[1]) Это утверждение, встречающееся и в других работах Планка, абстрактно и, по существу говоря, неправильно. В такой форме это утверждение может служить (и служит) для оправдания чудес, т.-е. как раз идет против научного, причинного об'яснения явлений. Ред.

А теперь я выступаю с моим последним и сильнейшим аргументом. Это—указание на результаты, которые были достигнуты уже в указанном направлении. Здесь я могу приятным образом ограничиться единственным блестящим примером, именно результатами ваших собственных работ. Ибо ведь вы были тем, кто первый показал, как пространственно-временные процессы в атомном образовании могут быть полностью определены, во всяком случае только при допущении, что в качестве элементов такового будут рассматривать не, как было до сих пор, движения материальных точек, но волн материи, как удается вычислить из вами установленного дифференциального уравнения загадочные дискретные собственные значения энергии образа, включая сюда и естественные пограничные условия, при чем вопрос о физическом смысле материальных волн может пока оставаться совершенно открытым.

Да удастся вам, высокочтимый господин коллега, продвигаясь вперед на этом открытом вами пути, пожать еще многие прекрасные результаты! Это есть твердое и искреннее пожелание счастья, каковым я приветствую вас сегодня от имени Академии.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

ФРАНЦ ОППЕНГЕЙМЕР. Система социологии.

Одним из центральных вопросов западно-европейской мысли послевоен[illegible] периода является вопрос о капитализме и социализме. Проблема капитали[illegible] и социализма стоит в центре внимания ученых и публицистов всех направле[illegible] включая и католиков. При всем различии в исходных пунктах большинство бу[illegible]жуазных теоретиков сходится на признании глубокого кризиса, переживаем[illegible] в настоящее время капиталистической системой; более споров вызывает дальн[illegible]шая судьба капитализма как в Западной Европе, так и за ее пределами, особе[illegible] же горячо дебатируется вопрос о социологической природе «переходного п[illegible]риода». Во всей широте прения по этим вопросам развернулись на последнем к[illegible]грессе социологов и экономистов, заседавшем в конце истекшего года в Цюри[illegible] на котором проблема капиталистического и социалистического способов про[illegible]водства послужила предметом горячей дискуссии между «светилами» совреме[illegible]ной, главным образом германской, науки—Альфредом Вебером, Зомбартом, Ш[illegible]ленбахом,—автором нашумевшей статьи «Связанный капитализм», помещен[illegible] в одном из номеров «Фоссовой Газеты», — и целым рядом других экономисти[illegible] социологов.

Интересный по личному составу делегатов и остроте развернувшихся пре[illegible] Цюрихский конгресс, тем не менее, не поставил ни одной принципиально но[illegible] социологической проблемы, лишь вынеся наружу проблемы, уже в течение мно[illegible] лет стоящие в центре западной, особенно немецкой социологии. Зомбарт, Шм[illegible]бах, Альфред Вебер и другие участники Цюрихского конгресса в различных к[illegible]бинациях повторяли мысли, высказанные, да при том нередко в более силь[illegible] форме, Максом Вербером, Шеллером, Пленджем, Ратенау и другими буржуазн[illegible] социологами. С историко-культурной точки зрения все движение вокруг «к[illegible] капитализма» (Ausgang des Kapitalismus) прежде всего интересно как симптом к[illegible]зиса «переходного периода» от одного социально-экономического порядка [illegible] другому.

Что капитализм, по крайней мере, в форме «высокого» или «свободн[illegible] капитализма, загнивает, в настоящее время мало кто уже сомневается; весь во[illegible] состоит лишь в том, что и каким путем идет на смену капиталистического с[illegible] Над разрешением этого злободневного вопроса бьется вся современная м[illegible] Запада. Не веря в творческие силы капитализма и в то же время содрагаясь пе[illegible] «красным призраком», буржуазная наука Запада судорожно ищет какого-н[illegible] более или менее приемлемого, выхода.

Среди многочисленных социологических систем «переходного периода» [illegible] большим вниманием пользуются компромиссные системы, рисующие переход к [illegible]вому строю в мягкой форме, без социальных катастроф, при этом, самый про[illegible] перехода растягивающие на долгие, долгие столетия. Видное место, если то[illegible] не самое видное, среди такого рода «социальных утопий» занимает «Система [illegible]циологии» немецкого социолога Франца Оппенгеймера, имя которого в насто[illegible] время постоянно встречается на страницах всех более или менее значите[illegible]

периодических изданий Германии и книги которого, несмотря на их об'ем и трудность изложения, в короткий срок выдерживают по несколько изданий. Ознакомление с социологией Оппенгеймера представляет большой интерес именно потому, что концепция Оппенгеймера является блестящим отражением мыслей и чувств большой социальной группы европейско-американского мира—средней и мелкой буржуазии. В истории западно-европейской мысли после Прудона едва ли можно указать другого мыслителя, к которому был бы так полно приложим термин «мелкая буржуазность», как именно к Оппенгеймеру; чтобы в этом убедиться, достаточно открыть любую страницу любого из его многочисленных произведений.

Социальные симпатии Франца Оппенгеймера не оставляют сомнений после прочтения нескольких десятков страниц, но более или менее обстоятельная систематизация и передача логических ходов его мыслей представляют очень большие трудности: во-первых, вследствие исключительного об'ема и многочисленности его произведений и, во-вторых, вследствие больших отступлений, частых противоречий и многочисленных оговорок, ослабляющих и искажающих первоначальную тезу. В общей сложности «Система социологии» (System der Soziologie) Оппенгеймера, со всеми прямо или косвенно относящимися к ней монографиями («Крупная земельная собственность и социальный вопрос», «Ценность и прибыль на капитал», «Психологический корень нравственности и права» и мн. др.), составляет около 10.000 страниц печатного текста, да и по характеру изложения названная «Система» более похожа на энциклопедию общественных знаний, нежели на систематический ученый трактат в общепринятом смысле этого слова. В «Системе» затронута масса вопросов и поставлено много самых различных проблем, чрезвычайно усложняющих благодаря эклектизму ход мысли и затрудняющих ее критику; между тем как ознакомление же с ней представляет большой интерес не только с теоретической точки зрения — как проверка (и новое подтверждение) правильности марксистской социологии, но также и с практической стороны — как знакомство с теоретической позицией и силами мелкой буржуазии. Сказанным определяется и содержание настоящего очерка, целью которого является передача основной цепи мыслей оппенгеймеровской социологии — как показателя определенного этапа в истории европейско-американской мысли послевоенного периода.

Основную цель своей социологии Оппенгеймер,—в согласии со всей «новейшей» социологией, полагает в изучении движущих статически-кинетических сил, приведших западно-европейское общество от прошлого к настоящему, т.-е. от феодализма к капитализму, и затем в выявлении, на почве изучения прошлого, линии дальнейшего развития Европы и Америки. «Конечной целью этого произведения является вскрытие движущих экономических законов современного общества, или, как сказано в предисловии к «Капиталу» Маркса, «необходимости закона общественного движения». (System der Soziologie, III, 2, 1029).

Установление «закона движения» имеет прежде всего практический смысл—поддержание ослабевшей веры «человечества» в разумность исторического процесса и веры в социальный идеал.

«Все это произведение воодушевлено одним большим желанием поднять веру первых классиков до бесспорно научной достоверности и тем самым возвратить разорванному человечеству веру, без которой оно обречено быть бездушной толпой отдельных, беспорядочно и непроизвольно сталкивающихся атомов».

В настоящее время европейское общество переживает глубокий внутренний кризис, распадаясь на два совершенно непримиримых лагеря: буржуазию и пролетариат. Идеологическим отражением этих двух социальных полюсов служат: с одной стороны, «псевдо-либеральная буржуазная классовая теория», с другой, «научный социализм» и революционный марксизм. Как то, так и другое направление, в глазах Оппенгеймера, является односторонним и потому, следовательно, неправильным, и мало того, с точки зрения «общего социального блага», крайне опасным—псевдо-либерализмом и псевдо-социализмом. Истина, как и всегда лежит по

середине. Этой истиной является социал-либерализм (Sozialliberalismus), фанати-
ным проповедником которого как раз и выступает сам Оппенгеймер, называя в чи-
сле своих предшественников Адама Смита, Джона Кареи (Carey) и Дюрин
В отличие от псевдо-либерализма и («его негатива») пролетарского социализ
социал-либерализм с возможно минимальной затратой сил разрешает самые тру
ные социологические проблемы, в том числе и проблему капитализма, рисуя иде
здоровой, мирной и красивой жизни.

«Социал-либерализм—это вера и стремление к общественному порядку, в к
тором хозяйственно-индивидуалистический интерес сохранит свое господство
осуществится в абсолютно свободном соревновании, в нем будет существова
только один вид дохода—заработная плата, между тем как доход с капитала и з
мельная рента исчезнут, за исключением некоторых невинных остатков, при та
общественном порядке уже не существует экономико-социальных классовых отн
шений капиталистического хозяйства».

Идея социал-либерализма проходит красной нитью через все произведе
Оппенгеймера, как идея «полной гармонии всех хозяйственных интересов, и сбл
жает эту «теорию» с «учением» с.-д. о «хозяйственной демократии».

«Социализм достигнут на пути либерализма; это не нежизнеспособная ко
струкция, как коллективистическое «государство будущего», но полный жи
организм, неизменный организм самого окружающего нас хозяйства, только осв
божденного от смертельно душившей его петли и начинающего выздоравлив
(S. S. III, 1, XVIII).

Ошибочность практических выводов буржуазного либерализма и проле
ского социализма проистекает из неправильности их теоретических конструк
прежде всего из недостаточного разграничения хозяйственной (экономической)
нехозяйственной (политической) сфер социального процесса. Резкое разграничен
вернее, противопоставление экономической и политической сторон социальн
процесса образует краеугольный камень разбираемой «Системы»; в этом зак
чается слабая сторона оппенгеймеровской социологии. С выпадением дихотоми
ского разделения социального процесса на экономику и политику или, по друг
на «чистую» и «политическую» экономию исчезает и вся оригинальность назв
социологии, превращающейся в обычную компилятивную систему, составле
из кусков самых различных буржуазных и социалистических школ.

«Существует два в основе противоположных средства, с помощью кото
человек, повсюду побуждаемый к деятельности одним и тем же инстинктом со
нения жизни, может достичь необходимых средств удовлетворения: работа и п
беж... Я предложил назвать собственный труд и эквивалентный обмен собстве
труда на чужой труд «экономическим средством», безвозмездное же присво
чужого труда—«политическим средством» удовлетворения потребностей».

«Наше резкое разграничение этих двух средств достижения одной и той
цели поможет избежать всякой путаницы. Оно послужит нам ключом к пон
нию возникновения, сущности и назначения государства, а так как вся всемир
история до настоящего времени являлась только историей государств, то, сл
вательно, и ключем к пониманию всемирной истории. Всемирная история до
пор, вплоть до наших дней и до нашей гордой культуры, имела и будет имет
пока мы не добьемся свободного гражданства (Freibürgerschaft) только одно
держание: борьбу между экономическим и политическим средствами». («
Staat», I Aufl., 14).

Хозяйство и политика в «Системе» Оппенгеймера составляют не только
совершенно самостоятельных, но и враждебных сферы общественной жизни. И
рия культуры, согласно вышеприведенной тираде, является не чем иным, как бо
бой экономического и политического начала, чем определяется и круг вопро
изучаемых социологией в ее исторической части: с одной стороны, это бу
история «общественного хозяйства, хозяйствующего общества» (Gesellwirts

der Wirtschaftgesellschaft),—история политических форм или история государства,—с другой. Последнему вопросу посвящен весь второй, а первому весь третий том «Системы социологии», между тем как в первом томе трактуются проблемы «чистой» или формальной социологии, служащие введением в генетическую социологию, и, кроме того, дается подробнейший обзор других социологических школ и направлений древнего мира, средневековья и нового времени. Генетическая социология в свою очередь распадается на две самостоятельных отрасли: экономическую и политическую социологию.

В то время как в фокусе «политической социологии» стоит проблема государства. Центральную ось «экономической социологии» образует проблема распределения (Distribution)—проблема первостепенной теоретической важности и полная жгучего практического интереса.

«Распределение составляет центральную проблему экономики, ее собственный предмет» (S. S., III, 1, 156).

Признание за основу «экономической социологии» распределения совершенно последовательно приводит автора к изучению «истории распределения» и анализу главных источников имущественного неравенства, или, другими словами, к анализу «первоначального накопления» под углом зрения распределения. Цель «экономической социологии, — говорит Оппенгеймер, — точно показать механизм, посредством которого в сплетении общественного хозяйства образуются «насильственные доли (Gewaltanteile): процент, прибыль на капитал и земельная рента и направляются в карманы привилегированных» (S. S., III, 1, 206).

Анализ «первоначального накопления» важен еще и потому, что ни либеральная, ни социалистическая школа политической экономии не поняли сущности этого важнейшего процесса в истории капитализма. Либеральная школа в лице Густава Шмоллера и Макса Вебера в самое недавнее время еще раз продемонстрировала свой взгляд на «первоначальное накопление», выводя его из «хозяйственных добродетелей» буржуазии или из «кальвинистической морали» (Макс Вебер)—прилежания, расчетливости, пунктуальности и бережливости. Из этой историко-психологической предпосылки «первоначального накопления» буржуазная наука делает окрашенные в классовый цвет выводы первостепенной важности.

«Раз классовый порядок возник только из добродетелей, то он естественен и справедлив. Так как состав человеческих групп, состоящих из добродетельных и недобродетельных, по всей вероятности, будет всегда одинаков, то этот порядок должен быть вечен, т.-е., если даже какой-нибудь переворот на короткий срок и восстановит равенство начал, то все же в течение кратчайшего времени непреодолимое действие психологических законов, приведшее в историческом прошлом к образованию классов, снова восстановит настоящее положение вещей» (S. S., III, 2, 212).

Теория «буржуазных добродетелей», опровергнутая в процессе защиты самими же либералами, в настоящее время тут окончательно подорвана социалистической критикой. Заслуга Маркса в разрушении идиллии «первоначального накопления» не подлежит никакому сомнению, но вся беда состоит в том, что сам он в этом вопросе не сумел освободиться от предрассудков буржуазной науки. Социалисты унаследовали от своих врагов, буржуазных либералов, ложный взгляд на свободную конкуренцию, как на фактор образования классового общества и прибавочной стоимости, превращая его в «вечный естественный закон» (Naturgesetz) всех человеческих обществ. Из этого мнимого закона делали и еще до сих пор продолжают делать многие неправильные выводы, гибельные для теории и роковые для практики. Разрушение этого предрассудка классической политической экономии, по наследству перешедшего также и к социалистам, Оппенгеймер считает одним из важнейших достижений его «Системы» и критики.

«Это неправда, что свободная конкуренция и разделение классов создали прибавочную стоимость, потому неправильно и заключение буржуазной науки, что

прибавочная стоимость неизбежна, так же как неправилен и вывод социалистической экономики, что рынок может быть уничтожен и должен исчезнуть вместе с конкуренцией. Вследствие этого как коммунизм, так и капитализм теряют свою единственную логическую основу и свое единственное оправдание» (S. S., III, 1, 20

«На этом новом основании должна быть заново построена вся социология во всех своих отдельных научных частях. Попытаемся же применить это построение и к экономике»!

Свободная конкуренция не могла быть причиной неравенства имуществ капитализма (в смысле определенной системы социальных отношений между лишенными всех средств производства рабочими и предпринимателями), по той простой причине, что история вообще не знает периода, когда «хозяйствующее общество» было бы полностью предоставлено самому себе, «игре свободных интересов». За исключением отдаленнейших времен экономическая жизнь всегда протекала в ненормальных условиях монополий и политической (государственной) диктатуры класса, монополизировавшего самое главное «орудие производства» — землю. При этом земельную монополию (Bodenmonopol) не следует понимать, как монополию экономически-производственного порядка, это чисто - «политическая» монополия (Rechtsmonopol), возникшая не в результате хозяйственных добродетелей одних и соответствующих пороков других, а в результате основанной на военном насилии земельной оккупации (Bodersperre). История земельной оккупации, собственно, есть история «первоначального накопления», отодвинутая на второй план и затушеванная политико-экономами, ослепленными «индустриоцентризмом». Образование земельной монополии и крупной земельной собственности посвящена большая часть оппенгеймеровской «системы» в ее исторической части.

«Эта привилегия силы (Machtposition) выражается в вытеснении крестьянства крупной земельной собственностью. Только она «отрезала лишенную всех прав массу от средств производства»! Без этой привилегии в настоящее время хватило бы свободной земли еще на несколько тысячелетий для всякого желающего пользоваться ею! Без нее рабочий класс не существовал бы как понятие неимущего, лишенного собственных средств производства. Обезземеление (Bodensperre) создало «капиталистические отношения, которые постоянно должны воспроизводиться, пока это обезземеление существует» (S. S., III, 1, XVIII).

Теоретическое понимание «экономического механизма» хозяйствующего общества» гарантирует правильный курс практической политики. Согласно вышесказанному, в центре современной экономической политики должна стоять аграрная реформа, направленная в сторону ликвидации крупной и насаждения мелкой земельной собственности. Ослабление крупной земельной собственности, по теории Оппенгеймера, будет началом конца «капиталистических отношений», постепенно вытесняемых социалистическими отношениями. «Уничтожьте земельную монополию, устранив крупную земельную собственность, и впредь на необозримое время не будут существовать ни рабочий класс, ни капиталистические отношения. С этих пор социализм стал действительностью: хозяйствующее общество, в котором существует только одна форма дохода,—заработная плата, земельная рента же и лихва на капитал исчезли, исчезли до невинных осколков» (S. S., III, 1, XVIII).

Прекращение «капиталистических отношений» (Kapitalverhältniss), однако, еще всем еще не означает ликвидации капиталистического способа производства (Kapitalistische Productionsweise).

«Виду за все искажения социальной экономики несет только «политическое средство» (Politisches Mittel) в своей постоянной форме крупной земельной собственности. Капитал лишь производная, «вторичная» насильственная собственность (Gewalteigentum). Вредоносно он может действовать только там, только там «облачивать прибавочную стоимость», где, вследствие существования массового крупного землевладения в одном и том же хозяйственном круге, поддерживает «общественное монопольное отношение» постоянно увеличивающимся выбросом

нием «свободных» рабочих на городской рабочий рынок в большем количестве, чем их может занять капитал». (S. S., III, 2, 1100).

«Эта ясная связь добыта дедукцией из бесспорно верных посылок и подкрепленная индукцией из массы достоверных и для всех стран одинаковых фактов. Если наука вообще, исходя из причин и следствий, может делать какие-либо выводы, то здесь уже она никак не должна колебаться» (S. S., III, 2, 1101).

Проведенная в соответствующем духе аграрная реформа непременно повлечет за собой исчезновение земельной монополии и торжество мелкой, крестьянской земельной собственности, насквозь пропитанной идеями Герца, Давида и им подобных оппортунистов, Оппенгеймер не сомневается, что при свободной конкуренции, в открытой экономической борьбе мелкая собственность безусловно победит крупную. Через всю «Систему социологии» проходит мысль о том, что господство крупной земельной собственности всегда и везде покоилось не на экономическом, а на политическом, т.-е. на искусственном, созданном насилием принципе, экономически-производственные же преимущества всегда оставались и продолжают оставаться на стороне мелкой собственности.

«Уже по чисто-хозяйственным причинам крупная земельная собственность всего мира еще с давних пор считается всеми знатоками приговоренной к смерти; приведение в исполнение этого приговора началось уже много лет тому назад. Именно там, где государство обращает лучи своей милости больше на moneyed, чем на landed interest, она подлежит совершенно бесспорному процессу разложения, превращающему ее в среднее и мелкое землевладение: так именно обстоит дело, например, в Соединенных Штатах» (S. S., III, 2, 1102).

Как и все вообще либерал-социалисты, Оппенгеймер не отрицает выгод коллективного хозяйства, но этот коллективизм рисуется ему в виде своеобразного феодального поместья, без феодала-монополиста, окруженного кольцом мелких собственнических усадьб или хуторов.

«Наиболее вероятное развитие хозяйства в будущем представляется смешанным: уменьшенное, но гораздо более интенсивно обрабатываемое крупное хозяйство (Grossbetrieb) окружено венком мелких поселений, владельцы которых большей частью являются товарищами по работе в крупном хозяйстве. Среди земледельцев свободно поселяются ремесленники, и, таким образом, поместье (Gut) превращается в сельскую общину» (S. S., III, 2, 1109).

Расположенные же вокруг интенсивно-обрабатываемого крупного хозяйства отдельные крестьянские хутора), убеждаясь на практике в выгодах коллективного хозяйства, вступают друг с другом в кооперацию, и тогда создается высшая форма производства—кооперация или производственное товарищество (Productivgenossenschaft).

«Наивысшей достижимой целью было бы производственное товарищество. Опыт такового рекомендуется как блестящими успехами, правда, еще редких экспериментов, так и теорией. Я мог бы показать, что тысячу раз повторявшиеся неудачи опыта производительного товарищества в индустрии,—упорно выдвигаемые также и против сельских производственных товариществ—с необходимостью вытекают из их организации, и что сельское производительное товарищество во всех отношениях покоится на противоположных основах. Первое дисгармоническое второе—гармоническое товарищество» (S. S., III, 2, 1109).

Однако, признавая все преимущества коллективного хозяйствования, Оппенгеймер, тем не менее, тотчас же спешит успокоить своего читателя заверением, что допускаемый им коллективизм ни в какой мере не предполагает ослабления индивидуалистического хозяйства и, тем более, ликвидации частной собственности. Во всех своих работах он постоянно подчеркивает, что мелкая и средняя частная собственность священна и неприкосновенна.

«Принцип частной собственности не стоит ни в какой необходимой сл
с физическими и моральными страданиями, которые почти все социалистич
системы предполагают неразрывно с нею связанными» (S. S., II, 688).

Все зло скрывается в крупной монополистической или «политической», а
средней и мелкой или «экономической» собственности. В то время как первый
частной собственности «противоестественен», «нелегален», «неосвещен» (unheil
«насильственен», «грабительский» и пр., второй—«солидарен с человеческой пр
дой», «освящен» (heilig), «законен» (legitim) и т. п.

«Крестьянская собственность относится к нравственно законным, а крупн
землевладение относится к нравственно незаконным формам!». (S. S., III, 2, 557).

Не земельная собственность вообще, но только осужденная этикой (кр
ная) земельная собственность подвергается моему нападению».

Итак, коллективизм никоим образом не уничтожает индивидуализма. В
в настоящем, так точно и в будущем, основной производственной единиц
остается «индивидуальная экономическая личность» (die individuelle oekonomi
Person).

«Согласно нашей концепции индивидуально-экономическая личность явл
чрезвычайно важным, необходимым, нормальным основным органом высшего
зяйствующего общества». (S. S., III, 1, 311).

Экономический индивидуализм не только не может быть уничтожен,
наоборот, его должно всегда подчеркивать и выдвигать на передний план, от
совсем не пострадает «общесоциальное благо». Как в свое время Гегель по от
шению к государству говорил о «хитрости духа», который, ведя индивида по
его личных интересов, в то же самое время тайно направляет его к коллекти
(общегосударственной) цели, достигая, таким путем самой трудной задачи всяк
общественного строя—примирения коллективистического и индивидуалистическ
начала, так и Оппенгеймер пытается рассуждения Гегеля о государстве цел
перенести на экономику и сделать из них соответствующие выводы об обществ
ной пользе индивидуалистического хозяйства.

«Индивиды следуют только их собственному интересу и, именно через
возникает незаметно для них и даже вопреки их желанию гармония всех инт
сов и прогресс богатства, а вместе с ними прогресс цивилизации и культур
(S. S., III, 2, 1030).

В качестве самого веского аргумента против мелкой земельной собст
ности,—говорит Оппенгеймер,—обычно приводят недостаток земли, ссылаясь
«закон перенаселения», якобы вызывающий парцелляцию и обезземеление. Но
неправильно, потому что ссылка на «закон перенаселения» (Superplusbevölker
несостоятельна, ибо никакого «закона перенаселения» вообще не существует в
когда не существовало. Этот мнимый «закон» создан фантазией Мальтуса и
вольных и невольных последователей, механическим путем выводящих его из д
гого столь же мнимого «закона первоначального накопления» и «свободной к
куренции». Следовательно, с выпадением названных «законов» из серии социа
ческих положений падают также и все вытекающие из них последствия, в
числе, значит, и обычная ссылка на недостаток земли.

«Нас уже больше не преследует закон «первоначального накопле
(ursprüngliche Akkumulation). Запас земель повсюду так велик, что на необо
мое число столетий каждая страна могла бы сделаться «свободной колони
(freie Kolonie), в которой всякий поселенец мог бы превратить участок зем
в частную собственность и индивидуальное «средство производства», не созд
препятствий также и другим, желающим проделать ту же самую операцию (S.
III, 2, 1108).

В другом месте Оппенгеймер дает подробный обзор числа свободных
мель в Германии, Европе и на всем земном шаре, высчитывая количество необ
димой на каждую крестьянскую семью земли, количество необходимого для

тания белка, возможный рост производительных сил, развитие транспорта, перемены в составе питания и т. п. В конечном итоге все эти расчеты и соображения приводят его к твердому убеждению в правильности как его теоретических построений, так и делаемых из них практических выводов: земельная монополия и крупная земельная собственность—единственная и основная причина «капиталистических отношений» со всеми вытекающими отсюда последствиями, а своевременная аграрная реформа—единственный путь спасения раздираемого внутренней борьбой современного общества. Кроме этого, никакого другого пути перехода от капиталистического dissensus к либерально-социалистическому consensus не существует, entweder-oder, или революция или реформа, tertium non datur. При этом Оппенгеймер упорно и постоянно подчеркивает, что предлагаемая им «социальная революция» пройдет не только без крови и потрясений, но даже и без существенного изменения права «путем медленных перемен» in langsamerer Umwälzung.

«В этом смысле предлагаемая нами крестьянская политика была бы, конечно, «политической и социальной революцией», так как она завоевала бы политическую власть для до сих пор угнетавшегося класса,—средних и мелких крестьян и сельских рабочих, тем самым, следовательно, и для связанных с ними индустриальных рабочих. Но это не должна быть непременно революция в обычном смысле грубого насилия (Heugabelsinn der Gewalt...), она не должна быть обязательно связана с кровопролитием» (S. S., II, 721).

Возрождение мелкой крестьянской собственности прежде всего уничтожит главное зло «капиталистических отношений»—прилив безработных сельских пролетариев в город и сократит «резервную армию», служащую источником создания прибавочной стоимости и классового общества. При соответствующем «естественном» разрешении аграрного вопроса не только прекратится тяга из деревни в город, но произойдет даже и еще больше: начнется отлив из города в деревню городских пролетариев и безработных, прельщенных благами сельской жизни и культуры.

«Городской пролетариат покупает в каждом политическом округе, в котором господствует класс крупных земельных собственников, одно большое имение и организует его как производственное товарищество самостоятельных наследственных арендаторов или наследственных возделывателей земли (Erbpächter oder Erbbaubesitzer),— или как паевое хозяйство (Anteilswirtschaft) об'единенных сельских рабочих. Этим создается не только центр постоянной агитации, но также образцовый пример того, к чему оно стремится и чего оно может достигнуть. Притягательная сила такого примера неоценима: сельский пролетариат, живущий вокруг производственного товарищества сельских рабочих (Landarbeiterproductivgenossenschaft) в Rahaline, в Ирландии, и весь сельский пролетариата далеко за пределами графства Клэр напряженно ожидал результатов этой «системы» (S. S., III, 2, 1110).

Таким путем, без всякого пролития крови, произойдет величайшая из всех когда-либо имевших место в мировой истории «социальных революций». Страшный зверь (Octopus)—капитал, над сокрушением которого в настоящее время ломают голову столь многие люди, тогда из величайшего зла превратится в великое благо, из «частно-хозяйственного капитала (privatwirtschaftliches Kapital) переродится в «народно-хозяйственный капитал» (volkswirtschaftliches Kapital). Постепенное «потухание капитализма» в частно-хозяйственном или, что то же самое, политическом смысле, совершающееся без «рассеяния веками накопленных культурных ценностей» и без пролития крови, Оппенгеймер считает великим достижением своей «Системы социологии» и построенной на ее принципах практической политики.

Из сказанного видно, что «социальная революция» в Оппенгеймеровском смысле, diese radikale Expropriation der Expropriateure, совсем еще не означает прекращения накопления капиталов и исчезновения предпринимательства. Напро-

тив, скорее произойдет обратное: «переходный период» вследствие благоприятной кон'юнктуры будет отмечен усиленным накоплением капитала и ростом предпринимательской прибыли (Unternehmerlohn).

«Предпринимательская прибыль действительных руководителей будет возрастать в соотношении с ростом обыкновенной заработной платы, пока лучшее всеобщее образование не увеличит число квалифицированных руководителей» (S. S., III, 2, 1111).

Рабочий может позволить все это своему старому врагу, так как теперь он сам в отношении культурных благ стал бесконечно богаче, чем был прежде. Аграрное производство нации увеличилось и улучшилось с того времени, как вместо незаинтересованного поденщика землю стал обрабатывать свободный крестьянин, индустриальное производство также увеличилось с тех пор, как беспримерно возросшая машинизация стала служить человечеству. Пирог общественного производства сильно увеличился, и теперь рабочий получает от сильно увеличившегося пирога сильно увеличившуюся долю» (S. S., III, 2, 1113).

В конце концов,—думает Оппенгеймер,—«народно-хозяйственный капитал» перехитрит «частно-хозяйственный» капитал. Обогащение хозяйственников, «действительных направителей производства» будет совершаться уже не за счет прибавочной стоимости, но за счет их высшей квалификации, энергии, психического и физического перенапряжения.

«Теперь капитал в народно-хозяйственном смысле процветает и мощно возрастает: машинизация—стальной и бесчувственный раб человека, увеличивается в гигантских размерах. Но она теперь не превращает человека в своего раба. С тех пор как не существует больше свободных рабочих, не существует также и капитала в частно-хозяйственном смысле, не существует «капитала, выколачивающего прибавочную стоимость» (S. S., III, 2, 1113).

Предпринимательская прибыль, высокая в «переходный период», будет падать по мере развертывания производительных товариществ, распада государства, разрежения больших городов,—словом, по мере потухания «капиталистических отношений» и наступления эпохи «чистой экономии», характеризующейся отсутствием каких бы то ни было «политических монополий», полной демократизацией и федерализацией общества. Демократически-буржуазное, «бесклассовое общество» (freibürgerliche Gesellschaft), на языке Оппенгеймера, собственно и есть «действительность завтрашнего дня» (Wirklichkeit von morgen), т.-е. социализм.

Таков в основных чертах ход мыслей «Системы социологии» Франца Оппенгеймера.

Оппенгеймеровская «Система» ни в каком отношении не может претендовать на оригинальность: в критической части она заимствует свои аргументы из марксистской и анархо-синдикалистской социологии, в позитивной же части она близка к либеральному манчестерству (Адам Смит, Милль и Спенсер) и также к анархо-синдикализму (особенно к Прудону); оригинально только самое сплетение из различных систем заимствованных идей. Частые провалы и недоговоренность, с одной стороны, растянутость, противоречивость и частые повторения—с другой в системе Оппенгеймера, отнюдь не является чем-то случайным, обусловленным техническим несовершенством автора, но коренится в самой его «Системе». Несмотря на крайне резкое противопоставление «чистой» и «политической» экономии, в процессе изложения это противопоставление постоянно нарушается и обе «экономии» сплошь и рядом перепутываются друг с другом, так что читатель не может разобрать, какая «экономия» служит причиной и какая является следствием. Постоянные переплетения «чистой» и «политической» экономии служат верным доказательством того, что самое противопоставление базы и надстройки в той форме, как это делает Оппенгеймер, произвольно. В этом отношении Оппенгеймеровская социология очевидный шаг назад по сравнению с марксистской социологией, приводящей «политическую экономию» (надстройку) в связь с «чистой экономией» (базой), но не отдирающей одну от другой. Поэтому, несмотря на довольно свободное обращение с фактами, Оппенгеймеру все же не удается выдержать свою схему, так как история против его схемы. Бесспорно, завоевания, захваты и им подобные массовые насилия, приводившие к установлению монополии того или другого класса оказывали свое действие на ход исторического процесса, но, с другой стороны, неоспоримо также и то, что и сами эти насилия были следствием чистой экономии», т.-е. в конечном итоге зависели от развития производственных сил. На этом основании, следовательно, выпадает самая основная мысль, стержень всей Оппенгеймеровской концепции, учение о земельной монополии, как единственном источнике «капиталистических отношений». Марксистская социология, как сказано, в этом (как и в других) пункте, абсолютно превосходит либерально-социалистическую социологию, рассматривая земельную монополию как один из важных, но не как единственный фактор перехода к капиталистическому способу производства. Совершенно правильно, без постоянного пополнения «резервной армии» приливающими из деревни сельскими пролетариями не могло создаться капиталистического производства, но, с другой стороны, не менее верно также и то, что обезземеление деревни явилось следствием вторжения в сельское производство торгового капитала и широкого распространения пастбищного хозяйства, поставлявшего шерсть, мясо и прочие продукты сельского хозяйства в индустриальные центры. Достаточно восстановить историческую картину конца Средних веков, эпохи Столетней войны, чтобы убедиться в искусственности всей концепции Оппенгеймера. Самая идея об экспроприации сельской массы von Grund und Boden, заимствована у Маркса, но, будучи вырванной из своего контекста, она утратила свой первоначальный смысл и получила совершенно ложное истолкование.

Земельная монополия имела место также и в феодальной Европе, и, тем не менее, тогда не возникло «капиталистических отношений», не возникло потому, что тогда не существовало аграрно-ростовщического капитала и городской индустрии, подобной фландрской индустрии XIII—XIV вв., из-за которой в конечном итоге разыгралась и Столетняя война, приведшая в «пролетаризации» западно-европейской деревни. То же самое относится и к античному миру, кстати сказать, представленному Оппенгеймером, в разрез со всей новейшей историографией, в крайне схематическом виде. Действительно, римская латифундия и пролетаризация италийской деревни в значительной степени могут быть рассматриваемы как следствия созданной войной земельной монополии и наплыва рабов, но Оппенгеймер забывает к этому прибавить, что сама война-то была следствием предшествующего развития производительных сил, или, другими словами, роста торгового капитала.

Передвижение центра внимания в сторону аграрной монополии как сверхэкономического фактора ставит Оппенгеймера в крайне затруднительное положение в основном вопросе всей его «Системы»: в определении «статическо-кинетических сил» исторического процесса, в установлении которых он сам полагает основную цель своей социологии. Движущей силой в его концепции оказывается не производство, а распределение, являющееся следствием привходящего (внеэкономического) фактора «политической монополии», давящего на «хозяйствующее общество» и мешающего ему превратиться в «чистую экономию». Отсюда проистекают многие противоречия и трудности. В самом деле, если исторический процесс, как полагает автор, состоит в высвобождении «хозяйствующего общества» из-под «политической монополии», ближайшим образом олицетворяемой классовым государством, то остается совершенно неясным, что же, собственно, способствует «созреванию» хозяйствующего общества, его освобождению от всех политических надстроек и превращению в «чистую экономию». Определенного ответа на этот, казалось бы, совершенно законный вопрос в «Системе» не находим; всякий ответ тотчас же вызывает другой ряд еще более сложных и широких вопросов.

Затруднительность своего положения чувствует сам автор, стараясь выйти из него введением нового, более широкого определения хозяйства, как «рацио-

нального обращения с вещами», согласно «принципу суб'ективно наименьшей траты сил» (Das subjktiv kleinste Mittel). Но это не спасает положения. В самом деле, если даже это новое определение хозяйства, в одних случаях различаемого, а в других отождествляемого с экономикой, более приближается к обычному пониманию хозяйства, — как процесса создания орудий труда и организации производства, то все же и оно страдает целым рядом неточностей и недоговоренностью. Чувствуя логическую уязвимость своей Nominaldefinition, выведенной не из «нуждающегося суб'екта» и не из «хозяйственных благ», а из «понятия самого хозяйства» (von dem Begriffe Wirtschaften selbst), Оппенгеймер к основной дефиниции присоединяет целый ряд еще новых определений; ее дополняющих и поясняющих. Так, для раскрытия смысла вводимого им многозначимого слова «вещь», он предлагает деление «вещей» на: «лица» и «вещи», в собственном смысле (Personen und Sachen), «вещи», в собственном смысле делятся на «внешние» и «внутренние» (äusser und innere Dinge), «внутренние» вещи делятся на: «услуги», «права» и «отношения», —затем появляются «ценные вещи» (kostende Dinge, Wertdinge), «запрещенные» и «дозволенные поступки» и т. д. Характерно во всем этом то, что в конечном итоге «номинальная дефиниция», долженствующая быть выведенной из «понятия самого хозяйства», на самом деле оказывается выведенной из суб'ективно-этического принципа. Не менее уязвимы также и все другие «номинальные дефиниции» автора—цена, монополия, «дохозяйственные соображения» (vorwirtschaftliche Erwägungen) и пр.

Несовершенные логически дефиниции Оппенгеймера, легко об'яснимы социально-психологически, как идеология некоторых социальных групп, послевоенной Европы. Ключ к пониманию всех особенностей оппенгеймеровской терминологии и выводов лежит в исходном пункте и в социально-политическом credo автора,— в его стремлении выйти из современного кризиса с «суб'ективно возможно меньшими затратами энергии» и с «возможно меньшей ломкой существующих отношений». Аграрная реформа, в духе сельской демократии с устранением какой бы ни было (в том числе и государственной) монополии на землю, по мнению автора, достаточно полно разрешает все современные социальные проблемы, притом разрешает в мелкобуржуазном, компромиссном духе, уничтожая не самый капитализм (капиталистический способ производства), но лишь наиболее вредные его последствия (капиталистические отношения). Именно, с точки зрения жизнеспособности мелкого (хуторного) хозяйства, ведется ожесточенная атака «закона перенаселения», этого черного облака на голубом небе всякой крестьянской идиллии. Помимо ссылки на личные дефекты защитником этого «мнимого закона», в качестве его опровержения, приводятся длинные рассуждения о техническом прогрессе в будущем, колоссальном развитии транспорта, об открытии новых веществ питания и прочее, но совершенно обходится молчанием: возможность еще большего прироста населения в связи, именно, с техническим и культурным прогрессом, к тому же все созданные творческой фантазией автора чудеса техники относятся лишь к отдаленному будущему, когда весь мир перестроится на началах, рекомендуемых франкфуртским профессором социологии Францем Оппенгеймером, когда исчезнут государства, исчезнут большие города и весь мир превратится в одну сплошную деревню.

Ахиллесову пяту оппенгеймеровской системы составляет «переходный период», или, пользуясь его собственной терминологией, переход от «политической» к «чистой» экономике. Казалось бы, именно, этому периоду и должно было бы быть посвящено главное внимание автора, но как раз именно этого-то и не случилось; чрезвычайно щедрый на слова в других частях своей монументальной «Системы», немецкий социолог оказался поразительно скуп в самой важной и ответственной ее главе, в главе о «Потухании капитализма». Ослепленный «аграрноцентризмом», он забыл даже упомянуть о будущих судьбах городской индустрии, о характере ее организации, о социальном составе (будущего) рабочего класса, о

роли городов, об отношении организаторов к организуемым и о многих других существенных вопросах, связанных с «переходным периодом». При чтении последних глав «Системы» получается впечатление, что вся творчески-художественная сила автора была израсходована на изучение прошлого и создание идиллических картин отдаленного будущего, на настоящее же уже не хватило энергии. Между тем как, при анализе «переходного периода» и ближайшего будущего, само собою напрашивается целый ряд вопросов об отношении индустрии к сельскому хозяйству, о роли рабочего класса в «переходный период», о характере «политической» экономии этого периода, наконец, об источниках кредитов, необходимых при широкой внутренней колонизации и переходе большей части населения на землю, о роли финансового капитала, за последние годы усиленно притекающего в деревню, и много других совершенно законных и недоуменных вопросов. Странным образом на все эти и им подобные вопросы в колоссальной системе Оппенгеймера не находим достаточно удовлетворительных ответов, все его внимание направлено в одну сторону—на защиту мелкого индивидуально-коллективистического землевладения и идеализации сельской жизни.

Все это произошло совсем не случайно. Фанатичный апологет мелкой земельной собственности и сельского строя жизни, Франц Оппенгеймер разделяет судьбу всех вообще мелкобуржуазных социологов (католиков, анархо-синдикалистов типа Сореля, отчасти фашистов и др.), в том, что они, чрезвычайно радикальные на словах, на деле оказываются идеологами не закапиталистической, а докапиталистической Европы, чем, прежде всего, и об'ясняется их любовь к «ремесленно-крестьянской» Европе, т.-е., иными словами, к Средневековью, к эпохе расцвета мелкой собственности, федерализма, господства «чистого духа», «честных нравов», «чистой экономики», «жречества» и т. п. атрибутов докапиталистического общества. Послевоенная Европа, чрезвычайно богата такого рода средневековыми настроениями. Достаточно только назвать весьма популярные среди некоторых кругов имена Макса Шеллера, Иоштока, Брифа, Сореля, Пипера, бывшего московского профессора Р. Виппера и многих др., чтобы согласиться с мыслью, что «Система социологии» Оппенгеймера является делом не индивидуального, а коллективного творчества, отражающего настроение определенных социальных групп, удельный вес которых, в силу некоторых причин, в послевоенной Европе временно увеличился. В этом заключается смысл и важность ознакомления с этой «Системой», но здесь же хранится также и ключ к об'яснению всех особенностей и приемов научно-философского творчества одного из популярных современных крупных германских социологов. Само собою разумеется, все вышеотмеченные провалы и «неувязки» оппенгеймеровской «Системы» нельзя об'яснять недостаточной научной подготовкой или слабым литературным талантом автора (то и другое имеется у него в достаточном количестве). Дело совсем в другом, именно, в том, что Оппенгеймер не может сделать последних логических выводов из своей идеологической позиции и потому постоянно колеблется из одной стороны в другую, прикрывая (безразлично, сознательно или бессознательно) радикально-сантиментальной фразеологией феодальную сущность своей концепции. Впрочем, «Система» Оппенгеймера находится не в состоянии полного бытия, а пока еще в состоянии становления, и все данные заставляют нас предполагать, что со временем франкфуртский социолог протянет руку более последовательным идеологам Средневековья и «диктатуры просвещенного разума» (Diktatur der aufgeklärten Vernunft)—католикам и фашистам.

В. Сергеев.

МОИСЕЙ ГОГИБЕРИДЗЕ. Развитие проблем материализма и диалектики до Маркса. Тифлис, 1928 г. Стр. 326+VI. Изд Университета.

Названная книга появилась в конце 1928 года на грузинском языке и является первым томом, который должен служить введением в философию диалектического

материализма. Автор обещает в скором времени выпустить и II том, где будет дано систематическое изложение философии диалектического материализма. В данной работе он исследует проблемы материализма и диалектики в их историческом развитии, начиная от древних греков и кончая философией Гегеля.

Автор стремится при рассмотрении указанных проблем пользоваться методом материалистической диалектики. Он не хочет дать просто историю материализма и диалектики, а старается те или другие проблемы истории философии разрешить с точки зрения марксизма и в связи с марксизмом. Целью автора является показать, что марксизм есть логическое развитие и завершение всей истории философии и науки. Ясно, что такую идею автора мы должны приветствовать, тем более что эта работа является первой попыткой марксистского рассмотрения историко-философских проблем на грузинском языке.

Книга состоит из двух частей: в первой части автор рассматривает историю материализма включая французских материалистов; во второй — историю диалектики до Маркса. Обеим частям автор предпосылает введение, где он разбирает сущность материализма и идеализма, выясняет вопрос происхождения философии и ее место в общественной идеологии, подчеркивая классовый характер всякой идеологии. Далее он разбирает вопрос отношения философии к наукам, предмет философии и т. д., выясняет некоторые основные вопросы философии, после чего дает специальное изложение общих основ диалектического материализма. Здесь он разбирает характер марксизма, как универсального мировоззрения, и выясняет отношение диалектического материализма к предыдущим философским системам, считая марксизм последней идеологией; также выясняет вопрос отношения диалектического материализма к точным наукам и научным теориям, заканчивая все специальным разбором философского понимания материи.

Таким образом, в введении автор хочет дать сжатое и ясное представление о марксистской философии и о том методе, с помощью которого он хочет рассмотреть развитие проблем материализма и диалектики до Маркса.

Почти половину своей книги автор посвящает рассмотрению истории материализма, но поскольку здесь мы имеем огромный материал, а автор не хочет пропустить почти ни одного из известных материалистов, то работа носит поверхностный характер и нет достаточной глубины.

Но все же справедливость требует отметить, что автор уделяет особое внимание, и стремится подойти более глубже к классическим системам материализма, выделяя из древних греков Демокрита, а из нового времени Спинозу и французских материалистов. Особого интереса заслуживает проводимая автором критика метода квантификации (количественной точки зрения) механического материализма. Он справедливо критикует чисто-количественную точку зрения старых механистов, подчеркивая особое значение квалитативной точки зрения, качества, целого и т. д. Подводя итоги своему рассмотрению истории материализма, автор целиком и полностью стоит на точки зрения Энгельса в своей критике механического материализма. Диалектический материализм включает в себе все положительные принципы прежнего материализма, но он есть нечто большее, чем прежний материализм. Он есть синтез материализма и диалектики.

Далее он переходит к рассмотрению проблем диалектики. Здесь автор ставит общие проблемы логики и диалектики, и эта глава является введением ко второй части книги. Какое отношение существует между логикой и диалектикой? Вот вопрос, к разрешению которого стремится автор. Неясностей здесь много, но основная мысль автора сводится к тому, что диалектика есть логика. Далее он разбирает вопрос отношения формальной и диалектической логики.

Выяснив проблему логики и диалектики, автор переходит к рассмотрению истории диалектики. Он останавливается почти на всех крупных представителях античной диалектики; но, останавливаясь недостаточно на Гераклите и Аристотеле, автор почему-то особое внимание уделяет диалектике Прокла и Плотина.

Разбирая их диалектику и диалектику Гегеля, автор показывает, что Прокл и Плотин, как представители умирающего мира, в отличие от Гегеля понимали диалектическое развитие, как движение назад, как деградацию, в то время, как диалектика Гегеля есть вечное движение вперед, вечное развитие и жизнь.

Переходя к философии нового времени, автор ищет элементов диалектики в системах рационалистов, отмечает особое развитие диалектики в области математики. Он особо останавливается на элементах диалектики в системе Спинозы.

Если до сих пор автор рассматривал элементы диалектики, которые бессознательно выступали в разных философских системах, то, как правильно отмечает автор, в философии Канта мы имеем уже сознательное начало диалектики, поскольку у Канта, в отличие от Ньютона, выступает проблема развития вообще. Автор различает две стадии в развитии Канта: первая стадия, когда в Канте преобладали естественно-научные интересы, и вторая—это период чисто-философский. В первый период преобладали материалистические элементы, во второй период идеализм восторжествовал во всей его философии. Поэтому автор сперва разбирает диалектику в естественно-научных работах Канта. Основная заслуга Канта — это констатирование реальных противоположностей. «Где материя, там и развитие, где развитие, там и противоречие,—вот пример диалектического мышления Канта», говорит автор. Правильно подчеркивая огромную важность констатирования Кантом реального единства противоположностей, он не останавливается на характеристике кантовской диалектики как отрицательной диалектики, в отличие от положительной диалектики Гегеля. Далее автор переходит к разбору диалектики Канта в «Критике чистого разума». Заслуживает внимания подчеркивание автором особого значения категории синтеза для диалектики, которая впервые была открыта Кантом.

Рассмотрев диалектику у Фихта и Шеллинга, он заканчивает свою работу разбором диалектики Гегеля. Гегелю автор уделяет особое внимание, так как только Гегель дал нам самое полное и всестороннее изложение диалектики. Автор берет не всего Гегеля, а только его «Феноменологию духа» и «Логику», что конечно, достаточно для целей его работы. Здесь он разбирает место Гегеля в истории развитии общественной мысли; далее выясняет его отношение к философии Шеллинга, Фихте и Канта, после чего переходит к разбору диалектического метода в целом. Вскрывает имманентное противоречие между методом и системой Гегеля, и приходит к выводу, что гегелевская философия сама изнутри подходит к материализму, и что диалектический метод Гегеля с необходимостью требовал этого перехода. В главе «От идеалистической диалектики к материалистической диалектике» автор стремится показать, как Маркс и Энгельс имманентным образом преодолели Гегеля, поставив диалектику на ноги, истолковав его метод материалистически. Философской эволюции Маркса и Энгельса и роли Фейербаха в истории марксизма автор не касается в данной работе, откладывая этот вопрос до появления второго тома.

Автор вполне правильно подчеркивает, что «без основательного знания Гегеля не возможно правильное понимание марксизма», он хорошо понимает также, что нет марксизма без материалистической диалектики. «В марксистской философии, — говорит он, — диалектика занимает первое место; начиная от натурфилософских проблем и кончая теорией классовой борьбы, марксизм основан на диалектическом методе». «Поэтому, — продолжает он, — теоретическое изучение марксизма означает основательное изучение диалектики» (стр. 202). Особое подчеркивание роли и значения материалистической диалектики, а также и значения Гегеля для марксизма — является большой заслугой автора, можно его упрекнуть лишь в том, что он недостаточно много внимания уделяет Гегелю в своей работе.

После этого сжатого и схематичного изложения, мы постараемся остановиться на некоторых спорных вопросах данной работы, тем более что автор обнаруживает известную непоследовательность в своих воззрениях, недоговорен-

ность, неясное представление некоторых проблем диалектического материализма, а иногда мы имеем дело с грубыми ошибками. Я не буду останавливаться на той или иной интерпретации автором различных философских систем, а об'ектом критики возьму принципиальные вопросы, которые обусловливают мировоззрение автора. Остановимся сперва на понимании автором роли философии диалектического материализма.

Во-первых, определяя философию, автор обходит молчанием классическое определение философии, данное Гегелем и Плехановым, «философия—как синтеза познанного бытия». Он определяет философию, как «общую науку о мире и действительности». Касаясь взаимоотношения философии и специальных наук, он пишет: «наука обосновывается философскими принципами, а философия пополняется научным содержанием», но какова роль философии, играет ли ф и л о с о ф и я а к т и в н у ю р о л ь как методология наук — остается неясным для автора. С одной стороны, автор подчеркивает методологическое значение философии, но, с другой стороны, по мнению автора, наука развивается сама по себе, а философия только регистрирует те или иные теории и после того, как та или другая теория оправдается ходом науки, философия принимает их и обогащается ими. Это отрицание роли философии, эта пассивность философии проповедуется автором очень откровенно в следующей цитате: «если в какой-либо науке, — говорит он, — борются две, почти одинаково обоснованные теории, то в таком случае марксизм не стремится выбрать одно из них». «И когда, напр., — продолжает он, — против Дарвина выступил де-Фриз и заменил эволюционную теорию революционной (!), то марксизм принял бы теорию де-Фриза, если бы фактическое развитие биологии приняло эту теории» (стр. 29). Выходит, что философ должен только созерцать, а не действовать, философия не имеет права вмешиваться в споры, которые происходят в тех или других науках. Одним словом, философия, как научная методология, превращается в пассивную науку наук, которая лишь только логически «обосновывает» различные науки, а не руководит ими. Как это примирить со взглядами самого автора, когда он подчеркивает методологическое значение философии — непонятно. Автор обнаруживает боязнь и отдает дань позитивистскому пониманию философии.

Марксизм не утверждает, конечно, того, что философия как будто может развиваться независимо от наук, как саморазвитие понятия. Марксистская философия, или материалистическая диалектика, есть синтез, вывод из развития всех наук. Но такой синтез, который как методология руководит дальнейшим развитием всех наук; между науками и материалистической диалектикой существует диалектическое взаимодействие. В противном случае на что нам нужна философия? Для того ли, чтобы фиксировать различные достижения наук? Нельзя согласиться также с автором и в определении философии лишь как только теории познания, а такая тенденция чувствуется на протяжении всей книги.

Вызывает сомнение также и то обстоятельство, что автор в своем введении, где он выясняет общий характер философии диалектического материализма, совсем не останавливается на характеристике материалистической диалектики. Как можно правильно трактовать о проблемах философии марксизма и писать введение без выясненя сущности диалектики? Хотя автор диалектику разбирает во второй части своей работы, но это механическое разделение диалектики и философии диалектического материализма приводит к той неясности, о которой мы говорили выше. Нужно было и первое и второе введение об'единить вместе и предпослать их обеим частям книги, тогда получилось бы более ясное представление о марксистской философии.

Известная неясность есть также и в вопросах отношения метода и мировоззрения. Из этой неясности вытекает также и следующее утверждение автора, когда он на стр. 119 пишет: «марксизм или диалектический материализм прежде всего есть исторический материализм», нужно было сказать обратное, что марксизм

прежде всего есть диалектический материализм, а исторический материализм есть конкретизация материалистической диалектики, а то при такой постановке вопроса получается отождествление исторического и диалектического материализма; и философия, как самостоятельная дисциплина уничтожается, чего автор, конечно, не хочет.

Несмотря на все оговорки, нужно считать ошибочным утверждение автора относительно метода Маркса в области истории, когда он пишет, что «Маркс впервые внес в историю новый научный метод счета и числа, которым Коперник, Кеплер, Галилей, Ньютон, Декарт и Лейбниц высчитали и изучили явления природы. Этим самым научно-каузальная точка зрения восторжествовала в истории». Несмотря на то, что автор стремится исправить это утверждение, подчеркивает качественную точку зрения Маркса, все равно данная цитата, кроме путаницы и отождествления диалектического метода с математическим, ничего не дает.

Безусловно ошибочным является также утверждение автора, когда он пишет, что «отношение суб'екта и об'екта имеет коррелятивный характер. Без суб'екта нет об'екта, но и без об'екта не существует суб'екта» (стр. 11). Такая формулировка оставляет двери открытыми махизму; неужели автор забыл споры марксизма с махистами? Но все же, несмотря на это, нужно отметить, что автор в решении основного вопроса философии отношения мышления к бытию в конечном счете решает вопрос правильно. «Об'ект определяет сознание», приоритет принадлежит об'екту; но на что понадобилась тогда выше приведенная формулировка, не хотел ли автор этим угодить махистам?

Заслуживает особого внимание также подчеркивание автором классового характера всякой идеологии, а также и науки, но автор разделяет китайской стеной общественные и естественные науки друг от друга. Общественные науки носят классовый характер, а в естественных науках как будто не отражается идеологическая борьба. Правильно то, что в общественных науках более остро проявляется идеологическая борьба, но и естественные науки ведь не свободны от такой борьбы. Поскольку любая наука содержит в себе методологические моменты, а метод каждой науки связан с общефилософским мировоззрением, философское же мировоззрение отражает в себе классовую идеологию, то можно сказать, что любая наука в своих общих методологических основах не свободна от идеологической борьбы, и значит в известном смысле она носит классовый характер. Иначе не понятно, почему мы, марксисты-диалектики, ведем жестокую борьбу с механистами и буржуазными учеными за овладение естествознанием. Борьба за естествознание сейчас такой же долг всякого марксиста и революционера, как и борьба за обществознание.

Еще одно замечание по поводу идеологии; считая всякую идеологию классовой идеологией, автор утверждает, что с отмиранием классов отомрет и идеология. Но идеологию ведь можно понимать двояко: первое понимание идеологии будет идеология, как искажающая действительность, точка зрения, поскольку в ней отражаются интересы классов. Ясно, что такая идеология с отмиранием классов отомрет; но идеологию можно понимать так же, как и мировоззрение, как синтез познанного бытия, как систему правильных взглядов; ясно, что такая «идеология» будет иметь место и в коммунистическом обществе, точно так же, как остается философия в новом смысле слова.

Давая в общем правильную критику механического мировоззрения и критикуя метод квантификации, автор пишет: «механическое мировоззрение безукоризненно тогда, когда оно ведет к аналитическому разложению об'екта; но когда начинается обратный процесс и становится необходимым познание мирового целого, то там недостаточна механическо-квантитативная точка зрения» (стр. 56). Вряд ли такое утверждение соответствует действительности, ибо в диалектическом методе анализ и синтез взаимно предполагают друг друга и анализ происходит на основе синтеза. На основе же аналитического метода не может быть подлинно-

диалектического синтеза, так же как на основе метафизики не может быть и диалектики.

Теперь перейдем к вопросу логики и диалектики. Здесь автор тоже обнаруживает неясность и недопонимание. Он хочет выяснить проблему взаимоотношения логики и диалектики, при чем это отношение, как он утверждает, есть отношение между формальной и диалектической логикой. Подчеркнув содержательность диалектической логики в отличие от формальной логики, автор все же обнаруживает ее непонимание тогда, когда он говорит, что диалектическая логика как будто обнаруживает слабость и грешит «при познании частного и индивидуального». Или еще, когда он пишет, что с самого начала мы должны предусмотреть то, что диалектика не означает отрицания формальной логики или ее простого уничтожения и т. д. Она означает только расширение формальной логики, и далее он продолжает, что в системе диалектики дано место для формальной логики как один возможный случай, как одна часть (Стр. 215). «Как арифметика относится к алгебре, так и формальная логика относится к диалектической логике», говорит автор. Одним словом, у автора нет ясного марксистского понимания этой проблемы. Диалектический материализм признает только одну диалектическую логику, формальная логика не может существовать рядом с диалектической логикой. Диалектическая логика снимает формальную логику, и то, что было положительно у последней, она включает в себе, как момент. Это прекрасно показал еще Гегель. Диалектическая логика не нуждается в другой логике, она прекрасно об'ясняет как единичное, так и особенное и всеобщее. Переходя к разбору интерпретации Гегеля, сделанного автором, я ограничусь только несколькими замечаниями.

Нельзя никак согласиться с ним, когда он категорию «снятия» (Aufhebung) считает одним из основных законов диалектики, которая, по его мнению, есть основа закона отрицания» (стр. 301). Для всякого марксиста ясно, что этот открытый автором основной закон диалектики основан на недоразумении и на непонимании автором сущности основных законов диалектики. Категория снятия (Aufhebung) непосредственно связана с законом отрицания отрицания и прямо вытекает из него. Это понятие лишь только уточняет и уясняет закон отрицания отрицания и показывает, что отрицание отрицания не есть простое уничтожение низших ступеней, но их сохранение и поднятие на более высокую ступень. Автор обнаруживает также известную неясность по вопросу, в какой связи друг с другом находятся три основных закона диалектики. Он недостаточно ясно представляет их единство, их неразрывную связь и т. д. Невыясненным остается также проблема триады.

Далее автор правильно поступает, когда он особое внимание обращает на закон единства противоположностей и когда видит особенности гегелевской диалектики в том, что у него противоречия не только полагаются, но и разрешаются. Но нельзя согласиться с интерпретацией автора, когда он утверждает, что у Гегеля противоречия разрешаются только в сознании, «что сознание, как будто преодолевает реальные противоречия». Такое трактование Гегеля является неправильным потому, что гегелевская логика не есть только логика мышления, но является и логикой бытия.

Мы считаем неправильным также утверждение автора, что Гегель диалектическое движение начинает от качества и идет к количеству, а Маркс, как будто начинает с количества и идет к качественной определенности. Мы по этому вопросу должны согласиться с гегелевской логикой, ибо без категории качества ни о каком количественном отношении и определении не может быть и речи. К недостаткам работы автора относится также и то, что он почти не останавливается на значении конкретного понятия у Гегеля и у Маркса, недостаточно выяснен также вопрос реального синтеза, понимает ли он эту категорию, как категорию лишь только познания, или — реального бытия. Нельзя согласиться также

с утверждением автора, что «Капитал Маркса был продолжением Логики Гегеля» (стр. 320). Маркс прежде всего переработал Логику Гегеля и на изучении конкретного материала показал преимущество диалектического метода, что без изучения Логики Гегеля нельзя понять «Капитал» Маркса — это правильно, но отсюда не нужно заключать, что «Капитал» Маркса есть продолжение Логики Гегеля — это вносит только путаницу.

Мы ограничимся указанными замечаниями, отметим только, что, несмотря на все эти недостатки, книга представляет ценную работу как по своему замыслу, так и по своему содержанию. Книга может оказать влияние на развитие грузинской марксистской философии; желательно только, чтобы автор бросил позицию компромисса и недоговоренности и целиком вступил на путь подлинных взглядов диалектического материализма.

И. Вашакмадзе.

АЛЕКСАНДР КОН. Курс политической экономии. Часть первая. Издание третье, исправленное. ГИЗ. 1929 г. Стр. 272. Цена 1 руб. Тираж 25.000.

В высшей степени тяжело рецензировать такого рода сочинение, автор которого целиком отказался от высказанных в нем взглядов, признав их явно ошибочным. Но положение рецензента становится еще сложнее, когда автор рецензируемого сочинения утверждает, во-первых, что он всегда был марксистом и таковым же является и сейчас; во-вторых, клянется всеми святыми в том, что все высказанное им ранее было правильно; в-третьих, указывает на то, что в его сочинениях был ряд принципиально неверных и далеких от диалектического материализма положений, и, в-четвертых, все последнее было обусловлено тем, что он употреблял «термины» в совершенно ином значении, чем то, которое им до сих пор придавалось марксизмом.

Первое ознакомление с букетом подобного рода заявлений оставляет после себя очень тяжелый осадок и сразу наводит на целый ряд очень грустных размышлений по поводу состояния мировоззрения автора. Или сей автор внутренне полностью признал ошибочность своей прежней боевой теоретической позиции и теперь, переменив фронт на 180 или 90 градусов, пытается спасти свое лицо, или он не понимает того, что употребление терминов всецело обусловливается методологическими особенностями теоретических построений. Что хуже из этих двух возможных положений—сказать трудно. Во всяком случае ни то, ни другое не свидетельствует о принципиальной выдержанности и последовательности данного теоретика.

Именно такого рода творение и имеем мы в виде 3-го издания «Курса политической экономии» А. Ф. Кона.

«В настоящее, третье издание «Курса»,—пишет он в предисловии,—мною внесено одно существенное исправление. В предшествующих изданиях вопрос о двойственности труда рассматривался мною применительно не только к меновому обществу, но и к другим общественным формациям. Такой метод изложения давал повод моим теоретическим противникам обвинять меня в неисторическом понимании двойственности труда и категории труда абстрактного. Это обвинение являлось по существу своему совершенно несправедливым и ни на чем не основанным. Хотя я и говорил о существовании двойственности труда не только в меновых обществах, но и в других общественных формациях с развитой и расчлененной системой разделения труда, однако: 1) я отдавал себе отчет в различном типе, различной форме и различном значении этой двойственности на разных ступенях общественного развития и 2) отнюдь не склонен был считать неисторической категорией абстрактный труд, взятый в единстве его сущности и общественной формы. Мои расхождения по этому вопросу с другими марксистами были не принципиальными, а терминологическими расхождениями. Я называл «абстрактным

трудом» то, что они называли «трудом вообще», и «абстрактным трудом менового общества» то, что они называли «абстрактным трудом». «Я не нахожу возможным осложнять развертывающуюся сейчас дискуссию по основным вопросам марксовой теории спором о терминах. Поэтому я считаю необходимым отказаться в этом издании от старой своей терминологии. Это во-первых. Во-вторых, в целях внесения ясности как в представление о моих взглядах, так и в сущность разногласий между двумя борющимися течениями в политической экономии, я считаю возможным... ограничиться в «Курсе политической экономии» рассмотрением вопроса о двойственности труда только в условиях менового общества».

Здесь, пытаясь доказать свою правоту, А. Ф. Кон наиболее полно и ясно выявил свое теоретическое лицо, раскрыв его механистическую сущность.

В самом деле, зачем это потребовалось ему в двух первых изданиях своего «Курса» одни термины заменить другими терминами? Неужели здесь, при замене одного «термина» другим, действительно, не было никакого умысла? Неужели в основе этого терминологического творчества не лежало недовольство той или иной стороной марксовой или послемарксовой ортодоксально-марксистской политической экономией?

Достаточно бегло просмотреть три издания его «Курса», чтобы убедиться в противоположном. Терминологическое творчество имело своей базой непонимание существа материалистической диалектики и явно выраженное тяготение автора к механистическому толкованию категорий марксистской теоретической экономии.

Непонимание диалектического характера соотношения формы и содержания—одна из самых характерных черт рецензируемого произведения.

В то время как по Марксу форма и содержание тесно связаны друг с другом, форма обусловлена содержанием, вытекает из него, но в то же время и отлична от него, не сводится к нему целиком,—в «Курсе» тов. Кона мы имеем совершенно иное. Несмотря на огромное количество деклараций о присоединении в этом вопросе к Марксу и Гегелю, по существу в его концепции мы имеем явно недиалектическую трактовку этой проблемы. Хочет этого тов. Кон или нет, но таков об'ективный результат его добрых суб'ективных стремлений. Терминологические разногласия—неизбежное следствие этого коренного порока его «научных» трудов.

Отсюда и его первое невинное «терминологическое» расхождение по вопросу о предмете политической экономии.

«Предметом политической экономии является производство в его буржуазной (капиталистической) форме». «Процесс материального производства представляется прежде всего процессом взаимодействия человечества и природы или, говоря точнее, процессом воздействия человечества на природу. Однако одновременно он является процессом, об'единяющим людей в общества и, следовательно,—процессом взаимодействия между людьми».

На первый взгляд эта фраза представляет собою только пересказ известного положения Маркса из «Введения к критике политической экономии». И это только на первый взгляд, ибо Маркс, устанавливая в качестве предмета исследования материальное производство, понимает его совершенно иначе, чем А. Ф. Кон. «Таким образом,—пишет он во «Введении к критике политической экономии»,—если речь идет о производстве, то всегда о производстве на определенной общественной ступени развития — о производстве индивидов, живущих в обществе». И дальше он употребляет термин «буржуазное производство». У Маркса дело идет об изучении определенной экономической структуры, об изучении всей данной совокупности отношений между людьми в процессе обще-

[1]) К. Маркс. К критике политической экономии, Гиз, 1929 г., стр. 16 ff.

ственного производства своей жизни. Для него форма не сводится к своему содержанию, она отлична от него, но в то же время она из него вытекает, им обусловлена. Для Маркса форма есть содержательная форма. Этого никак не может понять тов. Кон. Выпячивая на первый план отношения людей к природе, он по существу поддерживает тезис тов. С. Бессонова о предмете политической экономии, несмотря на крики о своем несогласии с ним. Давая такого рода формулировку, он смешивает отношения людей к природе с их отношениями друг к другу, полностью отождествляя обе эти стороны. Он смешивает производительную деятельность с общественными последствиями этой деятельности, сводит общественные отношения к отношениям технического сотрудничества и вступает в явное противоречие с высказываниями Ленина по этому поводу. «Гобсон смешивает производство с общественным строем производства». «Определенный политико-экономической категорией является не труд, а лишь общественная форма труда, общественное устройство труда, или иначе отношения между людьми по их участию в общественном труде». «Ее предмет (предмет политической экономии. *А. К.*) вовсе не «производство материальных ценностей», как часто говорят (это—предмет технологии), а общественные отношения людей по производству»,—говорил неоднократно В. И. Ленин.

Но, может быть, здесь тов. А. Кон оговорился? Может быть, эта формулировка случайно попала на страницы двух изданий его «Курса»? Может быть, это результат «блока» с С. А. Бессоновым? [1]).

Этот вопрос напрашивается еще и потому, что рядом с этим определением тов. А. Кон дает ряд других, в которых говорит о производственных отношениях как предмете политической экономии. В чем же здесь дело? В простой литературной неряшливости? В неумении излагать свои мысли? Для ответа на этот вопрос возьмем другие его сочинения. «Маркс же считал,—пишет он в своей статье «Б. Борилин как критик» [2]),—предметом своего исследования материальное производство в его определенной общественной форме». Следовательно, эта формулировка не случайна.

Эта мысль подтверждается еще одним примечанием, которое А. Ф. Кон делает в этой же своей статье. «Итак,—пишет он,—мы узнаем, что термином «материально-технический» Рубин обозначает социальное явление. Не останавливаясь на вопросе о том, почему нашему теоретику понадобилось именовать черное белым («социальное»—«материально-техническим»), и ограничиваясь напоминанием, что от счастливой жизни не полетишь, обратимся к более важному вопросу. Рубин утверждает, что «политическая экономия изучает не материально-техническую сторону капиталистического процесса производства, а его социальную форму». До тех пор, пока Рубин понимал материально-технический процесс производства, «материально-техническую сторону» процесса производства «натуралистически» и «внеисторически»—все подобные его высказывания можно было бы еще толковать как вполне законное противопоставление социального техническому. Но как понимать все подобные «места», если мы узнаем теперь, что Рубин понимает «материально-технический» процесс производства как общественный процесс материального производства?»—грозно вопрошает А. Ф. Кон. Если до сих пор (пока мы считали, что под «материально-техническим» процессом производства Рубин понимает производство, рассматривает как технический процесс) мы никак не могли согласиться с мнением тов. Бессонова, что «нигде и ни при каких обстоятельствах Маркс не противопоставлял и не мог противопоставлять материально-технического процесса производства его общественной форме», то теперь, когда нам Рубиным компетентно раз'яснено, что процесс про-

[1]) В первом издании эта формулировка отсутствует.

[2]) «Проблемы Экономики» № 6, стр. 98.

изводства признается за явление социальное, следует признать, что тов. Бесс... прав...» [1]).

Итак, по тов. Кону, выходит, если признать общественный характер отн... шений людей к природе, то этим самым теряется почва для проведения гр... между отношениями людей к природе и их отношениями друг к другу. Но что это значит?—Это и значит, что производство смешивается с обществен... строем производства. Мы согласимся с тов. Коном в том, что сейчас спор ид... также и о том, «как понимать производственные отношения» [2]), по Марксу и... по А. Богданову, диалектически или механически? В этом свете становится очень понятным и его различение технологии и политической экономии, как двух ар... отличающихся друг от друга только «точкой зрения», «аспектом», а не предмет... своего изучения [3]).

Однако оставим на время вопрос о предмете политической экономии и п... рейдем к другим проблемам.

Характеризуя товарно-капиталистическое производство, как определен... систему производственных отношений, тов. Кон дает совершенно неправиль... механистическую трактовку соотношению производства и потребления, изобр... их как два ряда совершенно независимых друг от друга, между которыми устан... ливается и нарушается равновесие. Тов. Кон абсолютно не понимает того, что производство и потребление есть единство противоположностей. «Производ... каждого отдельного предприятия совершается по определенному плану,— пи... он,— но в целом производство менового общества никем не регулируется. Зд... господствует полная анархия производства. Столь же анархически совершается распределение продуктов. Продукты достаются не тому, кто в них нужда... а тому, кто может уплатить за них подходящую цену. Казалось бы,— продолж... он,— что при таком положении вещей соответствие между производством и потреблением вообще не может быть достигнуто. Однако меновое общество сущ... ствует и развивается. Значит оно может существовать и развиваться. Следо... тельно, общественные потребности так или иначе удовлетворяются, а это мо... иметь место лишь при том условии, если соответствие между производством и потреблением в общем поддерживается. Так как в меновом обществе никто... заботится о поддержании равновесия общественного производства, а равнов... это так или иначе поддерживается, остается предположить, что равновесие пр... водства устанавливается стихийно, помимо сознания и воли людей» (стр. 8). ... мнению Маркса, производство и потребление совсем не представляют двух внеш... и независимых друг от друга рядов. «...Самый акт производства, во всех с... моментах, есть также акт потребления». «Производство есть непосредственно по... и потребление». «С другой стороны, потребление есть непосредственно такж... производство... Это потребительное производство». «Производство, таким обра... является непосредственно потреблением, потребление — непосредственно пр... водством. Каждое непосредственно заключает в себе свою противоположн... Однако в то же время между обоими совершается связывающее их движ... «Непосредственное единство, в котором производство со... дает с потреблением и потребление с производством, уничтожает их непосредственную раздвоенность» [4]) (Разр... наша. *А. К.*). Этого взаимопроникновения двух противоречивых начал тов. К... не понимает, а посему и трактует их соотношение в духе теории равновесия.

Точно так же механистически понимает он и связь мез... производительными силами и производственными отно... ниями. «Рост производительных сил при капитализме неизменно приводит к... растанию противоречий между системой капиталистических отношений с о...

[1]) Там же, стр. 95—96.
[2]) Там же, стр. 90.
[3]) Там же, стр. 94.
[4]) К. Маркс, К критике политической экономии, Гиз, 1929 г., стр. 2...

стороны и состоянием производительных сил — с другой. Стихийное приспособление капиталистических отношений к росту производительных сил до тех пор, пока это приспособление оказывается возможным, приводит к изменению отдельных звеньев капиталистической системы» (стр. 9).

На этом мы и закончим замечания, посвященные «введению». Вот перед нами «раздел первый», тот самый раздел, в котором автор в первом и втором издании этой книги утверждал, что абстрактный труд является категорией, присущей всем общественным формациям, что для возникновения этого понятия требуется только разделение труда, что «в стоимости... находит отражение тот факт, что на производство товара затрачен труд, что производство стоило определенной массы затрат физиологической энергии человека», что абстрактный труд независим от формы общественных отношений и не создает стоимости.

Будучи в то время последовательным и неустрашимым, наш автор обосновывал закон трудовых затрат и теорию равновесия. «В меновом обществе,—писал он,— не бывает такого момента, когда общественное производство находилось бы в состоянии устойчивого равновесия. В каждый данный момент равновесие производства оказывается нарушенным то в ту, то в другую сторону и лишь в среднем достигается равновесие общественного производства». «Закон стоимости таким образом выступает перед нами как форма закона трудовых затрат». В то время, по его мнению, этот «факт» был «лучшим подтверждением и действительным обоснованием теории трудовой стоимости» (изд. 2-е, стр. 9—10). Закон трудовой стоимости трактовался прежде всего как закон равновесия.

Что же имеем мы в третьем издании? Неужели и в этих вопросах дело ограничилось только терминологией? Неужели у тов. Кона не было принципиальных расхождений во взглядах на эти основные категории марксовой политической экономии с огромным большинством марксистов?

Начнем по порядку.

Марксисты привыкли думать, что категория абстрактного труда присуща только одной определенной общественно экономической формации, товарно-капиталистическому обществу, что это — явление специфически общественное, находящееся в неразрывной связи со стоимостью. Двойственная природа труда, создающего товары, конкретного, с одной стороны, и абстрактного, с другой,—выявлена Марксом с неподдающейся кривотолкам ясностью на страницах «Капитала» и «Теорий прибавочной ценности». Исследование этой проблемы Маркс относил к числу лучших мест «Капитала». «Самое лучшее в моей книге,— писал он в письме к Ф. Энгельсу,— это: 1) (на этом основано всякое понимание явлений) подчеркнутый уже в первой главе двойственный характер труда, в зависимости от того, выражается ли он в потребительной или меновой стоимости; 2) исследование прибавочной стоимости независимо от ее особенных форм, прибыли, процента, земельной ренты и т. п.» [1]). Маркс считал, что этой двойственной природой характеризуется только труд, создающий товары, только труд, создающий товары, выступает как абстрактный с одной стороны и как конкретный—с другой.

Совершенно иное находим мы по этому поводу в «Курсе» А. Ф. Кона.

«Абстрактный труд,— писал он в первом издании,— представляет собою целесообразную затрату физиологической энергии человека». Будучи бесстрашным и последовательным до конца, А. Ф. Кон находил эту категорию во всех общественных формациях и считал совершенно ненужным вводить в ее характеристику признак определенной организации производства. «Наличие меновых отношений,— говорил он,— является условием, при котором абстрактный труд создает стоимости» [2]).

Таким образом, здесь была дана развернутая богдановская трактовка этой категории. Вместо того, чтобы из двойственного характера труда вывести необ-

[1]) Письма Маркса и Энгельса, изд. 1923 г., стр. 168.
[2]) А. Кон, Курс политической экономии, изд. 1-е, стр. 53.

ходимость обмена, А. Ф. Кон эту двойственность считает неисторической категорией, категорией, присущей всем общественным формациям, отрывает от нее новые отношения и стоимость, считая их чем-то внешним для абстрактного труда и ставит на голову действительные отношения. Для него абстрактный труд—не специфически общественная форма труда и даже не просто общественный труд... «Для того,—писал он,—чтобы труд создавал стоимости, он должен быть не только абстрактным, но и общественным трудом». Таким образом, абстрактный труд в первом издании не был общественным трудом. Только приняв общественную форму, этот «абстрактный» труд создавал стоимости. Одна и та же, сущность абстрактный труд, принимала различные формы. Форма рассматривалась как нечто несущественное и безразличное для своего содержания.

Таким образом, механистическое отождествление формы и содержания и отрыв их друг от друга очень мирно уживались на страницах одной и той же книги. Нетрудно видеть, что обе эти особенности «методологии» А. Ф. Кона были обусловлены непониманием материалистической диалектики и заменой ее теорией равновесия в богдановско-бухаринском духе.

Во втором издании «Курса» А. Кон «уточнил» и «развил» свою трактовку абстрактного труда. «Абстрактный труд,— писал он,— вообще есть категория, свойственная не только меновому обществу, но и всякому обществу с расчлененной системой разделения труда. Абстрактный же труд в его специфически меновой общественной форме или, говоря иначе, труд, создающий стоимости, есть историческая категория, свойственная только меновому обществу». «Труд, создающий стоимости, является, таким образом, абстрактным трудом в специфической общественной форме, которую он приобретает в меновом обществе. Эта специфическая общественная форма труда является причиной, которая порождает самый факт овеществления абстрактного труда в стоимости. Однако в стоимости отображается (овеществляется) не общественная форма труда сама по себе, а абстрактный труд (как вполне реальная материальная затрата человеческого мозга, мускулов, нервов, рук и т. д.) в определенной общественной форме» (стр. 26).

Тов. Кон был вполне последователен и писал: «Закон стоимости, таким образом, выступает перед нами как форма закона трудовых затрат». По его мнению этот факт был «лучшим подтверждением и действительным обоснованием теории трудовой стоимости». «Только исходя из предположения, что в меновых пропорциях между товарами отражаются соотношения между количествами абстрактного простого труда, затраченного обществом на их производство, мы можем ответить на вопрос, как поддерживается равновесие общественного производства в товарных обществах».

В третьем издании тов. Кон пишет, что в этих вопросах его расхождения с другими марксистами «были не принципиальными, а терминологическими расхождениями. Я называл «абстрактным трудом» то, что они называли «трудом вообще», и «абстрактным трудом менового общества» то, что они называли «абстрактным трудом». «В предшествующих изданиях вопрос о двойственности труда рассматривался мною применительно не только к меновому обществу, но и к другим общественным формациям». «Я не нахожу возможным осложнять развертывающуюся сейчас дискуссию по основным вопросам марксовой теории спором о терминах. Поэтому я считаю необходимым отказаться в этом издании от старой своей терминологии. Это во-первых. Во-вторых, в целях внесения ясности как в представление о моих взглядах, так и в сущность разногласий между другими борющимися течениями в политической экономии я считаю возможным... ограничиться в «Курсе политической экономии» рассмотрением вопроса о двойственности труда только в условиях менового общества» [1]).

[1]) А. Кон, Курс..., изд. 3-е, предисловие.

Итак, земля все-таки вертится! Терминологию меняю, но продолжаю утверждать, что труд обладает двойственной природой во всех общественных формациях,— таков смысл этого заявления тов. Кона.

Но, может быть, в положительном изложении данной проблемы в третьем издании «Курса» автор сказал действительно нечто новое по сравнению с первыми двумя изданиями, но, спасая свое теоретическое лицо, сказал неправду в предисловии?

В самом деле, даже внешнее расположение материала главы первой первого раздела в третьем издании чрезвычайно сильно отличается от второго. Параграфы «абстрактный труд» и «общественный труд менового общества» исчезли и заменены новым параграфом под названием «двоякий характер заключающегося в товарах труда», самое содержание которого чрезвычайно существенно отличается от того, что было написано автором ранее, хотя форма изложения осталась прежней. «Точки и углы зрения», «аспекты» и способы рассмотрения попрежнему мелькают перед глазами читателя. Однако категорические заявления о том, что труд, создающий стоимость, есть историческая форма неисторической категории, абстрактного труда, сводящегося к простой затрате физиологической энергии и только,— уже отсутствуют. Тов. Кон уже не спрашивает, «почему... абстрактный труд, не создающий стоимости в неорганизованных обществах, создает их в меновом обществе?» Однако в то же самое время он избегает развернутого положительного изложения своих взглядов на эту проблему, пытаясь отделаться самыми общими фразами, одновременно с этим повторяя свои старые ошибки. Он уделяет гораздо больше внимания, чем раньше, противоречию частного и общественного труда, стремясь понять процесс превращения конкретного и частного труда в частицу совокупного общественного труда. Но «мертвый хватает живого». Одного желания дать вполне марксистскую трактовку этой проблемы еще далеко не достаточно для ее правильного решения. Поэтому, хотя бы в третьем издании «Курса» и не встретите утверждений, что абстрактный труд есть простая затрата физиологической энергии и только, но в то же время не найдете и полной положительной его характеристики. Негативная характеристика абстрактного труда все-таки преобладает. «Труд, создающий стоимости,— пишет он,— это уже более не труд столяра, труд слесаря, труд портного и т. д.,— это труд товаропроизводителей вообще, труд без дальнейших определений, абстрактный труд». «Понятие абстрактного труда, подчеркивая однородность труда во всех его конкретных проявлениях, тем самым и предполагает приравнение различных видов труда друг другу, а следовательно, и определенную форму приравнения их. Если форма конкретного труда, подчеркивая различия данного труда от всякого другого, тем самым обособляет данный труд от его связи с другими видами труда и таким образом подчеркивает техническую сторону трудового процесса,— то форма труда абстрактного, выделяя общие свойства всех конкретных видов труда, в отношении которых эти виды труда приравниваются друг к другу, тем самым предполагает необходимость приравнения различных видов труда, а, следовательно, подчеркивает общественную сторону труда менового общества». «В пределах товарного мира «всеобщечеловеческий характер труда есть его специфический общественный характер».

Это, а также и следующий за этим анализ особенностей товарного хозяйства с ударением на специфическую форму приравнения труда, говорит за то, что тов. Кон сделал большой шаг вперед по сравнению со вторым изданием, что предисловие не дает полной картины состояния его взглядов к настоящему моменту, что дело не ограничилось простыми терминологическими изменениями. По существу тов. Кон признал полностью ошибочность своих взглядов на абстрактный труд. Но, от ворон отстав, он к павам еще не пристал. Отказавшись от своих старых взглядов, при-

знав их ошибочность, он еще не смог освободиться от старых ошибок и дать развернутую положительную марксистскую формулировку своего решения этой проблемы. Пытаясь сохранить свое «лицо» в ряде мест, он сохранил старые определения, находящиеся в противоречии с диалектическим материализмом. Одного желания быть диалектическим материалистом еще мало. Очевидно, тов. Кону еще придется чрезвычайно много поработать над материалистической диалектикой, прежде чем он сможет понять марксово решение проблемы абстрактного труда. Говоря о этом, мы имеем в виду всю систему тов. Кона, а также и его новую, «собственную» формулировку абстрактного труда, не согласующуюся с материалистической диалектикой, но согласованную по существу во всех пунктах с той механистической системой, которую он изложил в первых двух изданиях настоящего «Курса», духом которой пропитано рецензируемое третье издание, несмотря на явное отступление автора от целого ряда главнейших своих положений, несмотря на явно выраженное желание быть диалектическим материалистом.

В самом деле, что означает заключительная формулировка абстрактного труда, данная Коном в третьем издании? — То же самое, что и его определение предмета политической экономии. «Труд как созидатель стоимости является таким образом материальным трудом в специфической общественной форме, которую он приобретает в меновом обществе». «... В стоимости овеществляется... труд (как вполне реальная материальная затрата), протекающий в определенной общественной форме» (стр. 24 третьего издания).

Делая ударение на труде, как процессе между человеком и природой, тов. Кон продолжает свою старую линию, линию механистического сведения производственных отношений к отношениям технического сотрудничества, так ярко выраженную в его определении предмета политической экономии, в трактовке понятия «производство» и в понимании общества. «Общество,— писал он во втором издании (стр. 22),—это кооперация людей на почве совместной борьбы с природой». Этот же мотив звучит и в трактовке других категорий и заимствован им из «Теории исторического материализма» тов. Н. И. Бухарина.

Этими методологическими особенностями, непониманием материалистической диалектики и, в частности, диалектического соотношения формы и содержания обусловливается тот печальный результат в теории абстрактного труда, к которому пришел тов. Кон, несмотря на явное признание ошибочности своей старой позиции и искреннее желание дать марксистское решение этой проблемы.

Для тов. Кона стоимость является прежде всего регулятором производства. Поэтому закон стоимости в его теоретической системе не закон движения, а закон равновесия. В силу этого тов. Кон, несмотря на устранение наиболее опасных формулировок, не мог изгнать из своей книги закона трудовых затрат.

Начав параграф седьмой первой главы с выяснения необходимости известной пропорциональности, тов. Кон эту необходимость тут же превращает в необходимость равновесия производства, развивая рассуждения тов. Н. И. Бухарина о равновесии применительно к закону ценности. «В меновом обществе,— пишет он — не бывает такого момента, когда общественное производство находилось бы в состоянии устойчивого равновесия. В каждый данный момент равновесие производства сказывается нарушенным то в ту, то в другую сторону, и лишь в среднем достигается равновесие общественного производства». «... Каждый раз, как цена отрывается от стоимости, перегруппировка общественного производства заставляет ее измениться в обратном направлении и, наоборот, каждый раз, когда нарушается равновесие общественного производства, цена, отклоняясь от стоимости, тем самым порождает постоянную перегруппировку производства». «Закон стоимости, регулируя равновесие производства менового общества, обусловливает развитие про-

изводительных сил менового общества и превращает систему равновесия менового производства в систему движущуюся, развивающуюся» (стр. 48).

Нетрудно видеть, что все это рассуждение тов. Кона имеет только формальное сходство с марксизмом, по существу же находится в явном противоречии с материалистической диалектикой. В то время как для Маркса и Энгельса равновесие есть момент движения, его определенное преходящее состояние, а посему оно «неотделимо от движения» (Энгельс), для тов. Кона самое движение есть результат нарушений равновесия. Вот поэтому-то для него закон стоимости есть прежде всего «регулятор», закон равновесия, а не закон движения, как это имеет место в действительности и в системе Маркса.

Оставляя в стороне рассуждения тов. Кона о товарном фетишизме, общественно-необходимом труде, деньгах и теории прибавочной ценности (ибо для критического разбора этих мест нужно было бы написать целую книгу), сделаем несколько замечаний по поводу того, как рецензируемый автор трактует соотношение анализа и синтеза.

«Маркс,— пишет он,— различал два метода теоретического исследования: аналитический и синтетический». Но это-то резкое разграничение как раз и неверно: Маркс руководствовался одним методом, методом диалектического материализма, который есть единство анализа и синтеза, а не простая механическая сумма их.

Механистический характер мышления тов. Кона обнаруживается и в других вопросах. Тов. Кон, даже передавая словами Маркса ту или иную мысль, очень часто забывает, что Маркс исследует предмет в его движении и не дает «определений». Поэтому с ним очень часто и получаются такие вещи, что, цитируя одно место, он вырывает его из общей связи и искажает мысли Маркса. Так, в одиннадцатой главе он пишет: «Капиталист же, об'единяя рабочих в стенах одного предприятия, потребляет не индивидуальную, а коллективную рабочую силу. Капиталист, нанимая рабочих, имеет дело с раздробленными рабочими, между которыми еще не существует кооперации. Потребляя же рабочую силу, он имеет дело с рабочими, между которыми кооперация уже существует. «Он оплачивает стоимость 100 рабочих сил, но не оплачивает комбинированной рабочей силы сотни». «Поэтому та производительная сила, которую развивает рабочий как общественный рабочий, есть производительная сила капитала» (Маркс) и присваивается им» (стр. 250). У Маркса в «Капитале» вслед за этой фразой идет другая, не цитируемая А. Коном, но подчеркивающая другую, чрезвычайно важную сторону этой же проблемы, упуская которую из поля своего зрения, тов. Кон становится на позиции вульгарной экономии, пытаясь стащить туда же и Маркса. Сейчас же вслед за вышецитированной тов. Коном фразой Маркс пишет: «Общественная производительная сила труда развивается безвозмездно, как только рабочий поставлен в определенные условия, а капитал как раз и ставит его в эти условия. Так как общественная производительная сила труда ничего не стоит капиталу, так как, с другой стороны, она не развивается рабочим, пока его труд не принадлежит капиталу, то она кажется производительной силой, принадлежащей капиталу по самой его природе, имманентной капиталу производительной силой»[1]) (Разрядка наша. *А. К.*). Нетрудно видеть, что и здесь автор верен сам себе.

Таким образом и в этом вопросе проявляются отмеченные выше недостатки методологии автора. Беря одну сторону предмета, тов. Кон или «забывает» о других, или просто не может проследить тонких переходов друг в друга исследуемых им явлений действительности. В результате этого в его системе создаются две крайности недиалектического порядка, существующие одна возле другой: или механистическое сведение формы к содержанию, или кантианский отрыв их друг от друга.

---

[1]) K. Marx, Das Kapital, B. I, I. 281, Volksausgabe, 1928.

Пытаясь доказать ортодоксальность своего понимания предмета политической экономии, тов. Кон вслед за Бухариным пишет: «Я всегда считал политическую экономию наукой, изучающей только товарно-капиталистическое хозяйство, а не хозяйство всех вообще общественных формаций» (стр. 4).

По мнению Ленина, это «определение шаг назад против Энгельса» [1]). Повторяя бухаринское определение, тов. Кон только подчеркивает свое несогласие с Энгельсом в этом вопросе.

Наш заключительный вывод.

В своем настоящем виде «Курс политической экономии» тов. Кона не может считаться ортодоксально-марксистским учебным пособием. «Исправления», внесенные в третье издание по вопросам стоимости, не доведены до конца, плавают в рамках старой механистической системы и по существу ничего не исправляют.

Ал. Казарин.

PROF. DR. HERMANN LEVY. Nationalökonomie und Wirklichkeit. Versuch einer sozialpsychologischen Begründung der Wirtschaftslehre. Jena 1928.

Герман Леви, ученик Макса Вебера, известен, главным образом, как знаток социально-экономических отношений Англии. Лишь в последнее время Леви занялся также изучением и экономики С.-А. С. Ш. Его книга «Die vereinigten Staaten von Amerika als Wirtschaftsmacht» широко известна и русскому читателю. Однако Герман Леви не чужд и теоретической экономии. В своей книге «Volkscharakter und Wirtschaft», 1926 г., Леви развивает свое учение о «народном характере», как ключе к пониманию народно-хозяйственных законов. Наконец, в рецензируемой нами книге «Nationalökonomie und Wirklichkeit» Леви выступает как «критик» и «реформатор» политической экономии.

Последний труд Леви интересен для русского читателя в двух отношениях. Во-первых, рецензируемая книга дает яркое представление о современном состоянии политической экономии в Германии. Во-вторых, положительные идеи, развиваемые Леви, показывают, как мало способны вывести буржуазную экономию из тупика те из ее представителей, которые, подобно Леви, ясно видят загнивание этой науки, но в то же время и сами стоят на совершенно ложной точке зрения. Леви начинает свой труд с констатирования глубоко пессимистического положения. «По сравнению с XIX столетием,—пишет он,—современная политическая экономия обнаруживает черты неоспоримого творческого замирания, упадка продуктивной деятельности» (стр. 1). «Достаточно сравнить немецких экономистов XIX столетия—Маркса, Листа, Рошера, Шмоллера, Бем-Баверка, Зомбарта, Макса Вебера, Визера, Менгера и др.—с современными экономистами. Эпоха великих «дел» безвозвратно канула в вечность. Нельзя без зависти смотреть на минувшую эпоху с ее школами и системами, когда сознаешь, что этого уже нет больше в немецкой экономической науке» (стр. 3),—грустно констатирует наш автор. «Оглянемся ли мы на Берлин или Бонн, на Мюнхен или Гейдельберг, мы лишь как редкий случай отметим, что в тамошних университетах какая-нибудь кафедра политической экономии имеет претензию представлять «школу», «систему» или даже «направление». Обмельчание современной немецкой экономической науки наш автор иллюстрирует на ряде примеров. Такое выдающееся единичное явление,—пишет Леви,—как Вернер Зомбарт, первые шаги которого (на научном поприще) обнаружили что-то незаурядное и «Современный капитализм» которого в первоначальном своем виде означал непреходящее обогащение для мира,—не сумел все же в дальнейшем сохранить свою особенную линию. Он самое большее стал своим собственным эпигоном... Труды такой организации, как «Союз социальной политики», так блестяще начавшей свою деятельность, обнаруживают то же самое явление. Ни одной работы

[1]) Ленинский сб., XI, стр. 349.

за последние годы, которая могла бы иметь скромное притязание на оригинальность. Коммунально-политическое чередуется с торговой политикой, аграрная политика с социальным вопросом... Ни одна проблема не ставится с тем, чтобы получить на нее ответ. Ни одна проблема не обсуждается, а лучше сказать, все снова и снова излагается, на что затрачивают свой труд,—язвительно замечает Леви,—располагающие временем «корифеи» и их терпеливые ученики в семинарах. Эти труды в лучшем случае фигурируют как новые издания; прославленное второе, третье и четвертое издание, в котором давно известное благополучно доводится до настоящего времени.

Увядание университетской академической экономической науки сопровождается, однако, расцветом «диссертационной» науки, о состоянии которой в Германии наш автор отзывается с настоящей ненавистью. Так же отрицательно наш автор относится к росту эмпирической политической экономии, которая под названием Betrieswirtschaftslehre является модной в современной Германии.

Свой вывод относительно состояния политической экономии автор резюмирует следующими словами: «Мы констатируем недостатки политической экономии нашего времени не только там, где она пытается выступить в тесной связи с философией, но и там, где она хочет оставаться чистой технологией. Мы с душевной болью наблюдаем в настоящее время, что то, что претендует на роль теории, не имеет ничего общего с философской школой в политической экономии, а скорее всего родственно «исторической школе» и может быть определено как «индуктивный метод», преследующий цель не столько внести реформу в науку, сколько вместо мнимо ненаучных методов установить точные методы» (стр. 10). «Не хотят признать, что в настоящее время пользуется наибольшим признанием чисто-вещественная, технологическая, коммерческая сторона исследований, в то время как раньше имело значение раскрытие общих связей явлений, отношение к решающим проблемам народного хозяйства» (стр. 15).

Однако нас не должна вводить в заблуждение энергичная критика автором существующего положения вещей в современной немецкой экономической науке. Ближайшее рассмотрение его собственных взглядов на роль и значение политической экономии, равно как и ознакомление с его точкой зрения на причины, обусловившие столь печальное состояние буржуазной экономической науки,—обнаруживает, что в лице Леви мы имеем даже не прогрессивного буржуазного экономиста, пытающегося перешагнуть буржуазный горизонт в сторону марксистской политической экономии, а скорее всего консервативного критика, у которого под внешне радикальной, «разрушительной» фразой скрывается весьма реакционное содержание. В сущности, критика Леви направлена не только против беспринципного эмпиризма, против роста «технологических» тенденций в буржуазной политической экономии, против «Bananenwirtschaft der Philippinen», как язвительно выражается Леви. Наш автор метит гораздо глубже. Дело в том, что он принципиальный противник об'ективной политической экономии. Леви склонен отчасти об'яснить упадок современной буржуазной политической экономии тем, что экономисты недооценивают значение «ценностных» суждений при анализе экономических явлений. «Попытку исключить из политической экономии ценностные суждения,—пишет Леви,—необходимо считать неудавшейся. Политическая экономия тем самым не стала ближе к «действительности», так как и целевые установки и суб'ективные требования, сами принадлежат к хозяйственной жизни и в этом смысле являются составной частью экономической действительности» (стр. 92).

Леви в основном следует в области общей методологии социальных наук за своим учителем Максом Вебером, из статьи которого «Die Objektivität Socialwissenschaftliche und Sozialpolitische Erkenntnis», он черпает свои идеи. Лишь в одном пункте Леви расходится со своим учителем. Леви не согласен с Вебером, что необходимо в какой бы то ни было мере различать между об'ективным научным познанием и телеологическим подходом к социальным явлениям. Леви считает абсолютно исключенным возможность разграничения в сфере социально-экономических наук

каузальных рядов от телеологических, суб'ективизма от об'ективизма. Конечно, когда мы говорим о разграничении, которое проводилось Максом Вебером между научным и ненаучным изучением общественных явлений, мы предполагаем, что читателю известна общая концепция Вебера «науки» вообще и наук исторических в частности. Скажем только, что введенное Вебером в историческую науку понятие «идеальных типов», долженствующее заменить понятие об'ективного закона в применении к культурно-историческим явлениям, само по себе уж обрекает об'ективное научное познание в веберовском смысле на чистейший суб'ективизм, потому что для Вебера «идеальный тип»—мысленный образ, который не есть историческая действительность. Для Вебера «идеальный тип» не соответствует об'ективному закону в смысле Маркса. Для него это скорее «понятия или мысленные средства для цели духовного господства над эмпирически данным и только ими и могут быть» (Max Weber, Die Objektiv..., стр. 208).

Тем не менее Вебер рекомендовал разграничивать между социальной наукой и социальной политикой, научным познанием и хозяйственно-политическим подходом. Против этого-то Леви и возражает. Он считает абсолютно неудавшимися разные попытки, предпринимавшиеся в области политической экономии, разграничить между каузальным и телеологическим рассмотрением экономических явлений. Леви убежден, что вообще не существует возможности в области общественных наук провести подобное разграничение. Именно этим он и об'ясняет кризис в буржуазной политической экономии. «Факт наличия длительного и на первый взгляд безнадежного отсутствия единства во всех областях научной политической экономии об'ясняется столкновением причинных и телеологических тенденций, смешением идей чисто-технологического происхождения с оценками и целевыми установками, для которых не существует никакого иного масштаба помимо того, который они сами себе ставят. Если понимать под каузальными связями «действительность» хозяйственной жизни, то ясно без дальнейшего, что благодаря смешению их с оценками и целевыми установками получится, что эта «действительность» превращается опять в отсутствие действительности, в арену борющихся и взаимно исключающих друг друга гипотез» (стр. 91).

Итак, в самой природе хозяйственных явлений заключена основа для конфликта между каузальным и телеологическим методом. Всякое экономическое явление может быть и неизбежно является об'ектом и «причинного» и «ценностного» исследования. Оторвать оба ряда явлений друг от друга невозможно. Смешение же обоих принципиально противоположных подходов приводит к привнесению суб'ективизма в экономическую науку, т.-е. умаляет об'ективность политической экономии.

В таком печальном свете Леви рисует нам современное состояние политической экономии, чтобы, наконец, выступить в качестве ее реформатора. Посмотрим же, каким путем думает Леви влить «душу живу» в одряхлевшее тело буржуазной политической экономии. Он пишет: «Есть только одна возможность: во-первых, сознательно освободить экономические науки от всех целевых установок, и, во-вторых, эти целевые установки, вместо того, чтобы рассматривать их как ненаучные, суб'ективные и проч., сделать об'ектом познания специальной науки. Хозяйственная политика в известной мере сделала попытку в этом направлении; но мы достаточно видели, что политика представляет лишь некоторую часть и не самую значительную часть всех оценок» (стр. 92). Леви предлагает же разделить политическую экономию на каузально-дескриптивную и на политическую экономию хозяйственных целевых установок. Обе, таким образом, размежеванные части политической экономии должны составить в целом—релятивистическую политическую экономию.

Итак, преодолеть «ценностные суждения» в политической экономии невозможно, вернее: они могут быть изгнаны лишь из области «чистой технологии», но этой областью, как мы видели из разбора взглядов Леви, не исчерпывается область политической экономии. Как пишет Леви: «Целевые установки и суб'ективные

требования сами принадлежат к хозяйственной жизни и в этом смысле принадлежат к экономической действительности» (стр. 92). Отсюда необходимость в новой науке, контуры которой Леви намечает следующими красками: «Мы хотим создать науку социальных оценок. Без нее политическая экономия остается безжизненной задачей сведения. Если экономистами все чаще подчеркивается, что в центре хозяйства должен стоять человек, то необходимо теперь эту истину, сделавшуюся уже фразой, претворить в практику и заняться изучением оценок, которые подчиняют человека области хозяйственных явлений» (стр. 93).

Наш автор видит, таким образом, выход из тупика, в котором, по его мнению, находится современная политическая экономия, в переходе на точку зрения принципиального суб'ективизма и релятивизма. «Наука о народном хозяйстве, — пишет Леви, — должна стать учением, которая занимается истолкованием хозяйственной действительности или выяснением отношения этой действительности к оценкам хозяйствующего суб'екта... Это учение видит центр тяжести в духовной позиции (in der gedanklichen Stellungnahme) хозяйствующего человека к хозяйственным фактам, протекающим закономерным образом на основе определенных причин. Но оно не видит в этой причинно-обусловленной закономерности экономических явлений центра тяжести. Оно оспаривает, что эти хозяйственные факты или эмпирика имеют какую бы то ни было действительную ценность для познания хозяйственной жизни какого-нибудь народа или народов, если их рассматривать чисто-технологически: в их качестве быть причиной и вызывать следствия, но это учение утверждает, что ценность хозяйственных явлений возникает лишь вследствие того, что они (хозяйственные явления) становятся об'ектами оценок и мнений, целей и желаний, что, конечно, тотчас же изменяет их характер, как явлений чисто-технологического характера» (стр. 43).

Леви считает, что классическая политическая экономия была близка к суб'ективистско-психологическому методу. В центре экономической системы классиков, по его мнению, стоял изолированный суб'ект, Робинзон, действия которого были обусловлены стремлением к собственной пользе. Поскольку этот homo econonicus действовал и мыслил в согласии с воззрениями эпохи, когда творили классики, постольку подобный метод рассмотрения экономических явлений сквозь призму воззрений индивидуума целиком оправдывается. Однако в переживаемую нами эпоху этот метод уже недостаточен. Предметом изучения современной политической экономии должен быть не отдельный индивидуум, нормы хозяйственного поведения которого абсолютировались классиками, возводились в ранг общезначимости, но народ с его особым характером в каждой данной стране, как продукт разнообразного хозяйственного развития. «В той мере, — пишет Леви, — в какой будет признано важным рассматривать хозяйственную и социальную жизнь, как «предмет воззрения», в той мере, в какой суб'ективным масштабом будет придано действительно существенное значение, будет признано, что характер оценки народом его хозяйства зависит решающим образом от народного характера» (стр. 45).

Что же понимает Леви под народным характером и в какой мере познание его может помочь нам разобраться в закономерности капиталистического хозяйства? На все эти законные вопросы мы не получим удовлетворительных ответов в рецензируемой книге. Леви подчеркивает, что он понимает под народным характером не нравственные свойства данной нации, поскольку они определяются расовыми причинами, а общий духовный облик данного народа как результат культурно-исторического развития. Так как с этой точки зрения судьбы различных народов чрезвычайно отличны друг от друга, то и совокупность народов мира представляет собою величайшее разнообразие «характеров». Но, согласно нашему автору, кризис в политической экономии может быть разрешен только путем умерщвления об'ективной политической экономии и создания на ее место «науки социальных оценок», в основу которой должны быть положены «ценностные идеи» данного народа. Наш автор, таким образом, приходит к нелепому выводу,

что должно существовать столько политических экономий, сколько существ народных характеров! Не менее интересно положение Леви, что сущность дан народного характера определяется не народом (как это ни странно зв с точки зрения собственной концепции Леви), а избранной его верхушкой, интеллигенцией. «Имеет огромное значение, — пишет Леви, — как ведет себя «м шинство» в данном народе и каких привычек оно придерживается. Большие дост ния, новые идеи, творения искусства и духа разнообразнейшего характера никог не имеют своим опорным пунктом массы народа, которые всегда цепляются за у испытанные и привычные стремления и удовольствия и избегают всего нов (стр. 50).

Таким образом, духовный облик народа, его «ценностные суждения» или отношение к хозяйственным явлениям предопределяется аристократией духа. Леви с головой выдает реакционное буржуазное содержание своей конце Конечно, добавляет Леви, для хозяйственной жизни данной страны имеет решающее значение психология и «ценностные суждения» не меньшинства, а большинства, народных масс. Само собою разумеется, Леви отрицает, чтобы классовое, пол ческое или партийное положение той или другой социальной группы имело реш щее влияние на «характер» этих различных групп. По мнению Леви, национ черты данного народа это нечто более осязательное и действительное, чем к совая психология или партийная идеология.

Подведем итоги. Леви выступает в рецензируемой книге как представ крайне реакционного и идеалистического крыла в немецкой политической эк мии. Его недовольство состоянием современной буржуазной политической экон которая, действительно, переживает полосу методологического кризиса, направ не столько против возрождения эмпирического направления в духе историч школы, сколько против тенденций поворота ряда экономистов в сторону об ного метода классической школы. Совершенно естественный факт существо в современном буржуазном обществе классовой политической эко изображается Леви как «антиномия» между причинным и телеологическим, м об'ективным и суб'ективным подходом к изучению экономики. Выход видит в фактическом уничтожении политической экономии как науки. По ческая экономия превращается в универсальную экономическую политику, в социальных оценок». Центр тяжести с причинного об'яснения социа экономических явлений передвигается в сторону ценностных критериев. об'ективных общезначимых законов. Они варьируются от страны к стран одного «народного характера» к другому.

Таким образом, теория Леви, будучи идеалистической и реакционной, явл в то же время ярким показателем полного идейного разброда, существующ в рядах современных немецких экономистов. Если мы слышим иногда зыв в их среде: «назад к классикам!», если иногда публично заявляется призыв в их среде: «назад к классикам!»; если иногда публично заявляется «австрийская теория предельной полезности несостоятельна!», если иногда не смысленно указывается, что марксова теория вовсе не опровергнута, а что просто не понята, с другой стороны, мы наблюдаем попытки выхода из кр на путях окончательной ликвидации наследства, оставленного буржуазной эко Смитом и Рикардо. Леви относится к этой последней категории экономи социологов.

Е. Каганович.

Ответственный редактор А. М. Деборин.
Редакционная коллегия: А. А. Максимов, М. Н. Покровский, Я. З. С А. К. Тимирязев.

Главлит № А—54651. Москва. Тираж 6.400 экз.

Типография газеты „Правда", Тверская, 48.

зумовский и Познер. 4. О философских учебных заведениях (философские циклы университетов, РАНИОН, ИКП)—тов. Луппол.

Для подготовки и созыва конференции утвержден организационный комитет в составе:

1. Деборин. 2. Стецкий. 3. Криницкий. 4. Таль. 5. Адоратский. 6. Карев. 7. Подволоцкий. 8. Юринец (Украина). 9. Луполл. 10. Гессен. 11. Лукачевский. 12. Гоникман. 13. Выдра (Белоруссия). 14. Ионов (ЗСФСР).

На конференции будут представлены:

а) с решающим голосом:

1. Действительные члены и старшие научные сотрудники Института философии Коммунистической академии. 2. Члены президиума Ком. академии. 3. Делегаты от философско-социологических научно-исследовательских марксистских учреждений (соответств. отделы институтов Ленина, Маркса и Энгельса, ИКП, Института истории и философии естествознания, кафедр марксизма при вузах и Ком. вузах и т. д.). Члены правления Всесоюзной ассоциации ОВМД и делегаты местных отделений ОВМД. 5. Делегаты братских обществ (физико-материалистов, биологов-материалистов, врачей-материалистов, психологов-материалистов и т. д. 6. Делегации Центрального совета безбожников.

б) с совещательным голосом:

1. Профессора и преподаватели диалектического материализма вузов и Ком. вузов, аспиранты и научные сотрудники по диалектическому материализму. 2. Приглашаемые оргкомитетом работники различных специальных наук.

О дополнительных докладах на конференции.

Учреждения, организации и лица, желающие поставить на конференции новые доклады или выступить с докладами или содокладами по предложенным докладам, должны подать заявления в организационный комитет по созыву конференции не позднее 1 февраля 1930 г.

Порядок представления докладов.

1. Тезисы докладов, одобренных к постановке на конференции, должны быть представлены в оргкомитет не позже 1-го марта 1930 г.

2. Доклады представляются в организационный комитет в письменном виде не позднее 15 мая.

ОПЕЧАТКИ.

Напечатано: № 12, 1929 г.	Должно быть:
Стр. 8, строка 20 сн. ...а из исторически данного.	...а из исторически данного и тенденций его развития.
Стр. 13 строка 9 св. ...между обществознанием и обществоведением нет...	...между обществоведением и естествознанием нет...
Стр. 13, строка 15 сн. ...что каждая степень развития...	...что каждая ступень развития...
Стр. 17, в сноске, строка 2 св. ...к бессодержательному социализму...	...к бессодержательному социологизму...